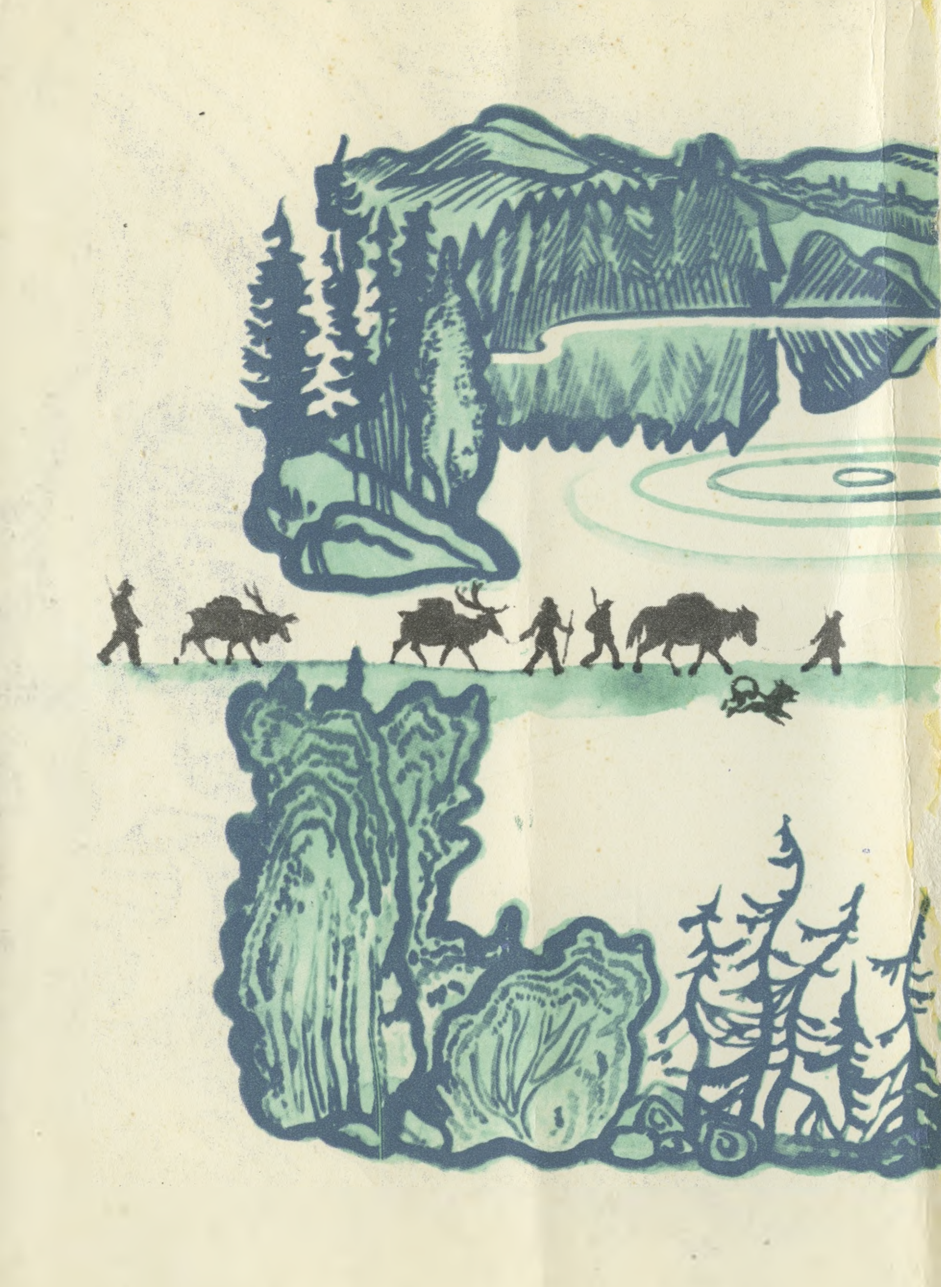
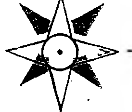
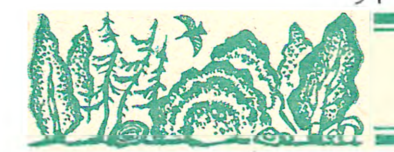
ПЕТР СИГУНОВ
ЗЕЛЕНЫЕ ЗВЕЗДЫ
ПЕТР СИГУНОВ • ЗЕЛЕНЫЕ ЗВЕЗДЫ



ПЕТР СИГУНОВ
ЗЕЛЕНЫЕ ЗВЕЗДЫ

(Рассказы о природе)





ЛЕНИЗДАТ·1979

С 34

Любовь к родной природе, забота о ней заставили автора — геолога по профессии — взяться за перо, чтобы рассказать о тайге и ее обитателях, о том, как надо вести себя человеку, чтобы не нанести ущерба лесам, водам, горам, от которых в первую очередь зависят условия существования и самого человека.

Художники:
В. С. Орлов,
Л. М. Московский

С $\frac{70302\ 3803020300-268}{М171(03)-79}$ 188—79

Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам...

А. Герцен

И стебелек травы достоин великого мира, в котором он растет.

Р. Тагор

ЧИСТЫЕ РОДНИЧКИ

ПРОКЛЯТАЯ ГОРБУНЬЯ

Родился я под старинным купеческим городом, что древнее белокаменной Москвы, а точнее — в двадцати пяти километрах от Ельца, в маленькой деревеньке.

Семья наша была горластая да ротастая: шесть мальчиков и две девочки.

«Кому ноченька темная, сонная,— вспоминала мать,— а нам с отцом — всегда белый день...»

Жили мы в бревенчатой хате, крытой соломой, обложенной наполовину «для сугрева» толстой завалинкой из сухого навоза. Больше половины единственной комнаты занимала широченная русская печка, на которой спали в долгие зимние ночи самые маленькие.

Моя мать Наталья Ивановна, щупленькая, хрупкая, как девчонка, с заскорузлыми от работы узловатыми руками, хлопотала от зари до зари. Мы редко видели, чтоб она отдыхала. Так, прикорнет на лавке, не раздеваясь, и, глядишь, опять на ногах: то картошку чистит, то тесто месит, то квас заваривает, то с рогачами крутится у печки, то одежонку латает. (А у нас, проказников, штаны и рубашки рвались ежедневно — не напасешься.) Напоит, накормит мать ребятишек и скотину, справится с хозяйскими заботами и — на колхозный двор. Ни читать, ни писать она не умела, а все же строго следила, чтоб мы не пропускали уроков, чтоб учились старательно, чтоб в школу ходили чистыми, опрятными.

Отец мой Николай Федорович тоже был не ахти какой грамотей. Но если кто-либо из нас пытался улизнуть с занятий на рыбалку или собирать грибы, он беспощадно пускал в ход ремень. Крутехонек был родич на расправу, не щадил ни за хулиганские проступки, ни за отлынивание от домашних дел. Сурово наказывал и за курение. Боялись мы отца и уважали, потому что он, как и мать, отдыхал только по великим праздникам.

С малых лет я помогал родителям копать лопатой приусадебный огород, выпалывать назойливые сорняки, собирать для топки хворост и сухие коровьи лепешки. Когда я перешел в третий класс, отец принес из погребицы коротенькую косу-змейку и показал, как надо ею орудовать. С той поры я почти полностью обеспечивал зимним кормом нашу корову Зорьку.

Каждая вязанка сена доставалась с неимоверными трудностями.

Да что там вспоминать! Не очень-то весело жилось мне. Редко удавалось погонять с ребятишками деревянные шары, погромить городки-чурбанчики, покидать костяные бабки, поиграть в прятки, в салки-пятнашки, в лапту с тряпочным мячиком. Еще реже из-за «проклятой горбуньи», которая требовала, чтоб ей мурлыкали песенку — «коси, коса, пока роса»,— удавалось вырваться на волю ранней летней зорькой. А я любил поудить

в тихих заводинках студеной речушки Ястребинки крохотных пестрых синявок-гольянчиков, половить самодельным сачком серебристых карасей в пруду Сажалка.

ЕДИНСТВЕННАЯ ОТРАДА

С какой-то неукротимой дикостью, с упрямой горячностью (хоть и хлестал за это ремнем отец) я так и старался удрать с ненавистных покосов в березовую рощу. Там, в кудрявых лозиновых овражках, жили голосистые соловьи, в белых чащобах прятались сторожкие золотые иволги. Там боевитые дрозды-трескуны смело воевали с наглыми сороками-воровками, а на тонких недоступных вершинах гнездились хмурые ястребы-куроловы и хитрые вороны-цыплятницы.

Мне нравилось собирать в густой зеленой дубраве Ближняя Еремеевка духовитые весенние ландыши, синие резные колокольчики, оранжевые купавы, или, что то же самое, цветы-огоньки, цветы-жаркй. Правда, попадались они очень редко — каждый яркий, крупный цветок был событием.

С необъяснимым волнением я охотился за пряными лисичками — вильчатыми вазочками, за ядреными желто-охристыми крепышами — поддубниками, за тугими, хрупкими, как фарфор, белянками — подгруздками. Я собирал и грязные, неряшливые валуи-сопливики, и чистенькие, аккуратные толкачики-поплавки в пышных ватистых одеяльцах. Я знал, где отыскивать зелено-бархатные моховики, где таились плотные черныши-подберезовики. Мы, дети, с закрытыми глазами, только по запаху, могли безошибочно выудить среди пестрой груды сыроежек-разноцветниц особые, золотистые, которые действительно можно было есть сырыми. А находка редкостного в наших краях белого гриба («коровки») оставляла в душе неизгладимую память. Я и сейчас с ювелирной точностью могу описать места, где попадались мне эти гордые красавцы безмолвного лесного «народца».

С радостным упоением я нанизывал на лилово-зеленые соломинки длинной метельчатой травы, которую ребятишки называли «угадай-ка — петух или курочка?», огненно-красные бело-пупырчатые бусины майской духовитой земляники-первозрелки. Летом, обдирая коленки, я азартно ползал по опаленным косогорам, среди

терпко-пряной чабур-травы, собирал в картуз липкую медово-сладкую клубнику. Осенью я наполнял карманы мягкими; нежными горошинами блестящей рубиново-прозрачной костяники. А ближе к первым морозцам-хрустункам царапал до крови руки о шипы-колючки, пригоршнями бросая в плетеную кошелку матово-сизый терновник. Матушка сушила его в русской печке и потом зимой добавляла в кисель.

ОКАМЕНЕВШЕЕ МОРЕ

Однажды, слоняясь в поисках мало-мальски густых, невысоких куртинок травы, я задержался над белым плитчатым обрывом. Из него наши мужики выворачивали ломами ровные бруски известняков для постройки хлевов, погребов и всяких фундаментов. Там, в недоступных укромных лунках, гнездились потрясучие колобки-половнички, а в замшелые щели прятались с шипящими выводками полночные сычи, или, как зовут их в нашей деревне, пустышки-печальницы.

Не знаю почему, но я как будто впервые серьезно заметил, что известняки вытягивались ровными слоями, точно кто специально выложил их по шнуру. В обрыве мне удалось найти несколько замурованных осколков древних витых ракушек и какие-то округло-ячеистые наплывы, похожие на пчелиные соты. Я показал каменные чудинки учительнице; от нее узнал невероятнейшую новость, которая взбудоражила мою душу. Оказывается, давным-давно, миллионы лет тому назад, на месте наших привольных колосистых полей, изрезанных ползучими оврагами, плескалось, бушевало большое-пребольшое теплое море. Вот это диво так диво!

С той поры все чаще я стал пропадать на обрывистых кручах и размывинах, отыскивая окаменевших морских животных. Я любил собирать по берегам Ястребинки разноцветные галечки и всякие забавные пеструнки-голыши.

КЛАД РАЗБОЙНИКОВ

Особенно меня заинтересовал огромный, величиной с трактор, красновато-коричневый ребристый валун, глубоко засевший на холмистом пустыре в мощный жир-

ный чернозем. Он был плотный, тонкозернистый, почти сливной и такой неподатливо крепкий, что даже выкрашивались стальные зубила, которыми я пытался отколоть выступающий карниз. На его лунках-отбитинах поблескивали тонкие звездочки. Из подобных камней-твердышей в нашей деревне с давних времен умудрялись вытачивать жернова для ветряных, водяных и ручных мельниц. Я понимал, что коричневый гигант-отшельник принесен на белые известняки откуда-то издалека, но кем и как — не мог даже представить. Спросил об этом родителей.

— Покойный дед Ревун, царство ему небесное, рассказывал, будто его привезли в ночь Ивана Купалы на ста волах лютые разбойники, чтобы накрыть свои несметные награбленные сокровища,— ответила мать.

Я усомнился: зачем хоронить золото и всякие драгоценности на голом, открытом косогоре, когда куда надежнее спрятать в темном глухом лесу? Да и взрослые, как видно, не верили глупым выдумкам — иначе непременно своротили бы глыбу или вырыли под нее подкопы, чтобы достать клад разбойников.

Но как, зачем и откуда принесен громадный камень-тюлень в наши поля? Старики и старушки вместо серьезных ответов городили всякую чепуху.

Так вот, тот красный, таинственный великан на черном пустыре, привезенный якобы разбойниками, не давал мне покоя. Я часто ходил за двенадцать километров в центральную районную библиотеку, чтоб раздобыть увлекательные книги об истории земного шара, но, к сожалению, тогда подобной литературы выпускали очень мало, и в деревенские глубинки научно-популярные книги попадали редко. И все же в конце концов мне удалось узнать, что одинокий, сиротливый камень-хранитель, этот громадный «бараний лоб», был чужеземным пленником-путешественником, оторванным от родных скал могучими ползучими ледниками, которые медленно, тысячелетиями, но неодолимо грозно, все сметая на своем пути, двигались откуда-то издалека, с севера. И опять передо мной открылись необыкновенные чудеса. Значит, наш степной край с убогими лесочками-перелесками был когда-то затоплен не только теплым морем с кораллами и моллюсками, а еще раньше покрывался толстыми-толстыми арктическими льдами. Как интересно!

КУСОК ХЛЕБА

Учиться мне было нелегко. До войны в соседней деревне построили добротную кирпичную школу-семилетку, но в декабре 1941 года фашисты взорвали это здание при отступлении, а дома почти все сожгли. Однако сразу же после разгрома немцев под Ельцом к нам приехала учительница. В единственной уцелевшей большой хате, куда поставили грубо сколоченные парты из обгорелых железных листов и березовых жердин, она попеременно преподавала уроки всем детям — от малышей до важных четвероклассников. Учебников и тетрадей не хватало, писали на газетах самодельными чернилами, приготовленными из грибов-навозников или дубовых «орешков».

Ближайшая семилетка располагалась в двенадцати километрах от нашей деревни, и я ходил туда осенью пешком, зимой — на лыжах. Потом переселился к сестре Анне, которая работала фельдшером в местной больнице.

На летних каникулах я трудился, как говорится, от пения петухов до крика дергачей: то в колхозе, то на собственном огороде, то заготовлял домашнему скоту сено, бурьян, а после уборки хлебов собирал колоски, чтобы осенью мать смогла испечь мучнистых, без примеси травы, лепешек. Ходить весь день босиком, согнувшись в три погибели, по колючим щеткам жнивья, да еще под лучами безветренного, испепеляющего солнца — даже вспоминать об этом страшно.

СЛАДКИЕ ОСИНЫ

Под косогором среди тучных черноземно-илистых огородов с густопутаными стелющимися плетями огурцов и сизовато-белыми, неохватными кочанами капусты пряталась в непролазные заросли грустного ивняка, буйно растущих лозин и кудряво-тенистой черемухи извилистая тихоструйная речушка Ястребинка. Там я скрывался от сердитого отца с удочкой-хлобыстинкой, охотясь за краснокрапчатыми голубоватыми синявками (гольянами), выслеживая диковатых печально воркующих горлиц и звонких, но сторожких соловьев. Эти маленькие невзрачные певцы разливались трелями, сидя на кустах, всю весну, а гнезда вили только на земле

и не очень-то старались, чтоб их понадежней спрятать от кошек и собак.

Прямо напротив деревни прижался к обрыву желто-зеленый осинник с корявым шиповатым «дёром» (терником), где устраивали на тонких длинных ветках свои подвешенные, люлечные гнезда самые яркие птицы Елецкого края — золотые иволги. Там было очень много кротов, мышей, лягушек и добродушных серых ежей. Мне часто попадались их растерзанные колючие шкурки, а раз, в предрассветных сумерках, довелось увидеть, как рыжая хищница лисица закатила лапами ощетинившийся клубок зверька в речку и, когда он поплыл, прыгнув, вонзилась зубами в его мордочку.

В шумном, вечно шелестящем осиннике я любил слушать светлыми лунными ночами рокочущие трели и гулкие посвисты соловушек. А ранней зорькой, сидя с удочкой, старался разгадать смысл весеннего воркованья горлинки. Песня этой птицы-отшельницы всегда бередит душу, наполняя сердце грустью о чем-то ушедшем, утраченном.

«Почему она так плачет? Почему так плачет?» — думал я.

В осиннике я строил потайные, хитро замаскированные шалаши Робинзона, скрываясь от воображаемых пиратов и людоедов. Там я собирал необыкновенно сладкую, сочную малину, смородину-кислицу, костянику, прозрачно-глянцевитую густо-алую калину для праздничных пирогов, терпкий вяжущий «дер» для компотов, подосиновики — красные шапочки, и горькие-прегорькие тарельчатые желто-охристые грузди. Это детское неведомо откуда появившееся азартное любопытство ко всем диким съедобным растениям нередко, как и рыболовная страсть, спасало меня позднее в геологических походах от голодовки.

Вдоль косогора, на самой его пологой макушке, протянулись двумя рядами низенькие глинобитные избушки, крытые потемневшей ржаной соломой, окруженные вместе с картофельными огородами и небольшими садиками высокими плетеными заборами или густыми валами из клена, ясеня, акации, лозин. Но для нас, пронырливых ребятишек, они не представляли серьезных, непреодолимых преград. Мы с дерзкой, хвастливой отвагой набивали карманы и картузы яблоками, грушами, сливами, вишнями, хотя, конечно, собственных фруктов вполне хватало. Но, видимо, так уж устроена детская

натура — чужое, запретное всегда привлекательнее и вкуснее. Нередко я боялся приходить домой, убегал в заветный осинник и отсиживался в потайных робинзоновских шалашах, потому что мои уши вспухали и краснели, словно петушиные гребешки, от возмездия свирепых сторожей. Застав на месте преступления, они бесцеремонно стаскивали меня с яблони за грязные, изъеденные «цыпками» ноги. Я боялся приходить домой, ибо знал, что мне не поздоровится ни от сердитого отца, ни от доброй, ласковой матери, которая тоже беспощадно била меня ремнем за дурные, нечестные наклонности. И хотя от жестоких родительских «учений» мне порой нельзя было присесть, я все равно никак не мог отвыкнуть от опасных походов в чужие сады. Я только становился осторожнее, наблюдательнее, стараясь перехитрить спрятавшихся сторожей, подползти незаметнее, и, сделав дерзкий набег (при этом обмазывал лицо грязью, чтоб не узнали) героически скрывался с добычей из-под носа разгневанных преследователей в недосягаемые «бамбуковые заросли», то есть в густые подсолнухи. Кто знает, быть может, эти некрасивые «разбойничьи» шалости, как и мое необыкновенное терпение, с каким я часами выслеживал редкостных птиц, плутоватых зайцев, недоверчивых пятнистых часовых — сусликов, зеленых и серых лягушек, которые всегда норовили бултыхнуться при опасности в воду и мгновенно спрятаться, пугливых синявок, скрытных тритонов, не любящих, чтоб за ними наблюдали, непоседливых суетливых ящериц,— кто знает, быть может все это помогло мне в геологических экспедициях незаметно подкрадываться с карабином к подозрительным диким оленям, чтоб накормить полевиков свежим мясом.

«ЛАЗЕЙКИ МЕРТВЕЦОВ»

Все чаще и чаще, как только выпадало свободное время, я бродил одиноко по пустынным косогорам и широким полям, пугая узколапых зайцев-русаков и толстых, ленивых, зажиревших перепелок. Не боясь сорваться, я карабкался по известняковым, глинистым и песчаным кручам, пытаясь разыскать какой-нибудь красивый, необыкновенный камешек. И хотя взрослые мужики беспрерывно пугали ребятишек угрюмыми, хищными волками, которые иногда дерзко забирались в хлевы, за-

дирали овец, я все равно часто убегал с кошелкой за грибами в белую березовую рощу, в серые дубовые ложбины. Там, на дне обрывистых оврагов, напоминающих чаши, я находил круглые, отвесные воронки-колодцы, уходящие в темную глубину. Как они появились? Кто их выкопал? Почему? Зачем?

Бабы да и мужики мололи всякую несусветную чепуху, утверждая, что это не простые ямы, а лазейки посланников смерти — мертвецов-невидимок, которые якобы выходят по ночам из своего проклятого вечного земляного города. Этим они пугали вездесущих, пронырливых ребятишек, чтоб неугомонные проказники не сорвались в неведомую бездну. А такие ужасные случаи, вспоминали древние старушки — хранительницы суеверных историй, случались даже среди ровного чистого поля. Отсюда появилось в елецком округе самое страшное проклятие, посылаемое нехорошему человеку: «Хоть бы ты провалился под землю».

Однажды ранней весной, привязав к валенкам высокие деревянные колоды-ходули (галош в нашем доме не было), я отправился по кислому снежному месиву к таинственной лесной воронке. Я увидел, как в ее ненасытное жерло с гулом падал бурый грязный поток. Долго стоял я, наблюдая, как вихристыми кругами исчезала вода. Значит, в нашем плоском, безгорном краю тянутся большие пещеры с подземными реками? Поделился со своими закадычными дружками об этом необыкновенном, захватывающем дух предположении. На секретных сходках мы решили проверить мои выводы и разработали подробный план «разведочных исследований».

Жарким летним днем, когда сторож, измученный духотой и липкими мухами, спал на темном сеновале, мы украли из колхозной конюшни единственный керосиновый фонарь «летучая мышь» и почти все ременные вожжи. Порезали их на части, связали прочную висячую лестницу. Намертво прикрепив ее к дубу, я, как самый легкий, проворный и глазастый (а меня за неуемную юркость и пронырливость дразнили «скобозком», «попырком», а за умение лучше всех ребятишек отыскивать скрытные грибы и хитро замаскированные гнезда — «биноклем»), первым стал спускаться в неведомое жерло воронки. Разумеется, для страховки обвязался веревкой, которую держали товарищи.

Колодец был просторный, но с мокрыми, волнисто-загогулистыми краями. Тусклый свет фонаря озарял

мерцающие желтоватые известняки. Голос гудел в черноте глухими, жуткими звуками. Подо мной звонко стучали капели, слышалось невнятное журчливое бормотанье — вероятно, там текла речка. Не скрою, страшно было опускаться, но любопытство и страстная жажда познания, первооткрывательства, как магнит, тянули вниз. К сожалению, лестница оказалась коротковатой — не больше десяти метров, и мне пришлось волей-неволей подняться наверх.

Необъяснимое, таинственное исчезновение сбруи перед началом осенней уборочной страды всполошило колхозников, вызвало всякие фантастические толки-кривотолки. На всякий случай, все имущество конюшни стали запирать в амбаре, и нам так и не удалось удлинить лестницу. Но зато теперь я знал, что «лазейки мертвецов» промываются водой в легко растворимых, пористых известняках. Позже я вычитал: такое явление называется карстообразованием.

ИЗУМРУДНИЦА

Диких обитателей в голой, почти безлесной Елецкой местности водилось не так уж много — по пальцам легко перечтешь все виды. Но в нашей тесной избушке всегда кто-нибудь да копошился, конечно, по моей доброй прихоти,— то галка с переломанным крылом, то куцая, бесхвостая сорока, попавшая в лапы собаки, то желторотый скворушка, свалившийся по неопытности из домика. Бывали у нас и раненые ласточки-касаточки, и полночные ежики-топтуны, и пугливые зайчишки-сосунки, которых нечаянно покалечили косари.

Я никогда не пытался поймать живую птицу или вынуть из гнезда желторотого птенчика. Узнав об этом, отец не пожалел бы ремня, да и мать не погладила бы по головке. Мне больше нравилось просто наблюдать за дикими обитателями.

Особенно запомнилась вот эта история.

Помню, сидели мы в избе на лавке. Улыбаясь, вошел отец.

— Сын,— сказал он,— посмотри, кто поселился в нашем саду. Только иди тихо — она очень пугливая.

— Кто, папа?

— Изумрудница, сын.

— Какая изумрудница?

— Сам увидишь какая. Под камнем живет. Иди осторожней.

Под яблоней, на белой глыбе известняка, лежала ящерица... необыкновенной красоты, словно вылезла из волшебной, малахитовой шкатулки Бажова. Она была зеленая, как молодые всходы озимой пшеницы.

Тонкие голубые жилки затейливо извивались на ее точеном панцире, будто просветы чистого неба среди майских березовых листьев. Под глазами яркими искорками светились красные крапинки.

Я сидел в картофельной ботве не в силах оторвать от ящерицы взгляда, боясь пошевельнуться, чтоб не спугнуть ее.

Каждый день я снова видел ее и открывал в ней неведомые красоты. Когда она сновала по земле или забиралась на яблоню, ее зеленый панцирь отливал синеватым светом в лучах солнца, а утром в пасмурную погоду — темнел, как мокрая листва.

Постепенно изумрудница привыкла ко мне, но в руки не давалась, да я и не пытался поймать ее, так как боялся, что она с перепугу бросит свой плавный длинный хвост — и тогда станет куцей, уродливой.

Я любил смотреть, как она лежит, опершись на крохотные растопыренные пальчики, подняв голову — такую миниатюрную, с грустными черными глазами. Казалось, она задумалась о чем-то своем и никого не видит, ни на что не обращает внимания. Но пролетит муха — она вздрогнет, выстрельнет своим остреньким, как пламя, язычком и снова терпеливо караулит добычу.

Иногда ей надоедало лежать, она ныряла в капустные грядки и начинала гоняться за бабочками, юркая, проворная, быстрая.

Особенно чудесны были «свечки», когда она, играя и резвясь, ловила мух на лету, подпрыгивая, словно рыба, — и тогда было видно, что брюшко у нее не изумрудное, а беломраморное с золотистыми чешуйками.

Если на огород забредали куры, она пряталась под камень и, высунув голову, следила, когда минует опасность. Она была очень непоседливая и в то же время необыкновенно терпеливая — часами могла лежать в одной позе, дожидаясь, когда пролетит перед носом насекомое. Она была трусишка, каких не видывал белый свет, и при всяком подозрительном случае старалась удрать. Но иногда делалась дерзкой.

Однажды я провел хворостиной перед ее мордочкой. Как она бросилась на меня — рот разинула, круглые мешки на подбородке надула, хвостом стала бить по земле!

Все лето прожила у нас зеленая ящерица. А осенью исчезла: то ли кура ее склевала, то ли убежала куда — не знаю.

КОНКУРЕНТКА

Много лет промелькнуло с той поры, но я и сейчас ясно, как наяву, представляю вот эту картину.

Помню, день был солнечный, яркий. Горячий дымчатый воздух-сизовик дрожал над желтыми пшеничными полями, как в раскаленной пекарне. Звонко, взахлеб верещали бойко скачущие попрыгунчики-кузнечики.

Я сидел в тени ракитовых кустов и смотрел на безмятежно тихую гладь речки, куда пришел отдохнуть от школьных занятий. Вода была прозрачная и такая холодная, что даже в жаркую июльскую пору она, как электрическим током, пронзала тело ледяными колючками. В этой ключевой речке водились только ельцы — широкие, толстогривые, жирные и очень-очень ленивые, точнее, капризные, потому что почти никогда не брались на крючок. Лишь какой-нибудь шальной, бывало, соблазнится толстым белым «живым домиком» или зеленым кузнечиком.

Я сидел под приземистыми кустами и ждал, когда лучи солнца упадут на сумрачную заводинку. Вот наконец речка озарилась кружевными снопами света, пробившимися через ветви лозин. Откуда-то из-под коряг медленно поднялась тесно скученная стая длинных серебристых рыб с дымчатыми плавниками. Ельцы неподвижно замерли вблизи берега, выставив кругловзбитые сизовато-серые гривы. Они грелись лениво, блаженно шевеля жабрами, по-стариковски шамкая презрительно поджатыми губами.

Я было приготовился подбросить им зазубринок с лакомым кузнечиком, как вдруг откуда-то из засады на стаю с распростертыми лапами прыгнула черно-коричневая лоснящаяся кошка. Схватив зубами ельца за холку, она вылезла около меня и с хрустом принялась терзать трепещущую рыбу.

Постой! Постой! Какая же это кошка! Ведь это норка — очень редкий зверек в елецком крае. Пришел за ельцами, а подсмотрел такое, о чем и не мечтал.

ЗАГАДОЧНЫЙ ЗУБ

Заготовляя сено или собирая колоски, пропалывая огород или таская на коромыслах воду для поливки капусты — в этой бездушной, отупляющей работе я все же по мере возможности выкраивал время, чтоб ходить по родной округе, надеясь отыскать что-нибудь загадочное, непонятное. И мне везло!

Как-то раз я заметил в свежей черноземной промоине паводкового ручья странный желтоватый предмет, пустил в ход перочинный нож и откопал большой зуб какого-то древнего животного. Он был хрупкий, ломкий, но извилистые, гофрированные складки на его тупой поверхности матово поблескивали беловато-сизой эмалью. Никто, даже учителя, не мог толком объяснить, какому великану принадлежала эта окаменевшая кость.

Отец собирался в Елец, на рынок. Я упросил, чтоб взял меня. С волнением, о котором и рассказать-то невозможно, отнес свой палеонтологический трофей в краеведческий музей. Там любезно растолковали мне, что это плохо сохранившийся зуб мамонта.

Опять невероятнейшие чудеса! Оказывается, десятки тысяч лет тому назад по нашему унылому краю бродили лохматые коричневые гиганты — северные шерстистые слоны с крупными гнутыми бивнями. И я понял, что меняется не только климат, рельеф, но и звери, птицы, рыбы.

В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

В зимние каникулы, когда ребятишки шумной ватагой катались с крутых гористых склонов — кто на дубовых салазках, кто на вертких плетеных ледянках, я привязывал к валенкам тяжелые, неуклюжие доски-лыжи и уходил в поле. Там я выслеживал притаившихся птиц, отыскивал по свежим следам зверей. Ружья у меня не было, хотя оно и снилось частенько. Отец обещал подарить дешевенькую берданку, но так и не накопил денег. Возможно, он специально не купил ее, чтоб я не сделался

кровожадным охотником. (Замечу в скобках, хоть я и работаю инженером-геологом, но никогда не обзаводился ружьем и уж теперь, на старости лет, не обзаведусь. Я не охотился с подсадными утками, не стрелял токующих глухарей и тетеревов, не ходил убивать спящего медведя в берлоге. У меня не подымалась рука стрелять вальдшнепов в пору весенних свадеб. Я презираю «дикую натуру охотников», презираю, хоть и сам нередко брался за карабин, чтоб накормить мясом полевиков-путешественников.)

Каждая встреча с дикими обитателями, которыми не так уж славится наш пустынный край, волновала меня до бурных ликований, разжигала страстную мечту о путешествиях.

Я видел, как пряталась от морозной пурги под соломенный стог скученная стая серых куропаток, оставив густые крестики-следы на сугробах. Видел, как по льдистому, хрупко слюдистому насту выбивала задорную русскую чечетку красная лисица — она топотом выгоняла из-под снежного панциря пугливых, затаившихся мышей. Видел, как голодный волк тащил на виду растерявшихся мужиков задранную овцу; как ватага лукавых сорок обманула собаку, похитив у нее кость; как настырные вороны и степенные галки терзали днем сову, ослепшую от яркого солнечного блеска.

Однажды я завернул в березовую рощу. Погода была морозная, безветренная, небо — голубое-голубое. Словно литые из чистого пушистого серебра, тихо стояли деревья, обрамленные острыми резными иголочками инея. А вдоль опушки рассыпались по белым-пышным кустам, как будто по елкам новогодним, укутанным мерцающей ватой, огненные колобки — степенные, смиренные красногрудые снегири. Я любовался ими до тех пор, пока кончики ушей вдруг перестали чувствовать обжигающий холод. Так их отморозил, что правое ухо навсегда подвернулось хрящеватым, бугристым валиком. Чтоб никогда не забывал той зимней сказки.

С детских лет я понял, что все живое говорит, но по-своему.

Кузнечики-трескунки говорят ножками. Спрячутся в горячую траву и куют себе звонкие трели на зеленых листиках-наковальнях.

Птицы разговаривают «горлышками». Если голос у птицы добрый, приятный, ее величают ласково: «соловьиное горлышко», «синичкино», «чижиково», «канареечь-

кино». Тут и «перепелкины побудки», и «жаворонкины колокольчики», и «дергачиный скрип», и «кукушкины слезы», и «стон горлицы». А уж про ворону любой презрительно бросит — «воронье горло».

Разговаривают звери, птицы, насекомые, лягушки, рыбы — например, пескари и огольцы усатые, которые вспискивают в руках ребятишек.

Все живое говорит, и каждый — по-своему.

Зайцы тоже, оказывается, могут издавать всевозможные звуки. О том, что они вопят, как грудные младенцы, когда их сцапает лисица, знает каждый; что весной водят любовные хороводы и поют воркующие песни — слышали только удачливые натуралисты. А вот как разговаривают жестами — редко кому довелось подсмотреть...

Отлично помню, три дня и три ночи кружил, шелестел, валом валил крупный мягкий снег. А когда он угомонился, на поля нельзя было смотреть без дымчатых очков.

Под пышными сугробами спряталась бурая трава на межах, желтые щетины пшеничного жнивья, сизые, метельчатые былинки полыни. Только по берегам крутобокой речки, как зеленовато-красные спицы из путаных клубков шерсти, выглядывали голые, покрытые блестящим ледком, одинокие прутья лозины. А потом тяжелым катком-невидимкой прошелся крепкий мороз-трескун, спрессовал мягкие хлопья, придавил рыхлые волны. Холодно, голодно стало зайцам. Ни спрятаться в мягкую, пушистую порошу, ни достать из-под корки наста соломы, колосков на полях, ни выкопать шерстистыми лапами сухой травы, клоков оброненного сена, ни похрустеть сладкими, мороженными кочерыжками на капустных огородах. А жесткими льдистыми прутиками да ветками разве согреешься в синюю январскую стужу?

Потянулись бедные, горемычные зайцы ближе к человеческому жилью — к скирдам слежавшейся соломы, к копнам душистого сена. Увидел я, сколько следов напутали, напетляли они вокруг колхозной риги, и решил устроить ночным воришкам засаду.

Вот погасли в окнах дрожащие огни, перестали брехать нелюдимые собаки. Деревня, убаюканная страдальческими напевами ливенской гармошки, погрузилась в беспробудный сон. Тишина. Зябкая, гулкая тишина.

Но что это скрипнуло? Снег не снег, ветка не ветка. Вижу — заяц-русак крадется. Остановился, ухом повел,

сделал нерешительный, осторожный прыжок, опять остановился — вторым ухом повел. Потом уши торчком вскинул и снова — прыг-прыг, скок-скок.

Смотрю, за ним еще один косоглазый скачет. И тоже ушами шевелит, точь-в-точь подражая разведчику. Дальше, под кленами, третий разнолапник появился, на братьев своих подобострастно поглядывает, ушами их передразнивает.

Вот подговорные бесенята! Голосами боятся перекликаться (все-таки не на прогулку вышли, а колхозное добро воровать), так ушами вздумали сигналить друг другу о безопасности.

Сели зайцы под зеленым стогом и давай былинки выбирать. Шуршат, хрустят с аппетитом, раздувая усатые щеки.

Вдруг один плутишка как встрепенется, былинка во рту так и осталась торчать неподвижно, будто папироса. Повернул он правое ухо. И второй трусишка повернул правое ухо. И третий, на соседа глядючи, проделал то же.

«Замрите, ребятки! Кажись, к нам кто-то крадется»,— переговаривались они вертучими ушами.

По лунной дорожке легкомысленно приплясывал сгорбившийся русак. То ли озябшие лапы грел, то ли еще издали заметил братьев-разбойников,— только совсем не боялся, будто в гости на капусту к зайчихе трусил. Сунул он с разбегу заиндевелую морду в теплое сено да как фыркнет! Наверняка, пыльная труха в нос угодила. Она такая острая, едучая — не хуже нюхательного табака. Шкодливые зверюшки со страху даже присели, взъерошились и давай ушами, словно ножницами, двигать, как будто предупреждали: «Да тише ты, черт косой!»

Конечно, я бы непременно разгадал все тайны заячьей ушиной азбуки, но мне тоже в нос попала жгучая сенная труха. Уж я крепился-крепился, чтоб не чихнуть — и переносицу кулаком тер, и ноздри зажимал рукавицей, однако стерпеть не удалось — и как громом с чистого неба ошарашил всю нечестную компанию! Ох, и взвились же они! Ох, и дали стрекача!..

Может, вам когда-нибудь повезет расшифровать безмолвные заячьи разговоры? Постарайтесь, пожалуйста! Только смотрите, чтоб уши потом не вяли у них от смеха... Ведь, может, они вовсе и не разговаривают ушами.

Тесно, холодно было зимой в нашей избе. Топили ржаной соломой да хворостом, освещали вонючей керосиновой коптилкой. Когда начали котиться овцы, то в избе поселились еще кудрявенькие ягнята — живые игрушки младшей сестренки Надежды и братика Гены. Ох уж этот горластый братик — горькое горе! И он тоже отравил мое детство. Ведь мне приходилось нянчить его, кормить кашей, следить, чтобы не объелся белены, не попал бы под ноги корове, под колеса телег.

Но вот появились первые желанные проталины. На полях еще лежит рыхлый снег, пробуравленный солнцем, а выгон возле пруда Сажалки уже покрылся робкими, нежными росточками травы. Желтыми пуховками оделись кустики ивы; в серебряные плюшевые шарики нарядились вербы, золотыми звездочками засверкали цветы-выскочки мать-и-мачехи. В березовой роще на теплых полянках заколыхались голубые перелески. В эту веселую пору обновления ребятишки торжественно выгоняли на зеленеющие пригорки своих овец с кудрявыми ягнятками. Настроение у всех было приподнятое, радостное, все крестьяне часами стояли на кромке высокой долины, любуясь могучим бурным половодьем Ястребинки.

То ли в шестом, то ли в седьмом классе меня вдруг всколыхнул весной такой прилив возвышенного счастья, что я не выдержал и... написал стихи. Вот они:

Бегут ручейки быстрые,
Журчащие и чистые
С полей, холмов, бугров.
Вышла река шумливая,
Широкая, бурливая
Из низких берегов.
Звенит пташка проворная,
Лучами озаренная,
В лазурной вышине.
Кричат грачи крикливые.
Свистят скворцы игривые —
Поет всё о весне.
А на лесной проталинке
Зацвел цветочек маленький —
Подснежник голубой.
Прошла злая метелица,
Кой-где уж зеленеется
Лист травки молодой.
Синеет небо ясное, —
А солнышко прекрасное
Ласкает всех теплом.

Всё: люди, звери, птицы —
Весною веселится
И занято трудом.
Весна — пора чудесная,
Могучая, прелестная, —
Как ты для всех мила!

Стихи были напечатаны в елецкой городской газете «Красное знамя».

Прилета жаворонков вся деревня ждала с особым нетерпением. Вот наконец высоко-высоко в лазурном небе зазвенели, зажурчали дивные, неугомонные колокольчики. Неподвижно повиснув в недосягаемой вышине еле заметной точкой, они вдруг камнем падают к родной теплой земле, словно пытаются прижаться к ней грудью, поцеловать от избытка радости звонким клювом. Но не успеешь моргнуть глазом, как жаворонки снова взвиваются в глубокую, прозрачную лазурь и, трепеща крыльями, звенят серебряными ручейками.

В день прилета жаворонков моя мать приносила из амбара самую дорогую пшеничную муку, предназначенную для праздничной лапши, торжественно творила сдобное пресное тесто — с яйцами, сметаной и медом. Затем она ласково приглашала нас, детей, к столу, показывала, как надо лепить из крутого теста жаворонков. И уходила, предоставив нам полную свободу кулинарного творчества и фантазии. Мы выделывали из теста всевозможных птиц, но голову непременно украшали гребнем — ведь жаворонки хохлатые. Глазки мы делали из сушеных ягод — черной смородины, калины, вишни, терна или просто кусочков угольков. Наконец мать усаживала наши художественные хлебные игрушки на большие чугунные сковороды и толкала их в жарко натопленную русскую печь...

С каким аппетитом мы ели эти сладкие розовые жаворонушки! Они казались нам намного вкуснее самых дорогих елецких кренделей.

Потом, нарядившись в праздничную одежду, мы шли всей семьей в поле, оставляли на мокром, парном черноземе несколько хлебных жаворонков, чтоб живые жаворонки, устав петь, подкрепились бы нашим угощением.

Ну разве после такого праздника подымется у когонибудь рука на хохлатых певцов васильковых полей?!

Вообще в пору моего детства крестьяне нашей деревни бережно относились ко всем птицам — не стреляли, не ловили ни куропаток, ни перепелов, ни коростелей, ни вальдшнепов, ни ворон, ни коршунов.

Дошлые, настырные воробьи — большие любители проса, гречихи, гороха, подсолнухов, конопли — мирно уживались под стрехами соломенных крыш крестьянских изб. Даже вороны-цыплятницы строили гнезда в деревенских садах, и никто не пытался их разорять.

Особенно заботливо, особенно бережно относились мои земляки к белогрудым ласточкам-касатушкам. Как радовались они, когда у них в сарае или на погребице поселялись эти резвые, веселые хлопотушки!

Летом я спал на сеновале, в риге, крытой соломой. Там на деревянных стропилах ласточки всегда лепили из речного ила свои кругленькие гнездышки-крепости. Детские и юношеские годы мои пролетели под ласковый щебет касатушек.

ВОРОНОВЫ КОЛОДЦЫ

За тем белым, известняковым обрывом, в котором я нашел морские древние ракушки и кораллы, расстилался широкий заливной луг. Ребятишки «купались» там в высоченных пестрых цветах, катались с крутобоких копен душистого, пахнущего медом сена, а девушки и юноши плели из цветов пышные, нарядные венки, водили под звонкие, неприхотливые переливы русских гармошек лунные хороводы, пели неутешные и призывные любовные страдания. У самой дубовой рощи Ближняя Еремеевка, под клубничным косогором, где пойменный луг пережимался узкой лентой, чернели два круглых, будто очерченных циркулем, застойных колодца. Все досконально знали, что их никто не рыл — ни пастухи, ни косари, потому что вода в речке была холодней и прозрачней, чем в роднике,— наклоняйся и пей на здоровье. Испокон веков старожилы твердили, что они появились на том месте, где якобы вещие ведуны-вòроны вили свои гнезда, потому эти колодцы все так и называли — вороновыми. Им приписывали волшебную магическую силу. Больные люди тайно бросали туда исцелованные крестики, серебряные деньги, старинные бисерные бусы, чтоб только избавиться от хвори-напасти. Некрасивые, потерявшие надежду выйти замуж девы-вековухи окунали в троицын день наговорные венки, снятые с головы, привораживали суженых.

Нам, ребятишкам, строго-настрого запрещалось вынимать «подарки» вещего Ворона: иначе, пугали взрос-

лые, неминуемо одолеет сухота, плясовица или неподвижная постельная немочь.

Меня особенно волновали эти странные колодцы. Но не сверхъестественной силой, а загадочным происхождением. Как же они возникли? Тайком от родителей и всевидящих старушек я стал копать берег возле этих жертвенных колодцев.

Расчищая постепенно, лопата за лопатой галечниковую террасу, я увидел внизу, под рыхлыми отложениями, желтые ноздреватые известняки. И понял, что эти круглые колодцы, появившиеся среди ровного, плоского, как стол, луга,— те же самые воронки-карсты, в одну из которых я спускался по ременной лестнице. Но только они наглухо забились песком и камнями, затянулись плотным, глинистым илом во время бурных весенних разливов речки. С той поры я безбоязненно вылавливал из вороновых колодцев большое количество свежих яиц, какие опускали туда заботливые хозяйки деревень, чтоб лучше неслись куры.

ТРУДНЫЙ УЧЕНИК

После окончания семилетки родители хотели отдать меня учиться на слесаря, но старший брат Николай, который, вернувшись с войны, поступил работать на один из заводов Ельца, настоял, чтоб я пошел в городскую среднюю школу. Отец сшил мне из лохматых дубленых овчин просторный длиннущий полушубок, чтоб хватило на несколько лет, из самовыделанной телячьей кожи — огромные коричневые сапоги, чтобы тоже носить не сносить. А мать смастерила из солдатских гимнастерок довольно приличный китель и кавалерийское галифе. В этих неотразимых обновах я и ходил в восьмой класс.

Задорные городские ребята, одетые в настоящие шерстяные костюмы и фабричные ботинки, допекали меня насмешливыми подковырками, сразу же прозвали «мужичок-с-ноготок — в больших сапогах, в полушубке овчинном». Особенно их забавлял мой деревенский говор, а учительницу литературы приводил в негодование, ибо я, как и многие крестьянские дети, часто коверкал русские слова. Например, вместо «лазать» произносил «лязать», вместо «картуз» — «кыртуз», «пауков» называл «пуаками», а «чемодан» — «чюмадан». Разумеется,

и писал так же, за что диктанты и сочинения были сплошь исчиркан красным карандашом.

В первую четверть почти по всем предметам я получил плохие отметки, и меня хотели отчислить из школы за сплошную неуспеваемость. Но классная руководительница Гросолова Лидия Федоровна (я всю жизнь буду помнить о ней с благодарностью) любила возиться с трудными учениками. Она еле упросила грозного директора, чтоб не исключали меня, повременили месяца два. Обладая высокой душевностью и тонким педагогическим чутьем, она поняла, что мне, деревенскому пареньку, трудно с места в карьер угнаться за шустрыми городскими ребятами. Она разгадала мой скрытный, упрямый характер и неодолимую жажду к познаниям нового.

Во второй четверти я имел плохие оценки лишь по русской литературе. Но и с этим трудным, каверзным предметом я воевал упорно: много читал, конспектировал, учил наизусть стихи, переписывал из художественных книг целые главы, чтобы лучше познать, освоить родной язык.

Постепенно литература стала самым любимым моим предметом. Учительница организовала в школе творческий кружок. Мы обсуждали новые художественные произведения, писали отзывы-рефераты, выступали перед читателями в публичном зале городской библиотеки и в клубах завода.

ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ КАРАСИ

Вскоре по всем предметам я стал получать только пятерки. Товарищи-одноклассники были убеждены, что меня наградят золотой медалью.

Однако на выпускных экзаменах по сочинению учительница литературы поставила мне четверку. Она объяснила, что я допустил грубую стилистическую ошибку.

Все! Не видать мне теперь никакой медали — ни золотой, ни серебряной, не видать, как собственных ушей.

Всю ночь я не мог заснуть, ворочался с боку на бок на жесткой металлической кровати. Под полом шуршали мыши. Не выдержав мучений и переживаний, я ушел с удочками к старому, глухому пруду, спрятавшемуся на окраине Ельца среди густых зарослей тополей, бузины, черемухи, калины.

Вот выглянул из расплавленных туч огненный краешек солнца. И, словно прославляя вечное дневное светило, на все лады, состязаясь друг с другом, засвистели, защелкали, защебетали звонкие елецкие соловушки. Закуковали кукушки. Звучными флейтами — «фиу-лиу... фиу-лиу-аа...» — разлились жар-птицы — иволги. Затинькали синицы. Заверещали суматошные дрозды. На все голоса затурлыкали, заквакали зеленые лягушки.

По темной, безмолвной глади пруда сновали пауки-челночники, стоячими поплавками вздымали вверх сизые хвосты жуки-плавунцы.

Караси почему-то не клевали.

И вдруг сонный, молчаливый пруд всколыхнулся. Из глубины медленно начали подыматься крупные широкие рыбины небольшими стайками — по пять — семь штук. Они кружились, плавали с разворотами, прижимались друг к дружке. И не спеша устремлялись к густым прибрежным зарослям стрельчатой осоки. Стайка плыла за стайкой. Зеленые осоковые ободки пруда вздрогнули, заколыхались, зашуршали, как будто там возились поросята.

Плескаясь, будоража воду, вздымая илистую муть, в травяных зарослях кругами ходили большие золотисто-красные и серебристо-белые караси. На крючки с червями и пшеничным тестом они не обращали внимания. Они бились, трепыхались, терлись о жесткие, рубчатые стебли полузатопленной осоки. Караси метали икру.

Охваченный первобытнодиким азартом, я бросился ловить их руками, но сверкающие округло-плоские рыбины ускользали в недосягаемую глубину.

Измученный безуспешными поединками, я лег под белые кружевные венки цветущей калины и стал просто так смотреть на веселую искрометную пляску свадебных карасей. Пели, звенели птицы. Шушукались росистые кусты белокипенной черемухи. И всюду среди изумрудных пик осоки, среди бурых водорослей и бархатисто-смоляного ила ворочались, вспыхивали перламутровой чешуей разноцветные зеркальные диски.

«Ну что ж, уплыла, навсегда уплыла моя заветная рыбка — медаль. Поманила, вильнула блестящим хвостиком и скрылась в темной глубине. Что ж, уплыла так уплыла,— рассуждал я уже без мучительной горечи.— Нечего лить неутешные слезы. Надо бороться с труднос-

тями, надо побеждать. Жизнь, несмотря на временные неудачи, все равно прекрасна!»

Домой я вернулся поздно вечером.

— Где же ты пропадал? — набросился на меня брат Николай.— Тебя по всей Сосне ребята разыскивают, думают, что ты уснул с удочками...

Вскоре в наш дом ввалилась, нет, какое там ввалилась, буквально ворвалась шумная ватага одноклассников. Возбужденно перебивая друг друга, они сообщили радостную весть: оказывается, из Орла приехала педагогическая комиссия, которая единогласно отвергла решение нашей учительницы по литературе и оценила мое экзаменационное сочинение на пятерку.

Передо мной снова заплескались блестящие, заманчивые караси-медали...

На торжественном выпускном вечере буквально все: и преподаватели, и друзья-одноклассники, и гости — сердечно поздравили меня с золотой медалью.

Гросолова Лидия Федоровна, счастливая, с влажными от слез глазами, вручила мне тисненный золотыми буквами «Аттестат зрелости», где все оценки любовно, красиво были выведены ее рукой. Я хотел, я порывался поцеловать ее в седеющие виски, но постыдился — даже, помнится, вместо «спасибо» пробормотал что-то невнятное и чуть ли не бегом устремился к брату Николаю.

Теперь я мог поступать в любое высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

Все мои товарищи, да и преподаватели тоже были убеждены, что я непременно подам заявление в университет на факультет журналистики или в литературный институт. Но я не колеблясь послал документы в сугубо технический, не очень-то легкий вуз — в Ленинградский горный институт на геологоразведочный факультет.

— Почему? — недоуменно разводили руками ребята.

— Почему? — удивлялись учителя.

Но что я мог им ответить? Рассказывать про «окаменевшее море», про «лазейки мертвецов», про «клад разбойников» — да поймут ли они меня, еще на смех поднимут. Рассказывать про широкий, развесистый дуб, могучий, высокий, который привольно рос на свободе, среди неоглядного поля? Я часто забирался на его вершину и смотрел, смотрел вокруг. Передо мной колыхались волнами золотистые, ржаные дали, кудрявыми сугробами белела цветущая гречиха, сизыми шквалами плескался

овес. Что там за синим горизонтом? Какие неведомые мне чудеса? Нет, я даже родной матери не мог тогда признаться, что с детских лет меня неодолимо тянуло к путешествиям.

Вскоре мне ответили, что я принят в группу ГСПС («геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых»), что общежитие предоставлено.

Я мечтал побродить по заповедным местам Тургенева, Пришвина, Бунина, побывать в Ясной Поляне, спуститься на лодке по реке Сосне в Тихий Дон до знаменитой на весь мир станицы Вешенской. Все это было так близко, так осуществимо — недоставало только денег и времени. Я должен был помочь родителям: как можно больше заготовить для домашней скотины сена. И снова скрепя сердце пришлось взяться за горбатую косу, за клыкастые грабли, за веревку-душегубку, чтоб таскать на собственной спине тяжеленные, неуклюжие вязанки травы — порой за многие километры.

В середине августа в нашу захудалую деревушку, кое-как отстроенную после военного пожара, приехала Лидия Федоровна. Она сообщила, что Центральный Комитет ВЛКСМ наградил меня почетной грамотой за отличную успеваемость и активное участие в общественной жизни школы, что городской отдел народного образования просил передать мне институтский подарок: шерстяной костюм, клетчатые рубашки, свитер, галстук, ботинки, три пары нательного белья и дюжину носков. Мать, повязав новый цветастый платок, гордая и счастливая, раздобыла где-то сала, сделала яичницу, извлекла откуда-то поллитровку медовой самогонки. Учительница от угощения не отказалась, но пить не стала.

Только потом, спустя много лет, я узнал случайно, что все эти вещи, которые привезла Лидия Федоровна, преподаватели школы купили за собственные деньги в складчину.

ЦАРСТВО БЕРЕНДЕЯ

ИДЕТ, ГУДЁТ ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ...

25 июня оранжевый гидросамолет полярной геологической экспедиции сел на тихую заводь реки Бахты, что течет в Енисей между Подкаменной Тунгуской и Нижней Тунгуской. Мы вылезли из тесного металлического кузова небесного вездехода на валунистый берег.

Вокруг, куда ни бросишь взгляд, расстилались таинственные непуганые джунгли. Всевозможные деревья, хвойные и лиственные, распускались буйно, радостно. Они то вплотную подступали к отвесным лиловым ярам, то густым скопищем окаймляли желтые песчаные скаты размытых террас; то редкими одиночками, высокими и размашистыми, убегали вдаль от глухотравных чистовин, от красных кустов тальника.

Вдоль русла вертлявой, шумливой реки стлались по гладкой разноцветной гальке серые диковатые ивушки, поломанные, ободранные льдинами и камнями. Они приземисто пластались, кланяясь убегающей воде пружинистыми вершинами-прутиками, размахивая бахромчатыми кистями изумрудных мохнатушек с коричневыми головками. Ивушки-пригибушки еще не опомнились от бурного весеннего разлива, но широкие зубчатые листья, выбившиеся из глянцевито-багряных почек, упрямо тянулись к небу. Между рогулинами их веток застряли темные илистые комья с путаной жухлой травой, похожие на растрепанные грачиные гнезда.

Выше склонились под тяжестью набухших сережек уже иные ивы — светлые, серебристые. Листья у них длинные, узкие, как ножи, собраны веeристыми пучками. Сережки — точно недоспелые колосья безостой пшеницы. Пройдет день-другой, зеленые колосья лопнут, выбросив шелковистую вату.

У самой бровки крутоярья, за скопищем прибрежных тальников, столпились черемуховые деревья, да так густо столпились — ни протиснуться среди них, ни пролезть. Они украсились белыми звездчатыми гроздьями, как будто их осыпали чистым пушистым снегом, и разливали такое благоухание, что захотелось дышать долгими глубокими затяжками.

По светлым сухим ложбинам разбрелась в одиночку ломкая жимолость с ровными лиловыми стволиками. Между ворсистыми овальными листьями ее появляются сначала крошечные, словно бусины, кудлатые завязи-колобки с желтоватыми колокольчиками. Не успеют колокольчики выбросить коричневые тычинки, как завязи уже превратились в ягоды, похожие на кувшинчики шиповника.

В сумрачную влажную прохладу гремучих ключей спряталась черная духовитая смородина. Она тоже радостно выбросила к солнцу медовые грозди коротких бубенчиков.

А вот рябины, премалиненные редкими яркими листьями-перезимками, все еще никак не опомнятся от зябких метелей. Сморщенные седоватые лепестки цветов недоверчиво выглядывают из набухших кистей, словно боятся: а вдруг ударит мороз.

Там, где кончается гривистый берег, за поясом серебряной черемухи, вперемежку хороводились березы, осины, лиственницы, кедры, пихты, ели.

Березы — ровные, стройные и такие чистые, без темных пестрин, что так и хочется их погладить, приласкать. Маленькие светлые монетки-копеечки еще не распластались вширь, еще не покрыли белостволье буйной зеленой завесой, и потому дремучая глухомань просвечивается далеко-далеко, обнажая бурые скелеты сухостоя.

Вот пирамида ершистого кедрика с острой вершиной. Стоит кедренок горделиво, широко раскинув руки-ветви, словно хочет раздвинуть, прогнать непокорных, напористых соседей. Каждый его ус — жесткий, трехгранный, собран в пучок по пять штук.

Рядом с ним пушисто распускается лиственница. У нее такие пахучие, такие нежные мягкие-премягкие иголочки, что непременно хочется остановиться и прижаться к ним щекой.

А вон змеисто ползет разлапистый пихтач, поблескивая росистыми омоложенными верховинками.

В стылом вечернем тумане синеют черноствольные ели-великаны. Они тоже сияют чистотой и свежестью, словно торжествуют, что избавились наконец от прилипчатой снежной тяжести.

На сухих пролысинах пригорков — голубоватый, кудрявый ягель, белые островки распускающейся брусники, мохнатые шапки багульника. И повсюду, куда ни глянь, призывно рдеют крупные темно-фиолетовые и малиновые бутоны марьиных кореньев — диких сибирских пионов.

Саша Волынов, которого мы наняли в Красноярске на должность коллектора, то есть помощника геолога, носился, скакал по влажным полянам пестрого разнотравья, как вырвавшийся из тесной зимней конюшни жеребенок. Он нарвал охапку оранжевых махровых жарков и ярких марьиных кореньев.

— Какие чудесные анютины глазки! — восхищался Саша, потрясая тяжелым букетом-веником.

Володя Байков — маршрутный рабочий — веселый балагур-пересмешник неудержимо расхохотался:

— Ничего себе Анюта-Разанюта! Форменная красавица, да и только! Один глаз красный, как у злой крольчихи (он имел в виду дикий пион), второй — желтухой заболел (Володя, наверное, так ехидно окрестил жарки).

Моя голова кружилась от хмельной смеси сладковато-терпкого запаха багульника, грибного аромата ягеля, смолистых паров лиственниц; от острого благоухающего настоя черемухи, смородины, медово-клейких листиков березы.

Я хорошо понимал взволнованность городского парня. Ведь Волынов увидел настоящую, не тронутую человеком тайгу впервые. Он был ошеломлен ее сияющим весенним нарядом, когда все вокруг цвело и ликовало, наливаясь живительными соками. Ну разве можно молчать, если каждую веточку, каждую травинку хочется назвать по имени?! Пусть неправильно, зато ласково, от всей души!

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ СОК

Долго слонялся я по тайге, наблюдая за рябчиками. И устал, очень устал. Вижу: среди темных лиственниц ярко белеет высоченное дерево, и такое гладкое, ровное, словно корабельная мачта. С вершины его гибкими лозами свешивались густые ветви-цепочки.

Лег я на траву, под березу, хотел немного поспать, да никак не удалось.

Слышу: гудит земля, гудит и булькает, будто вода переливается в бутылке, закопанной глубоко-глубоко. Будят меня, разгоняют сон-усталость эти звуки.

Сунул я руку под травушку-муравушку, погладил землю. Она мягкая, теплая, влажная. Невидимый пар струится между пальцами, щекочет, ласкает ладонь.

Лежу я, дышу земляным паром. Пахнет сушеными грибами, вялеными листьями, зеленой травой, спелыми почками. И еще — талым снегом. Дразнят, манят, волнуют меня запахи весны.

Солнце ласково припекает. Светлые листики игриво трепещут на березе. Не видно, как они растут, а слышать слышно. Вздрогнут — и зашелестят. Как зеленые бабочки.

Может, это подземный ручей булькает. Может, ве-

тер-гулюн играет. Нет, не капели, не ручей, не ветер-гулюн. Гудит, шумит весенний сок в березах, распирает почки, расправляет клейкие листики.

Вчера мимо березы прошел сохатый, почесался о ее шершавый ствол и сломал сук. Тонкими струями бежит на землю из раны сок.

Откуда-то прилетела запоздалая желтенькая бабочка. Крылья помяты, как будто поломаны,— сразу видно, только что вылезла из тесной зимней конуры. Села на березу и давай сок пить. Пила-пила, а крылья все расправлялись, складочки разглаживались.... Отряхнулась бабочка — и весело запорхала между деревьями.

Из гнилого дырчатого пня вылез черный заспанный шмель: вялый, сухонький и какой-то потрепанный, будто побывал в недобрых руках мальчишки. Заныл, загнусавил печально. Как инвалид, побрел по траве, прихрамывая, волоча крылья. Сунул свой хобот в березовую струйку и давай сок пить. Пил-пил и так раздулся, что совсем стал круглый. Мохнатые ворсинки поднялись, ощетинились, подобно иголкам ежа. Рыженький ошейничек показался. Настоящим шмелем стал шмель. И зажужжал басовито, как полагается шмелям.

Муравей клешастый свернул со своей заветной тропинки к березовому ключику.

Ящерица раза два лизнула языком сладкую каплю. До того ей понравилось, что она даже глаза закрыла от удовольствия и осталась лежать на солнечном припеке.

Завидно мне! Все пьют, а я что — хуже? И тоже прильнул губами к дереву. А шмель кружится надо мной и ворчит: «Жжживо... Жживо...»

— Не бойся,— отвечаю.— У меня живот геологический, ко всему привычный — не лопнет.

К моему медовому ручью сели две птички, тоже стали пить.

— На здоровье! — сказал я им.

Птички напились и давай гоняться друг за другом.

Потом я нашел около березы их гнездо с двумя голубыми яичками. И подумал: что за могучий чародей березовый сок! Это все наделал он: покрыл голые ветви сочной зеленью; расправил помятые крылья у бабочки; заставил жужжать шмеля, а птиц вить гнезда; подарил рябушке горячую материнскую любовь, а петушку — дерзкую рыцарскую отвагу...

И мою усталость — как банным березовым веником снял.

ЦАРСТВО БЕРЕНДЕЯ

Мы с Павлом отправились в самый дальний маршрут. День был такой солнечный, такой веселый, что невозможно было смотреть на тайгу без улыбки.

На плескучих перекатах, среди искристой пены гулко бухались, растопырив крылья-плавники, фиолетовые и лиловые хариусы. В сонных лопушистых зарослях водяного вязиля копошились, таясь от небесных и речных хищников, пестрые выводки всевозможных уток. Серебристые чайки и краснолапчатые крачки бранчливо ссорились меж собой, охотясь над тихими плесами за толкунчиками-мальками. Высоко-высоко величаво парили орланы и беркуты.

Великий сибирский лес вовсе не казался мне однообразным, унылым, скучным, как в серую плакучую пасмурь, когда мы отсиживались в темных, холодных палатках. Нет, он состоял из тысяч своих удивительных, особых царств-островков, словно неповторимая мозаичная картина, склеенная художницей-природой из бесчисленных причудливых фигурок.

БЕЛЫЙ ЛЕС

Мы вошли в царство солнечного снега. Березы, березы да березы... Все — белым-бело. Все светится, сияет, даже больно смотреть. Казалось, мы попали в сказочный дворец-лабиринт. Какой-то чародей-путаник наставил тут беспорядочное скопище чистых, ровных колонн, выточенных из алебастра. Отполировал их до блеска, разрисовал смолисто-черными пестринами.

Среди стройных высоких красавиц-белоног, увешанных длинными изумрудными косами, темнела лишь одна вековая лиственница.

Когда-то здесь, в царстве солнечного света, росли только лиственницы. Березы чахли и гибли под их буйным натиском. Но вот случился таежный пожар и уничтожил богатырских стариков. Уцелело лишь одно-единственное дерево, опаленное, с отломанной вершиной. Да еще кое-где торчали обгорелые, задубевшие пни.

Словно пушистые снежинки, опустились на волны холодного пепла крылатые семена, принесенные вездесущим ветром-неугомонником. И зашумели теплой веселой метелицей березоньки-подруженьки...

Однако им тоже недолго красоваться своими серебристыми сарафанами. Уже ползет по мху петлястыми змеями пихтовый стланик. Уже елочки смело выставили из кудрявых куртинок брусничника острые пики. Уже средь путаного вереска рассыпались пухленькие желтоватые лиственницы.

А если на чистом снегу зарябили темные пятна-оспины, значит, он неминуемо растает...

Идем, внимательно рассматриваем отложения, которые встречаются на пути. Черпаем столовой алюминиевой ложкой из-под корней вывороченных деревьев металлометрические пробы — глину, песок, почву. Ссыпаем их в плотные бумажные пакетики с номерами. Потом, уже в Ленинграде, мы будем делать спектральные и химические анализы этих проб, чтоб выяснить, скрываются ли под рыхлыми наносами месторождения полезных ископаемых.

А тайга тянется, тянется... до самого Тихого океана. И хочется шагать без остановки, хочется знать, что там, впереди, какие неведомые открытия ждут нас, какие неожиданные встречи порадуют.

Ни голоса птиц, ни шороха зверей. Гулкая, настороженная тишина. Но мы понимаем, что белый лес полон живых существ. Они прячутся в дуплах и норах, таятся от яркой, солнечной белизны в густых, укромных чащобинах.

И только маленькие-маленькие птахи с серовато-зеленой спинкой и желтым брюшком — проворные пеночки-теньковки вдруг зазвенели в еловой опушке, окаймляющей березовую рощу. «Тень-тинь... тинь-тянь...» — полились четкие звуки-бубенчики. Чудилось, будто они считали, да никак не могли сосчитать незваных геологов, забредших в их владения. И в ответ этим неумолчным резвушкам тревожно запищали, заголосили, зачекали длинноклювые отшельники болот — водолюбы-кулики.

ЧУДО-КОВЕР

Началось царство волшебных ковров. Под нами крутыми упругими волнами заколыхался туго сбитый мох. Шелковистый, сияющий, как атлас, в какие цвета он только не нарядился! И какие только нам расчудинки не попадались!

Вот головчатый мох, у которого на вершине серебристые отростки собраны в махровые желто-зеленые кисти.

Вот очень яркий, переливчатый изумрудник. На его красных корнях-ниточках, далеко уходящих в глубину, хитрые крохотные чашечки-бокальчики, чтоб лучше удерживалась вода, если нагрянет засуха. От круглого буроватого стебля острыми лучами топорщатся серповидные приподнятые узкие клинья листьев. Над некоторыми звездчатыми бутонами вздымаются длинные лилово-коричневые черешки «чертовых трубок». Сама трубка — желто-золотистая со шпилистым колпачком. Внутри коробочки — темный пыльный «табак» — семена-споры.

И всюду, всюду замысловато петляют куртинки ворсистого «бархатника». Тонкий, долгоногий стебель его густо обвит мягкими, блестящими, загнутыми в кольца пушинками. А какой он дивный — разноцветник! И бурый, и малиновый, и рубиновый, и оранжевый! Но молодые верхушки-маковки его непременно в броских ярко-зеленых лучах.

И все это скопище «плюща», «бархата», «атласа», «шелка», «парчи» переплетается в дивные кружевные узоры. Узоры-кружева то вздымаются пышными круглыми шапками, то петляют извилистыми грядами, то прижимаются выпуклыми кольцами к темным лужам.

По гладким и косматым кочкам алеют грозди брусники, кустятся острова голубичника, сплошь усыпанного матовыми сизыми ягодами-яблочками. Всюду щедро, беспорядочно рассыпались бусины розовой клюквы, тянутся гирлянды черной вороники. Перезрелая морошка светится желтыми горящими фонариками.

Павел молча заталкивает пригоршнями в рот сочные, ароматные дары таежного болота, чавкает смачно, с наслаждением.

Весело мне идти, вольготно. Только жаль — нет самого главного, нет обнажений, ради которых я отправился в маршрут. Где они, где эти коренные породы? Где же выходят на дневную поверхность, чтобы все их видели? Ведь лежат, черт возьми, под нами, да только прячутся, словно шампиньоны. Попробуй разгляди их через мощную толщу корневистого дерна, песка и глины!

А что там заманчиво темнеет вдали? Уж не обрывы ли скалистые?! Как хочется, чтоб побольше встречалось разных интересных пород, чтобы моя геологическая карта тоже расцвела волшебным чудо-ковром!

ДАВЯЩИЙ МРАК

Но, увы, опять нам не повезло! То темнели не стены крутые, не столбы каменные, а живые изгороди из скопища стволов. Деревья так тесно прижались друг к другу, что не скоро поймешь: где ель-изумрудница, а где пихта-чернявка. Они так похожи! Обожжет лицо колючками — значит, это елки — колкие иголки.

Почувствуешь мягкое, бархатистое прикосновение прохладных эластичных лап — значит, пихты — хранительницы росистой влаги.

А у лиственниц-обманщиц, у лиственниц — предательниц вечной зелени хвоя нежная-нежная, как шелк.

Под деревьями сыро, скучно, хмуро. Солнечные лучи не в силах пробиться к земле. Все небо заслонили раскидистые ветви, густо перехлестнутые многоэтажными ярусами. Всюду — серый трескучий валежник, коричневые слежавшиеся иголки, бурые трухлявые пни. И ни одной цветастой кочки-мшаги, ни одной живой травинки. Лишь редко-редко увидишь метелочку пожухлого злака.

Приседаем. Обходим. Прыгаем. Ползем. Застреваем с пузатыми рюкзаками меж теснинами стволов. Чтоб перелезть через суховатую лесину-буревалину, требуется ловкость акробата. Сапоги то попадают в цепкие капканы рогульчатых ветвей валежника, то ныряют в невидимые, предательские ямы-ловушки. (Сломать ногу можно в любой момент — и тогда уже не выберешься из таежного плена. Вот почему запрещается ходить в маршруты поодиночке.) Ни спереди, ни с боков ничего не видно: лишь темная зелень да чернота истресканных стволов.

Я чувствую себя в царстве давящего синего мрака затерявшимся, ничтожно маленьким.

ОКЛЕВЕТАННАЯ КРАСОТА

Наконец мрачная глухомань осталась позади, и сразу сделалось радостно, солнечно.

Что это за такие чудесные деревья — ровные, как бамбуковые удилища, стройные, высокие, с чистой золотисто-зеленой корой и с пышным круглым куполом светлой, блестящей листвы? Да это же горькие, тоскливые осины-потрясучки! Самые «презренные», самые «проклятые» творения леса!

Не знаю, кто первый так незаслуженно окрестил осинушку-скороспелушку, осинушку-выручательницу, осинушку-кормилицу? Кто же оклеветал ее «мерзкой», «предательской», «иудовой», способной лишь якобы торчать гнусным колом на могилах нехороших, преступных людей? Но если б тот гнусный черноязычник побывал в сибирской тайге, среди страшного скопища корявых елей и пихт, он наверняка назвал бы осину самым веселым деревом.

Пусть кудри этой непонятной печальницы трепещут на ветру заунывно, грустно. Пусть, пусть... Однако слушать их жалобный, стонливый шелест куда приятней, чем блуждать в царстве синего, давящего мрака.

До осени еще далековато, а зеленый мох-бархатник уже густо усыпан опавшими багряными листьями.

— Ой, сколько же красных шапочек! — восторгается Павел, сбрасывая рюкзак.

Круглые шляпки толстых, упитанных, как боровички, подосиновиков издали напоминали яркие, малиновые листья. Они так и полыхали огненными семафорчиками.

У нас в отряде само собой сложилось неписаное правило: никогда не возвращаться из маршрута с пустой торбой. Нести к кухонному костру все, что можно добыть попутно с работой: мясо, рыбу, ягоды, орехи, дикий лук, черемшу, щавель. И уж, конечно, мимо таких аппетитных привлекательных малышей-крепышей мы не могли пройти равнодушно.

— Вызываю на соревнование! — задорно предложил Павел.

— Что ж, потягаемся!

Но за Павлом невозможно было угнаться, хоть, признаюсь по совести, и старался я со всей азартной горячностью. У него какое-то обостренное, прямо-таки волшебное чутье, как у белки-телеутки. Казалось, что грибки-колобки, которые глубоко прятались в толстый моховой покров, сами искали этого глазастого счастливчика.

Мы условились брать только челыши-однозорники: самые что ни на есть тугие, похожие на желуди, подоси-

новички, потому что размашистых переростков было полным-полно. Но малютки-гвоздики — сущие невидимки-неуловимки.

Ходил Павел спокойно, не метался, подобно мне, верхогляду, которого прельщала только бросающаяся в глаза яркость кругляшей, и собирал их по-особому — медленно, с чувством, с толком. Заметит сквозь пушистые звездочки моховинок красную шапочку, наклонится, присядет на корточки и смотрит на нее улыбаясь. Потом засунет руку под зеленую подушку-бархатку, начнет шарить в невидимой глубине. Ан, глядь, вместо одного гриба у него на ладони целый выводок «матрешек-алешек». И стоит себе довольный, любуясь лесными чудинками-расчудинками.

Оно и вправду сказать, есть на что полюбоваться! У каждого подосиновика своя осанка, свой характер. Тот выпрямился горделиво, словно бравый гвардеец,— вот-вот приложит к воинской каске невидимую руку, чтоб отдать честь. Другой, спрятавшись в боевую засаду, лукаво выглядывает из-под лучистых моховинок, точно задумал обвести «вокруг шляпки» ротозейных искателей. Третий, будто стесняется, прикрылся прошлогодним листом. А иной — как нянька-хлопотушка среди малышей: стоит посредине поляны, высокий, серьезный, и смотрит придирчиво, чтоб не разбежались детишки. А те, нахлобучив кумачовые тюбетеечки, так и жмутся доверчиво к своему заботливому покровителю. Попадаются тут и дряхлые старики — губошлепые хлюпики с понуро склоненными поблекшими головами. И гнутые-перегнутые уродцы. И даже инвалиды, обкусанные белками, бурундуками, обклеванные кукшами и рябчиками.

У каждого подосиновика шляпка окрашена по-своему: то каштановая, под цвет пожухлой травы; то темно-бурая, как вяленый мох; то дымчато-белесая, точно олений ягель. Таких искусных прятунов-хитрецов не скоро и приметишь. Но все-таки больше всего молоденьких, легкомысленных «стиляжек»-щеголей. Их яркие-преяркие колпаки видны даже сквозь кусты.

Зато ножки у всех подосиновиков на один лад — в черняво-крапчатых сапогах со стружчатыми заусеницами.

Рюкзаки наши быстро наполнились отборными толстяками. Мы пошли дальше.

Чем выше мы поднимались по склону холма, тем труднее было ступать, чтоб не раздавить нечаянно гриб.

Вскоре от неисчислимой рати красноголовиков тайга заполыхала такой зарей, что мы невольно остановились. И долго, долго любовались невероятным зрелищем.

Чудилось, будто мы попали в майскую степь, когда вокруг неугасными огнями рдели дикие маки. Или снова, вопреки таежному календарю, загорелись багрово-оранжевым жаром весенние, солнечные цветы — сибирские купальницы. Но они не колыхались, не шевелились на ветру, как стрелки метельчатой травы и кустики голубики. Они стояли непреклонно средь густых ворсин зеленого моха, словно кто натыкал их в живописном беспорядке.

— Такие богатства — и прахом пропадают! — пожалел Павел.— Вот бы сюда закинуть на вертолетах старушек-болтушек да молодушек-вертихвосток. Сколько же грибов они бы собрали! Я бы тоже в эту десантную заготовительную экспедицию нанялся!

Идем. Через каждые двести шагов останавливаемся. Копаем саперной лопатой ямы, черпаем ложкой рыхлый грунт. Короче говоря, беспрерывно занимаемся нудным металлометрическим опробованием.

Шагаем, бредем, сгибаясь устало под тяжестью грибов и туго набитых бумажных пакетиков.

ТАЕЖНЫЙ ХЛЕБ

Откуда ни возьмись, на осину опустилась темно-коричневая птица, густо усыпанная белыми жемчужными крапинками. Она была крупней скворца, но меньше галки, остроносая, головастая. Увидев нас, пеструшка надрывно затарахтела, заскрипела, словно рассохшаяся дверь: «Крээк-крээк-крээк...»

— Ну, распелась сударыня-кукарыня! Теперь жди — поналетят сюда нас приветствовать! — досадно сплюнул Павел.

— Что означает «кукарыня»? Не читал и не слышал такого странного названия.

— Не барыня-кукарыня, а правильней будет — кукара, — засмеялся Павел. — Это наши охотники так называют кедровку..Ух, страсть жаднущая до спелых орехов! Сырые шишки не трогает, бережет до поры до времени. А когда созреют, маслом нальются, то давай, давай дербанить их. Под языком у кукары есть особый мешочек-кошелечек. Так она умудряется набить в него штук сто отборных орешков. Раздует свой зоб грушей.

Клюв ножницами растаращит. И летит, кувыркаясь от тяжести, поскорей спрятать добычу. Хоронит она орехи в конуры всякие, в медвежьи отворотины, в бурундучьи продырявинки. Но чаще всего норовит закопать под мох. Чтоб, значит, не расхапали белки, мыши.

Не любят промысловики эту жаднюгу ненасытную. Ох как не любят! И потому частенько дробью свинцовой угощают. А того не разумеют, слепцы глупые, что кукара-тарабара — самая главная сеятельница кедров.

Пока Павел говорил, к нам подлетела вторая пеструшка-жемчужница. Вскоре появилась третья, четвертая... И вот уже целая ватага суетливых птиц истерично запищала, задребезжала в осиновой роще. Только слышалось: «Крэ-э-кэ-кэ..., дык... дык...» Они каркали, горланили так панически, будто предупреждали всех лесных обитателей: «Дра-а-та-дра...» («Полундра-а! Идут разбойники!»)

— Ишь ты, забеспокоились, скупердяйки несчастные! Боятся, как бы не обобрали шишки. Значит, кедровник поблизости, — сделал вывод Павел.

И действительно, вскоре перед нами, в пологой котловине широко раскинулось волнистое зелено-розовое море — царство «таежного хлеба». Тут, в теплой голубой тишинке, таились от бурь-свирепниц лишь одни кедры. Они напоминали надменных казаков-запорожцев в лилово-красных суконных свитках с лихо растопыренными усищами. Стояли горделиво, кичась красотой неподражаемой и важной значимостью. Словно хотели, да никак не могли выкрикнуть: «Звери и птицы! Птицы и звери! Знайте нас, храните, цените, почитайте! Мы безотказно кормим всех желающих вкусными маслянистыми семенами!»

Но тщетно стараются напомнить о себе могучие сибирские великаны-запорожцы. Ни звери глупые, ни люди умные пока не прислушиваются к их мольбе и гневному ропоту. Не помогают они выращивать «таежный хлеб».

И только трескучие, крэкающие кукары не бросают на произвол судьбы молчаливых кормильцев. От первых проталин до звонких слюдистых морозцев эти добрые, неугомонные жемчужницы терпеливо чистят их ветви от вредных, прожорливых гусениц и жучков.

Если большие кедры величаво пышные, броские, то молоденьким еще не дозволено щеголять в нарядных свитках. Стволы у них покрыты гладкой, тонкой,

невзрачно-серой кожицей. Зато усы — как у турецких султанов. Широкораскидистые ветви густо утыканы длиннущими сизоватыми хвоинками. Издали кедрята-пацанята похожи на голубых взъерошенных дикобразов.

Мы решили немножко передохнуть в смолистой прохладе. Недоверчивым, любопытным кукарам надоело горланить над нами. Они принялись набивать свои потайные, подъязычные мешочки гранеными орешками.

— Очень стра́нное нынче лето,— задумчиво промолвил Павел, теребя сухой ершистый стержень от раздраконенной птицами шишки.— Не может быть, чтоб так рано созрели орехи. Не может быть! Тут что-то неладное. Не доводилось мне еще встречать таких скороспелых шишек. Вот загадка непонятная...

Павел попросил у меня бинокль и пристально начал рассматривать лохматые купола деревьев.

— Теперь все ясно,— удовлетворенно сказал он.— Два года перепутались вместе, вот и меня запутали, заставили голову ломать. В прошлую осень урожай кедровых орехов в бахтинской тайге был такой, что, случалось, ветви ломались от тяжести шишек. А нонче — так себе, скудноватый. Здешние кедры, обратите внимание, спрятаны от буранов в тихую ложбину. Стоят, как в глубокой чашке. Старые шишки, ну те, которые желтеют на вершинах, заклекли, задубели от смолы, потому и не свалились. А летошние шишки, посмотрите внимательней, будто фиолетовым соком от жимолости обляпаны. Кукары их покамест не трогают, ждут, когда созреют. Им хватает и старого урожая!

Гляди-кось! Гляди-кось! Вон там шуруют хуторяне-скопидомы! Мужички себе на уме, себе — в кубышечку!

В самом деле, по кедрам возбужденно сновали небольшие полосатые зверьки. Размахивая пушистой, блестящей, как смоль, кисточкой хвоста, они торопливо набивали за щеки коричневые, глянцевитые орехи. Потом с раздувшимися скулами скользили по стволу вниз головой, прятали добычу в норы и снова проворно забирались на вершины, где шишки поблескивали на солнце, точно отполированная яшма. Издали казалось, что бурундучки соревновались с кедровками — кто скорей завладеет остатками прошлогоднего урожая.

Павел сказал, что этот маленький звереныш припасает себе на зиму до шести килограммов полнехоньких, увесистых орешков!

Из-под корней выскочила рыженькая востроносая мышка, схватила кем-то оброненный орех. Озираясь настороженно, словно боялась, как бы не отняли находку, она шмыгнула в густую траву. Долго не показывалась. Но как только упал новый орех, воровато зашустрила из потайного укрытия. Подняв зубами желанный «подарок», мышка-малышка поспешно исчезла.

Прямо над нами яростно долбил заклеклую, янтарную шишку пестрый дятел. То ли жучков-червячков искал, то ли забавлялся, оттачивая клюв, то ли решил тоже подкрепить свое здоровье целебным душистым лакомством.

— Запасайся не запасайся — все равно скоро умрешь,— изрек Павел.

— Это почему же? — удивился я.

— От сотрясения мозга, — авторитетно заявил он.

Меня разобрал такой неудержимый смех, что даже бурундук испугался — словно градом окатил нас орехами, вылетевшими изо рта. Юркнув под пень, он плутовато выглядывал оттуда блестящим глазком. Вероятно, изучал, какой же неведомый зверь издает непонятные хохочущие раскаты.

Павел вспылил от обиды. Он упрямо пытался убедить меня, что дятлы живут очень, очень мало, не больше двух лет. Ведь им приходится от зари до зари трясти головой. Да не просто трясти, а с неимоверной силой барабанить клювом по стволам, чтоб достать короеда. Вот якобы и умирают они преждевременно от сотрясения мозга...

Отдохнув, мы снова пошли по избранному азимуту маршрута. Завидя нас, бурундуки-резвунки взмахивали хвостами, словно дирижерскими палочками. А пестрые певуньи-ореховки оглашали розовый таежный храм неистовой трескотней. Кругом цокали, цвирикали белки. Вспискивали мышки-лесовки. Методично стучали дятлы. Жизнь в кедровой котловине бурлила — так осенью, во время жатвы шумят поля.

Всюду виднелись давнишние и свежие следы медведей. Они тоже собрались сюда на запоздалый пир в честь осеннего, прошлогоднего урожая.

Возле одного кедра я остановился: многие толстые суки на нем были обломаны. Неужели это работа браконьеров-промысловиков? Осмотрелся вокруг, но никаких признаков, указывающих на то, что сюда заходили люди, не обнаружил. Вопросительно взглянул на

Павла. Тот вдруг ни с того ни с сего неудержимо захохотал.

— Ой, умора! Ой, не могу! Как вспомню, так щекотка под мышками одолевает... Прошлой осенью колотили мы шишки недалеко от Подкаменной Тунгуски. Урожай был на редкость отменный. Даже мешков не хватило под орехи. Так мы ссыпали их прямо на землю — горками. Ну, работаем себе с увлечением, шелушим шишки, просеваем, провеваем орехи от лузги. Вдруг слышим — раз треск, два треск, сучья кто-то ломает поблизости. Побежал я узнать, что за тварюга завелся в нашем краю. Прямо скажу, смертельно ненавижу хищников-браконьеров. Смотрю, а это — медведь разбойничает. Кедр дербанит, подлец этакий. Обхватит лапой ветку, которая погуще шишками увешана, рванет с силой и бросит вниз. А сам все наверх морду задирает. Шишки там ядреные, тяжелые, гирляндами свешиваются. Потапыча-посапыча жадность разобрала. Ну и покарабкался он к самой макушке. А здоровенный был. Макушка, конечно, не выдержала, согнулась от грузной туши. Гнулась, гнулась, да — хрясть пополам. Медведь так и шмякнулся о землю, будто куль с мукой. Полежал, полежал — и давай кататься. А сам то ли стонет, то ли ругается: «Ух... Ух... Ух...» Я бы мог запросто пристрелить бурого, да пожалел. Очухался зверь, посидел, повздыхал, как старичок, потом орехи принялся лущить. Дюже забавно это дело у него получается. Он зажимает шишку передними лапами и крутит между зубами. Шелуху пустую выплевывает, орехи же давит, жует, словно поросенок, — прямо со скорлупой вместе. Все-таки неприлично генералу Топтыгину белочку из себя изображать, ядрышки-козявочки выколупывать.

Из рассказа Павла я понял, что мне как раз и попался искореженный, обломанный кедр, на котором промышлял шишки «хозяин тайги».

Идем, регулярно, монотонно, как заведенные, черпаем металлометрические пробы. Повсюду темнеют какие-то странные ямы-воронки. Было ясно, что они вырыты дикими зверями. Но кем? Кабаны тут не водились. А больше никто, кроме бурых медведей, не способен на такие подвиги.

Павел подтвердил мои выводы. Он сказал, что старые топтыги не такие уж дураки, чтоб лазать по деревьям. Они предпочитают лакомиться чистенькими, отборными орешками из подземных кладовых запасливых бу-

рундучков. Но для этого им нередко приходится вырывать глубокие, до полутора метров, «шурфы». Нелегкий, «поисково-разведочный» труд хитрых дармоедов окупается с лихвой. Не надо трясти кедры, не надо ломать суки, не надо потом плеваться прилипчивой смолистой шелухой. Черпай себе из бурундучиных закромов увесистые орешки полными горстями и жуй со смачным хрустом, с наслаждением. Да еще, коли посчастливится, можно закусить и свежатинкой. А медведи, как и соболи, очень любят жирное, духовитое мясо бурундуков.

ДЕРЗКИЙ ХИЩНИК

По тайге растекались призрачные сиреневые сумерки. Мы прошли уже больше двадцати километров. До лагеря осталось пустяки.

Вдруг раздались тонкие, торопливые трели: «Цык-цык-цык...» Мы насторожились. Странные, отрывистые звуки на мгновенье затихли. Потом, сменившись тихим, стонливым свистом, они перешли в быстрое-быстрое верещание: «Цурюк-цурюк-цурюк...»

— Кто это?

— Постой! Не шуми! — погрозил пальцем Павел, глядя на косматую вершину кедра.— Почему она так ругается? На кого сердится? Или нас заметила? Или?..

Павел не успел договорить. С макушки высоченного кедра прыгнула на соседнюю березу красно-бурая белка. Едва коснувшись гладкого ствола, она точно прилипла к нему, но сразу же встрепенулась, порывисто замахала черным хвостом и снова разразилась невероятнейшей скороговоркой: «Цурюк-цурюк-цурюк...» Затем, рванувшись вверх, заметалась, точно пламя на ветру, средь пестрой белизны суков.

— Что с нею? Почему так суматошится?

И тут мы заметили, что по кедру быстро засновал какой-то проворный, вертлявый, словно горностай, темно-коричневый зверь.

Вот он вытянулся, зашипел, зафыркал. Пятнистая морда его гневно оскалилась, блестя клыками. Щетинистые усы угрожающе откинулись назад. А узкие прищуренные глаза вспыхнули недобрым зеленоватым блеском. Хищник был похож на матерого облезлого кота (вероятно, линял), только более длинный и более гибкий.

— Батюшки мои! Да это же соболь! — возбужденно прошептал Павел.

Увидев так близко от себя страшного врага, пушистая краснушка-поскакушка растерянно съежилась... Однако соболь почему-то не решался нападать. Вздымая спину округлым горбом, он принялся носиться как угорелый по толстым сукам. Бедняжка спряталась в развилку ствола, затаилась. Но соболь не спускал с намеченной жертвы узких злых глаз. Белка легко могла бы переметнуться на соседнее дерево, куда не допрыгнул бы грузный преследователь. Да панический страх помутил, видимо, рассудок шустрого зверька. Или, возможно, она выбилась из сил от длительной погони? Белка, глупенькая, соскочила на землю. Вслед за ней прыгнул и соболь. Белка помчалась в частокольный пихтач, чтоб спастись, но не успела. Раздался визг. Мы запоздало бросились на помощь.

А в сущности — что могли поделать мы? Подобные естественные трагедии испокон веков существуют в природе. Сильный всегда побеждает слабого, хитрый — простодушного, коварный — доверчивого. Стрелять соболя мы не стали, хотя у нас и была мелкокалиберная винтовка. Неразумное вмешательство человека в жизнь диких животных и так уже обернулось для многих зверей, птиц, рыб бессмысленной гибелью.

— Вот, елки зеленые! — вздохнул Павел, держа в руках мертвую белку.— Ведь бегает и прыгает по деревьям проворней всех таежниц. А глядишь, то соболь сцапает, то куница, то горностай. И рысь не откажется от бельчатинки. И ястреб-тетеревятник. И медведь при случае не пропустит мимо лап. Полярная сова — крючкастая голова, тоже поступает как соболь. Заметит белку — и ну давай носиться вокруг, щелкать клювом, хлопать крыльями, пока не спугнет трусишку с дерева. Средь ветвей поймать ее трудно — изворотлива, быстра, не угонишься. А на земле она не дюже прыткая. Эх, что там говорить, — печально продолжал Павел. — Врагов у белки — по пальцам не перечтешь, а друзей нет.

— Есть, Павел! Есть! И у белки есть друзья! И у белки есть верные помощники!

— Кто же это? — искренне удивился всезнающий напарник.

— Клесты, Павел! Обыкновенные клесты! — ответил я.

— Что-то не слышал про таких зверей,— откровенно признался он. — Где они водятся? У нас в Сибири нет.

— Есть, Павел!

И я рассказал все, что слышал про этих птиц. О том, что в синих еловых лесах живут еловые клесты: самка — зелененькая, а самец — красный, будто малиновым соком облитый. Что у клестов-еловиков клюв как ножницы, то есть острые, загнутые концы перекрещены дугами. Благодаря этому они легко достают крылатые семена, отрывая чешуйки шишек.

В глухих розовых борах живут клесты-сосновики, нос у которых подобен тонко заточенному клину. Ведь сосновые шишки более крепкие, более клеклые, чем еловые. Их не щипать надо, а долбить.

В хвойной северной тайге Сибири живут белокрылые клесты, похожие на пестрых зебрят.

Я рассказал далее, что клесты выводят птенцов даже зимой. Но у этих удивительных морозолюбов тоже все-таки зябнут лапки, потому они часто роняют еловые, сосновые и лиственничные шишки в снег. В голодную пору белки отыскивают под глубокими сугробами птичьи подачки. Тем и кормятся до лучших времен...

— Вы сами все это видели? — спросил Павел.

— Нет, читал в книгах и журналах.

— Ну, мало ли что выдумают всякие сочинители,— разочарованно протянул «Фома неверующий».

— Почему выдумывают? Ну, а если, например, взять да написать про наш сегодняшний маршрут — ты тоже скажешь, что все выдумано, а? А ведь ребятам, поди, будет интересно знать, что мы видели в походе.

Павел недоуменно пожал плечами, с серьезным удивлением взглянул на меня:

— Да что же мы особенного повстречали?! Обыкновенная сибирская тайга — и только. Вот ежели б мы по другой планете путешествовали — тогда иное дело. Тогда всем интересно было б читать про это.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Среди моховой лужайки стояла большая черная пихта, похожая на стройную высокую пирамиду. Вокруг нее росли пихты поменьше, не темные, а серые. За теми толпились светло-дымчатые пихтята. А уж к пихтятам-внучатам жались совсем крохотные пихтятки с белесыми

лаковыми стволиками. И так интересно они располагались, длинными ровными лучами расходились от середины бархатной лужайки к голым землистым краям. Как будто кто взял и нарочно вырастил эту забавную зеленую звезду. Но мы-то хорошо знали, что никто, кроме вездесущих топографов да геологов-рудознатцев, сюда, в дикие Саянские горы, не заглядывал, да никому бы не пришла в голову абсурдная мысль — сажать в глухой, непролазной тайге деревья.

Иван Иваныч, проводник нашего геологического отряда, сел на поваленное дерево покурить трубочку, а я пошел посмотреть невиданную досель диковинку. Любо-

пытно все-таки, как же могла появиться такая нарядная, такая красивая звезда.

Что же я увидел?

От каждого взрослого дерева ползли змеистые стебли. Они ныряли в землю, зарывались поглубже, прорастали беленькими корешками-червячками. И снова подымались на поверхность, но уже самостоятельными пихточками. От этих пихточек тоже гирляндами стелились ветвистые лапы, давая всходы новым деревцам. И так получалось, что вся зеленая выпуклая звезда была живая, движущаяся, ползла своими яркими лучами вперед — от бабушки-пихты с высоким острым шпилем к маленьким ребятам — праправнучатам с вихрастыми кудряшками.

Вот ведь сколько месяцев ходил по дремучей тайге, а не замечал, как ползут пихты. И все из-за того, что ленился сам себе почаще задавать вопросы: «Почему? Зачем? Отчего?»

НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ

И понял я — сомневающимся Почемучкам живется куда интересней, чем самоуверенным Зазнайкам. Зазнайкам-всезнайкам кажется, что на Земле уже нет никаких тайн: все лесные звери, мол, давно сфотографированы, все речные рыбы зарисованы, из всех птиц орнитологи понаделали чучела. То ли дело иные, звездные миры — там все неведомо, необычно, сказочно...

С той поры, как я разгадал смысл и значение зеленых пихтовых звезд, мне захотелось раскрыть секрет расселения по тайге моих любимых деревьев — саянских кедров.

И вот я наткнулся в маршруте на белую кремнистую скалу, вокруг которой эффектно зеленел широкий пояс молоденьких саженцев, будто кто специально надел на нее пышный торжественный венок.

Как же они попали, эти длинноусые сосенки, на голый каменистый склон? Тайга простирается глубоко внизу, орехи кедровые, всем известно, не вьются, не летают, как, например, пушистые семена тополя.

Выдернул я, ради любопытства, горсть ершистых саженцев, смотрю, а под их розовыми корнями-путанками буреет прелый стержень от шишки. Но кто же набросал, насыпал столько шишек, чтоб получилось изумруд-

ное кольцо? Может быть, охотники за снежными барсами или за чудодейственными рогами-пантами горных оленей-маралов? Вряд ли! А уж про геологов и думать нечего — они копают глубокие разведочные ямы-шурфы и длинные канавы-траншеи, бурят дыры-скважины, пробивают шахты, карьеры.

Ходил я вокруг белого каменного «пальца». И ходил, и приседал, и ползал, да только никаких примет человеческого присутствия не нашел. Никак не удалось мне узнать тайну изумрудного кольца.

Тогда я влез на самый конец вздыбленного пальца. С высокой вершины все стало ясно, понятно. Кремнистая скала, оказывается, служила мастерской, а точнее — гигантскими тисками и наковальней. Белокрапчатые суетливые кедровики-хлопотухи приносили сюда из низинной тайги шишки, которые, видимо, настолько перезрели, что падали от прикосновения птиц. Чтоб не кормить дармоедов-бурундуков и медведей, они волокли добычу к скале, засовывали в трещины и шелушили себе спокойно орешки на черный день. Клювы у них подобны острым стальным гвоздям-железопробивателям. Некоторые шишки выскальзывали из каменных тисков — вот и получился дивный зеленый обод вокруг белой скалы. Но так ли было? Утверждать не стану. Может, шишки приносили пестрые дятлы или черные желны.

В другой раз я нашел глубокую, безобразно вырытую яму, будто дикие кабаны состязались в своем землекопном ремесле. На крутой стене ямы буйно щетинились изгибистые кедрята-ежата. Чудеса! Трава и то не может расти на отвесной поверхности.

Как же умудрились залезть эти неуклюжие «ежики» на обрывистую стенку? А вот как. Жил-был самодовольный, трудолюбивый бурундук — купеческий сундук. Натаскал он в свои подземные зимние хоромы солидный запасец отборных орехов. Медведь-хитрюга выследил, пронюхал, где спрятана кладовка, и давай орудовать когтищами, чтоб полакомиться чужой добычей. Все, все, что было аккуратно уложено в закрома, съел подчистую. Уцелело всего лишь несколько орешков. Они-то и проросли, выставив, мне на удивление, мохнатые шапочки.

И еще загадку подбросила в маршруте саянская тайга. На толстом стволе черной лиственницы дыбились два совершенно разных сука: один розовый — кедровый, второй — белый, березовый. Как будто чародей Мичу-

рин взял да и привил их, чтобы дивились путешественники.

А все натворила белка-проныра. Это она уронила кедровый орешек в старое дупло, заполненное грудой перепревшего мусора — остатками всяких звериных и птичьих гнезд. Ну, а березовое семечко принес издалека ветер-гулюн. Ведь он очень любопытный — во все щелки заглядывает.

Вот сколько верных, настоящих друзей-помощников у сибирских кедров! Белки, бурундуки, летяги. Да еще мыши, медведи. Да еще птицы разные.

БЕРЛОГА ЛЕШЕГО И ХРУСТАЛЬНАЯ СВИРЕЛЬ

Нам попалась очень мрачная глухомань: болотистая, корявая, клокастая. Всюду — лишайники, лишайники, лишайники...

Длинные, жесткие, точно конские волосы, суховатые нити их свешивались с темных оцепеневших лиственниц растрепанными, путаными бородами. Эти ведьмины пряди-кудели, то седые-седые, то черные-черные, плотно обволакивали, душили все ветки, закрывая от солнечных лучей блеклые чахлые иголки.

К бурым стволам кедров лепились взъерошенными шелудивыми коростами какие-то тускленькие тупые торчки.

Пихты и ели тоже были обвиты мохнатым грязно-зеленым лишайником.

Под хвойными деревьями сиротливо белели заморенные березы, покрытые оранжево-кровавыми и черно-траурными «струпьями».

Тщетно напруживинивают смелые одиночки свои развилистые руки-ветви, пытаясь пробиться через могильную темноту к голубому небу. И в бессильных потугах уродливо кривят стволы свои и падают, сраженные пепельно-серыми наростами трутовиков.

Запах — тяжелый, душно-прелистый, тошнотворно грибной. То и дело поблескивают слизистыми головками фиолетовые и лилово-желтые паутинники с тончайшей льняной основой под ребристыми шляпками, с грушевидными ножками-колотушками. Повсюду белеют шероховатые «лампочки» и шиповатые «колобки» дождевиков-пыхтунов.

Ни звука, ни малейшего шороха в «берлоге лешего» — печальная, как на старом деревенском погосте, тишина...

Вдруг послышался тонкий-тонкий свист: «Тии-тии-ти-тить-тии-и...» Будто звенела на ветру медная струнка. Будто дул кто в длинную-длинную хрустальную свирель.

Мы заспешили навстречу этим дивным звукам. Какое там — заспешили! Мы просто побежали, радуясь, что вырвались наконец из этой жуткой косматой глухомани.

А хрустальная свирелька пела все громче и неожиданно оборвалась, точно лопнула, надломилась. Из красновато-зеленого ковра брусничника с игривым верещанием вспорхнул выводок рябчиков. И не крупные еще были птенцы, чуть побольше скворца, а уж такие шустрые летуны. Семейка рассыпалась, спряталась в густом ельнике. Мы не видели их, но снова полились, задрожали серебристые бубенчики, потянулись задумчивые мелодии: «Тии-тии-ти-тить-тии...»

— Страсть как люблю подманивать осенью рябков! — сказал Павел.— У меня для такой забавной потехи припасены берестяные свистульки. Вот подрастут, откормятся птицы вольными ягодами да жирными орехами, и вас, подождите, научу охотиться на рябков-свистунков с помощью берестяных и тальниковых дуделок.

...Пишу я сейчас книжку о сибирской тайге, вспоминаю тот маршрут, а сам думаю: «Берлога лешего и хрустальная свирель... Черное и белое... Горести и радости... Удачи и разочарования... Как часто они сопутствуют геологам-путешественникам».

БЕЛАЯ ЗМЕЯ

Белая змея обвилась вокруг черного ствола высоченной лиственницы, да так и прилипла к смоле.

Хоть мы с Иваном Ивановичем порядочно устали в маршруте, все же пройти равнодушно мимо таинственной спирали не могли. Ведь после наверняка бы жалели, почему поленились узнать, что же это такое было.

Под лиственницей-вековухой мы увидели длинные, волнистые щепки. Ее необхватный, морщинистый стан был намертво опален и обуглен. Белая, вертучая змея

возникла оттого, что кто-то необыкновенно сильный играючи содрал со ствола от самой вершины до основания узкую, крутую спираль древесины.

Гадать не пришлось, все ясно: то молния ударила в острый, высоченный шпиль столетней сибирячки, проползла, проскользила своей огненной стрелой по витому телу и нырнула в землю. Ее свежий, чистый след-бурав так и остался на черно-траурной великанше, чтоб удивлять топографов и геологов.

Немало резиновых сапог истрепал я в маршрутах с той саянской экспедицией, но эту обугленную лиственницу не могу забыть. И когда хожу по тайге, когда вижу сухостои и буревалы, пожарища и подмывы разбушевавшихся рек, сигары плотов и лесопильные заводы, я думаю: «Да, это верно — деревья умирают стоя. Но собственной смертью они умирают очень редко. Деревья не умирают, а погибают. И не белые змеи злых молний губят их под корень, а черные пилы добрых людей».

ЕЖИК-АЛЬПИНИСТ

На вершине гранитного пика Саянского хребта Эргак-Торгак-Тайга я неожиданно увидел ежика. Он лежал, свернувшись неподвижным клубком, ощетинив длинные колючки. Я притронулся к зверьку рукой — он не фыркнул, не зашипел, не подпрыгнул, чтоб меня поранить. Затаился, как неживой. Я погладил его жесткие, сердитые иголки, хотел положить в шапку — не смог поднять. Осторожно загнул толстые, голубоватые, шершаво-зубчатые щетинки и посмотрел, как же он умудряется так цепко держаться за голые камни. Оказывается, ершистый зверек ухватился за макушку пика всего двумя тонкими извилистыми лапками-корешками. Словно красные змейки, заползли они в глубокие трещины, прилипли к гранитным стенкам, спрятались в глину.

Ежик ты мой, зеленый ежик! Как попал ты на эту хмурую, высоченную скалу? Кто первый уронил сюда граненый кедровый орешек? Птица ли перелетная? Белка ли перебежная? Или, может, бродячий охотник за снежными барсами, за рогатыми маралами-пантачами? Нет, не белка — они с орехами во рту не кочуют через горы. И охотники-браконьеры в глубь Саян, слава богу, не забираются ныне. Принесла сюда, на двухкилометровую высоту, маслянистое семя-орешек добрая подруга

горного сибирского леса — жемчужница-кедровка. Принесла из далекой розовой пади в специальном подъязычном мешочке, чтоб не потерять. Лишь одной этой крэкающей вертушке-запасушке не страшны ни глухие завалы-колодники, ни сухие скелеты мертвяков, ни крутые хребты-заслоны. В пору обильного урожая каждая кедровка умудряется раскидать где попало до шести тысяч складов с отборными, зрелыми орехами. До шести тысяч складов!

Вот кто помогает розовым, косматым великанам карабкаться, подобно альпинистам, на самые неприступные склоны.

Я ласково гладил упругие, беспомощно занозистые колючки кудлатого кедренка.

Ежик ты мой, зеленый ежик! Нелегко тебе придется на голой, заоблачной скале! Ох, нелегко! День и ночь тебя будут хлестать, трепать ветры. Зимой за тебя возьмутся жгучие сибирские морозы, а летом — горячее горное солнце. Удержишься ли ты, неразумный малышка? Пробурят ли твои слабенькие простуженные корешки спасительные щели в самую твердь гранитного хребта?

Я спустился к пологому склону, набрал полный рюкзак жирной, прелистой земли и высыпал ее в трещину — под лапы зеленого ежика. Расти до самого неба, мой упрямый колючий кедренок! Я верю, что ты все одолеешь — и камни, и бури, и зной, и мороз. Только жаль, не доведется мне увидеть твоей могучей, столетней красоты. Ну что же, зато увидят другие. Ведь все на земле остается людям.

Ты будешь стоять на вершине пика гордо, величаво, удивляя туристов — поклонников земных чудес.

МИМОЛЕТНЫЕ ВИДЕНИЯ

ТАЕЖНОЕ КРЕЩЕНИЕ

Да, первозданная сибирская тайга производит на степных и городских новичков незабываемое впечатление! Она не только покоряет их дикой, необузданной красотой, но еще и радует, очаровывает ожиданием неведомого, как увлекательная непрочитанная книга приключений,

Вот уж и голова стала седой, но до сих пор помню свое первое таежное крещение. Был я тогда студентом-дипломником Ленинградского горного института. Наша геологическая партия, куда меня направили на учебную практику, кочевала по Саянскому хребту: искала золотые россыпи, но нашла киноварь — густо-красную ртутную руду — «драконовую кровь». Места вокруг расстилались дичайшие — на сотни километров все горы, горы, горы с белыми заснеженными вершинами; все лес, лес, да темный жуткий лес.

Однажды остановились мы на берегу бурной безымянной речушки. Как и положено, торопливо принялись развьючивать утомленных лошадей, натягивать от ненастной погоды укрытия-палатки, разводить кухонный костер. Меня же начальник партии, зная, что я прямо-таки сам не свой от рыбацкого азарта, попросил наловить крупных хариусов, чтобы сварить к ужину свежей геологической ухи.

Быстро собрав походную удочку, я поспешил к перекату, который шумел поблизости. Торопливо забросил насадку с земляным червяком — и сразу же почувствовал знакомый резкий рывок и увидел, как в белой пене-серебрянке волчком закружился здоровенный фиолетовый хариус-горбач. Вскоре он пружинисто затрепыхался в моем рюкзаке. Насадил нового червяка-вертуна, и опять, едва приманка коснулась крутобокой волны, тонкая капроновая леска с дрожащим звоном натянулась. Ошалелые от голода хариусы-кольчужники наперегонки гонялись за коварным крючком, дрались из-за лакомой наживы. Что и говорить, рыбалка была очень бурной, увлекательной, добычливой.

Я уже хотел идти в лагерь, как вдруг прямо надо мной на кромке отвесного берега раздалось хриплое басистое гавканье, похожее на лай голодного пса. Но откуда в тайге собака?! Ведь поблизости нет ни одной охотничьей избушки. Кто же это? Росомаха-коварница, медведь-любопытник, а может быть, он сам — царь-батюшка снежный барс, владыка скалистых пик спустился с вершин Саянских гор?

Не могу солгать, будто я отнесся к этим звукам безразлично. Представьте себя на моем месте. Вокруг — непролазное скопище мрачных хвойных деревьев. Впереди — клокастый ревущий порог, где течение такое, что даже может сбить с ног. Позади — крутая глинистая стена обрыва, прижавшаяся к воде. Справа —

густой колючий кустарник облепихи. Безоружный, я стоял как в мышеловке, ничего не видя и не зная, что собирается сделать со мной зверь, издающий столь угрожающие звуки. Удилище гнулось и скрипело от рывков подсеченного крупного хариуса, но мне, признаюсь по совести, было не до рыбалки. Я, как гранату, сжимал в руке консервную банку с червями,— будто только она могла защитить меня от клыков и когтей неведомого разъяренного хищника. Мускулы мои одеревенели от напряжения, слух отточился до такой степени, что я слышал шуршанье червей в жестянке.

Вот зверь исступленно застучал лапами о землю, взбивая пыль. Вот раздалось гулкое чавканье челюстей.

«Скорей же, скорей спасайся! — сказал я себе и, прижимаясь к скользкому, глинистому обрыву, пополз над стремниной. Я мог бы сорваться и утонуть, но страх перед таинственным зверем придал мне небывалую акробатическую ловкость.

Кое-как я добрался до палатки.

— Что с тобою? — всполошился Иван Иваныч, высокий, могучий сибиряк-охотник, который работал в нашей партии проводником.— Ты бледный, словно смерть!

— Там...— махнул я дрожащей рукой.

— Что там?..— удивился он.

— Не знаю. Кто-то страшно гавкает и роет землю...

— О, это самый опасный зверь в сибирской тайге,— прошептал проводник.— Спасибо, что у нас есть специальное разрешение на охоту в летнее время. Постараюсь во что бы то ни стало добыть тебе на память клыки этого страшного хищника.

Он вскинул на плечо карабин и быстро скрылся в тальниковых кустах. Над горной тайгой прокатился выстрел.

Немного спустя Иван Иваныч с ухмылкой подошел к палатке, волоча на спине... козла. Да, да, настоящего дикого козла, ярко-рыжего, с белой подушкой у хвоста, с двумя изящными черноватыми рогами, которые внизу были покрыты бугорчатыми выступами, а сверху увенчивались острыми, слегка загнутыми ветвями.

Геологи весело подтрунивали надо мной, вспоминая, как я со всех ног удирал от гавканья безобидного травоядного животного. Да и сам я смеялся над забавной, нелепой своей трусостью пуще товарищей-шутников.

А впрочем, откуда я, житель безлесного Елецкого края, мог знать, что самец-косуля издает иногда такие лающие «собачьи» звуки?

Вот уж и правда — у страха круглые глаза, длинные ноги.

ПРИРУЧИТЬ ЗВЕРЯ

День был жаркий-жаркий, комары гудели, как рой взбудораженных пчел.

Я шел по берегу Нижней Тунгуски и упрямо бросал блесну, стараясь поймать родную сестру сибирского тайменя — хитрую, осторожную нельму. Я много наслышался и начитался об этой прыткой серебряной толстушке.

Один алтайский спиннингист был так очарован ее сверкающими полетами над водой, ее стремительными плясками-вальсами, что даже написал в своей книге, будто у нельмы такие же красивые губы, как у... женщины. А полярные геологи якобы готовы любой свой самоцвет отдать за тающую, словно сахар, струганину из этой редкостной, нежной северянки.

Но меня преследовали неудачи — заветная нельма-капризница так и не захотела соблазниться сияющими блеснами. Я очень устал от бесконечных, бессмысленных размахиваний нелегким удилищем. В конце концов мне надоело гоняться за неуловимой серебряной королевой. Разложив тихо тлеющий костер из сырых гнилушек, я блаженно растянулся под густыми клубами дыма, радуясь, что избавился наконец от кровососов. Ласково припекало солнце, и я не заметил, как уснул.

Вдруг раздался истошный хрипловатый крик. Я сразу проснулся и стал искать карабин, но тут вспомнил, что никакого оружия с собой не захватил. Мурашки покрыли тело. О, я хорошо знал, чей это неприятный, ревущий голос! Так горланят иногда в тайге бурые медведи.

И в самом деле, по берегу трусил... Нет, нет, слава богу, не медведь, а крохотный чернявый медвежонок. Он трусил рысцой за мужчиной, который нес на спине раздутый рюкзак. Впереди шагала молодая, высокая женщина с мелкокалиберной винтовкой. С быстротой вездесущего фоторепортера я щелкнул ФЭДом.

Медвежонок сел и снова закричал, будто его стегали

прутьями. У звереныша была заплаканная, обиженная мордочка и сердитые карие глаза.

— А ну, поднимайся! — строго приказал мужчина.

Непослушник уперся в камни, начал кусать ременный поводок и капризно, по-ребячьи всхлипывать.

— Я тебе говорю — поднимайся! Лентяй этакий!..

— Простите за любопытство, куда вы тащите карапуза? — спросил я.

— В тайгу.

— К медведице, что ли?

— Нет. К сожалению, мамашу его убили в берлоге браконьеры.

— Простите за назойливый вопрос — вы кто будете?

— Охотоведы. Идем проверять свои владения.

— А этого плаксуна зачем взяли?

— Пусть привыкает к лесу.

— Догадываюсь, вы решили воспитать себе верного помощника? Да?

Мужчина улыбнулся.

— Но ведь он помехой будет! — заявил я.— Всех зверей и птиц распугает. Ишь как ревет!..

— Ничего. Покричит-покричит и успокоится. Мы сами виноваты, уж больно с ним цацкались. Совсем избаловали. Вот и просится он, увалень этакий, чтоб несли на руках.

Охотовед осторожно дернул за поводок. Широкие лямки, крест-накрест перевязанные на груди, мягко натянулись. Малыш завопил, будто его очень сильно били. Потом обнял черностопыми лапами болотный сапог и стал, как по дереву, карабкаться на хозяина. Но когти заскользили по тугой, гладкой резине, и он свалился на гальку. Вскочил, снова обхватил сапоги и потопал на своих двоих — ну прямо человек-лесовичок в лохматой шубе!

Я засмеялся, представив, как Топтыжка будет прислуживать охотоведам, когда вырастет большим. И мне тоже захотелось приручить дикого медведя. Он ходил бы со мной в геологические маршруты, таскал бы тяжелый рюкзак с образцами горных пород. А когда нужно, зверь-помощник копал бы глубокие ямы-шурфы, чтоб я видел, какие полезные ископаемые спрятаны под корнями деревьев, под толщей непроглядного дерна.

Ведь это, наверное, очень интересно — приручать самого грозного зверя сибирской тайги?!

Да стоит ли мечтать о славе знаменитых циркачей-дрессировщиков?! Кто знает, может, тот малышка Топтыжка плакал вовсе не потому, что ему хотелось, как ребенку, покачаться, побаюкаться на руках. Может, он вспомнил родную мать-кормилицу, с которой медвежонка разлучили злые люди? Так ли оно, нет ли — кто знает?

Но почему-то теперь, когда я бываю с дочерью в зоопарке и вижу в тесных, темных клетках-решетках печальных зверей, мне становится как-то не по себе. А Ольке, как и всем детям,— весело, забавно. Ведь она не понимает еще, что все живое на Земле рождается для свободы.

ЖИВЫЕ ПЛАНЕРЫ

Отполыхала трепетная багряная зорька. Смутные сумерки — далекие отсветы незаходящего полярного солнца — голубой песцовой шкурой окутали бахтинскую тайгу. Вкрадчивая настороженная тишина забилась между деревьями. Разливая серебристый полумрак, отбрасывая на поляны синие тени, над лагерем повисла большая луна.

Из дупла кедра, что стоял недалеко от палаток, бесшумно вылез наш общий любимец, которого мы старались не пугать,— громадный толстый филин. Вылез, наверно, чтобы послушать, как беснуется рыба в реке, глотая поденок. Обняв крючкастыми когтями сук, он любовно причесал мохнатой лапой «уши». Затем отряхнул с перьев древесную гниль и застыл неподвижно, поблескивая кошачьими глазищами. На гладкой рыжеватой шубе его даже в синих сумерках резко выделялись черные пестрины.

По темной ели быстро скользнул какой-то серый зверек. О, чудо! Раскинув широкие крылья, он тихо, красиво, словно гигантская летучая мышь, обогнул дерево и прилип к медно-красной коре кедра.

Кто это? Я побежал к таинственному ночному летуну. Тот штопором взвился на вершину ели и снова описал надо мной медленную плавную дугу. А за ним в дремотном голубовато-белом полумраке мелькнул еще один неведомый живой планер. Довольно скоро я догадался, что это редкостные, очень скрытные белки-летяги.

Диковинные зверьки темно-синими птицами планировали над поляной.

Филин оттопырил уши, взъерошился. И когда вблизи него повисла новая тень, он подпрыгнул, разметнул свои почти двухметровые крылья и, бесшумно лавируя среди стволов, прямо в воздухе схватил когтями неосторожного зверька. Летяга истошно завопила, затрепыхалась, но ночной хищник не выпустил добычу, унес в темноту.

Напуганная филином и криком его жертвы, к палаткам бросилась вторая летяга. Как громадная бабочка пронеслась она над костром и прилипла к толстой лиственнице. Казалось, не прилипла, а намертво вонзилась в древесину. Зверек превратился в неподвижный серый нарост, похожий на морщинистую кору. Лапки широко растопырились, а шкурка между ними натянулась, словно перепонки у летучей мыши. Заметив меня, белка взметнулась на макушку лиственницы и затаилась. Больше я ее уже не видел.

Долго вспоминал я ту весеннюю ночь, когда в мягком лунном сиянии летяги казались сказочными синими птицами.

Как я мечтал рассмотреть получше, при дневном свете этих дивных зверьков, каких, пожалуй, нет ни в наших, ни в заморских зоопарках! А если и есть, то все равно их не увидишь, потому что они выбираются кормиться из гнезд-дуплянок только ночью.

К счастью, мне вскоре повезло. Однажды Павел, конюх отряда (мы кочевали по бахтинской тайге на лошадях), заметил среди густых ветвей лиственницы подозрительный клубок. Он был свит из черного бородатого лишайника, пожухлой травы и сухого болотного мха-долгунца. Павел уверенно заявил, что это — гайно, беличий домик. Затем полез на дерево, чтобы проверить, пустое оно или занято лесными жителями. Едва он прикоснулся рукой к путаному ворошку, как оттуда выбросился темно-бурый зверек. Бесшумно обогнув планирующим полетом стоявшее напротив дерево, он скрылся в гущинке пихт. Вскоре раздался жуткий вопль: так истошно орет заяц, схваченный лисой.

— Поймал! Поймал! — обрадованно крикнул Павел. — Одна улетела, а вторая сослепу сама ко мне в рукав заскочила.

Спустившись, он осторожно вытащил из рукава походной брезентовой куртки перепуганного зверька, который болезненно щурил от солнца большие глаза — выпуклые, блестящие, похожие на темные стеклянные шарики.

У белки-летяги на спине густая, мягкая, но очень короткая, точно подстриженная дымчато-серая шерсть, с шелковистым отливом и буровато-желтым крапом. Брюшко — белое. Хвост — черный, пышный, широкий, но не длинный. Как и у ее родных «сестер» — обыкновенных белок, на передних лапах летяги тоже топорщились четыре пальца. А пятый вытянулся в длинный игловидный отросток, обтянутый складчатой кожей.

Вдоволь налюбовавшись редкостным зверьком, мы посадили его на ствол кедра. Он точно приклеился, втиснувшись острыми пружинистыми коготками в чешуйчатую кору. Однако по-прежнему не шевелился — видимо, так сильно перепугало его неожиданное пленение, что он даже оцепенел от страха.

Павел громко свистнул. Зверек проворно скользнул вверх, оттопырил пальцы-иглы и прыгнул с вершины дерева. Складки между его лапами расправились, натянулись. Смешная кудлатая белка, похожая на сморщенный комочек, превратилась в красивую широкую трапецию, парящую над нами в воздухе. Легко планируя, она описала плавную дугу, накренила в сторону взъерошенный хвост-руль и, изменив направление полета, далеко, метрах в пятидесяти от нас прилепилась к стволу пихты.

Павел признался, что поймал летягу просто чудом, что такая удача случается очень редко. Животное это осторожное, пугливое. Днем отсыпается в темных норах-дуплах или в гнездах, которые якобы отбирает у прыгающих белок. А в сумерках выходит из укрытий полакомиться ягодами, грибами, почками, листьями, корой, лишайниками, половить ночных насекомых. Потому и глаза у нее такие странные — навыкате, большие-большие.

КАМЕННЫЙ ДОЖДЬ

Такой случай произошел в горной саянской тайге. Поставили мы палатку на прижимистом берегу реки, под высокой скалой. С одной стороны эта скала обрывалась отвесным уступом, с другой — узким крутым гребнем примыкала к пологому склону хребта, на котором синие пихты и розовые кедры хороводились с белыми березами и зелеными осинами. Вершина скалы напоминала ровную гладкую площадку детского садика, и только по краям ее кое-где торчали острые рыжие пики.

И вот однажды рано утром, когда мы еще спали в своих походных, лохматых мешках, сшитых из волчьих шкур, на палатку с гулким шуршаньем и стуком обрушился какой-то странный, сухой дождь. В некоторых местах парусиновой крыши появились даже солидные дыры-пробоины.

Начальник партии возмущенно закричал:

— Кто там хулиганит? Сейчас же перестаньте!

Но в ответ шумной, ухающей лавиной посыпался новый заряд тяжелого града. Наш хлипкий матерчатый домик закачался, колья-подпорки согнулись. Мы испуганно выскочили.

Прямо над нами, у самого края скалистого уступа, суетились три чернявых медвежонка: один довольно крупный, долгоносый, а два — поменьше, кудлатенькие, с белыми фартучками. Все полевики, не сговариваясь, поскорее спрятались за деревья и молча стали смотреть, что же вытворяют незваные гости. Звереныши увлеченно сгребали лапами каменную мелочь и дружно толкали ее вниз. Угловатые обломки величиной с богатырский кулак звонко ударялись о туго натянутые парусиновые крылья палатки и высоко подпрыгивали, словно резиновые мячи. Густая красная пыль вилась темными столбами. А веселые, довольные карапузы свешивали вниз грязные, косматые мордашки и восхищенно урчали.

Неожиданно на вершине скалы появилась большая черно-бурая, слегка поседевшая медведица. Она спокойно растянулась на ровной площадке, лениво посматривая на проказливых малышей. Но вдруг вскочила, подбежала к ребристой кромке обрыва (наверное, решила проверить, чем же там занимаются ее детишки). Заметив подозрительный белый предмет — палатку, Потаповна гневно, громко рявкнула.

Но ребятки-медвежатки, увлеченные интересной забавой, пропустили мимо ушей тревожное ворчание. Деловито посапывая, повизгивая от радости, они продолжали скидывать мелкие камешки. Тогда сердитая хозяйка, видимо обеспокоенная не на шутку, незаметно подкралась к рослому медвежонку-пестуну и звонко влепила ему подзатыльник. Шалуны моментально скрылись в темной тайге.

Грузная, дородная мамаша не торопясь подошла к угловатому выступу скалы, и, прежде чем мы сообразили, что она хочет сделать, большая рыжая глыба с грохотом покатилась вниз. Сухо треснули сломанные колья,

с шумом рухнула палатка... Хорошо, что в ней никого не было.

Долго мы находились под впечатлением этого маленького приключения. И потом всегда, прежде чем разбить лагерь, хорошенько проверяли, подходящее ли место.

Особенно старался наш коллектор Саша Гвоздев. Он всех убеждал, будто бы медведица дала трепку пестуну-надзирателю за то, что он и его подопечные кидали на палатку слишком легкие камешки. Надо было скатывать глыбы.

Кто знает, может, он и прав?..

БЕЗОШИБОЧНЫЕ СИНОПТИКИ

День был невыносимо жаркий. Переехав к новому лагерю, мы быстро поставили палатки. А Павел еще вдобавок туго натянул над кухонным костром новый брезентовый тент. Никогда раньше мы не видели, чтоб он устраивал подобные сооружения.

— Зачем ты, Павел, эту крышу повесил? — удивился Саша.

— От дождя затяжного.

— Да что ты! Небо чистое, без единого облачка. Деревья стоят как вкопанные, не шелохнутся. А ты еще дрова заставляешь запасать впрок! Вот перестраховщик несусветный!

— Эх, Сашок, Сашок, городской мешок! — укоризненно покачал головой Павел. — Книг много читаешь, а примет лесных не знаешь. Ну посмотри, посмотри вокруг внимательней! Во-первых, бурундуки носятся как угорелые, с писком суетливым да квохтаньем. Значит, непогодушку чуют. Во-вторых, мураши запрятались в глубину — тоже не к добру. В-третьих, вишь как взбудораженно чайки вертятся над речкой, накормиться спешат посытнее. Понимают, хитрые бестии, что вода скоро почернеет от мути, не видать им тогда рыбки! Уразумел?

Парень недоверчиво пожал плечами, ехидно ухмыльнулся.

— Ах, ты еще сомневаешься, что я правду говорю! — рассердился Павел. — Ну тогда разуй свои гляделки да посмотри получше на скопу-рыболовку. Вишь, как она волнуется, как суетится. Тоже торопится побольше хариусов натягать для детишек.

Недалеко от лагеря, почти у самого берега, на старой винтастой лиственнице-необхватнице темнел раскидистый ворох из толстых, сухих палок и путаных веток. На гнезде сидела бурая горбатая птица величиной с почтенного орлана, возбужденно терзала клювом большого хариуса и по очереди раздавала куски своим детям.

Три серых пушистых уродца-голована вытягивали голые змеистые шеи, норовя вырвать друг у друга корм.

Вот белогрудая хищница подпрыгнула, разметнула широченные, метра на полтора, черно-коричневые крылья с серебристой подбивкой и, плавно вальсируя, закружилась высоко-высоко над рекой. Казалось, что она просто прогуливается, просто наслаждается тихим полетом средь чистой лазури неба. Ведь разглядеть рыбу с такой высоты, да еще через пестрые волны бурливого переката почти невозможно.

Но вдруг безмятежно парящая скопа туго поджала крылья и, точно снаряд боевой, со свистом ринулась вниз. Резко выкинула вперед мощные оголенные лапы с крутыми крючкастыми когтями. Не успел я и глазом моргнуть, она ловко выхватила из пенистого буруна здоровенного горбача. Тот истерично затрепыхался, пытаясь выскользнуть, но не смог — ведь у скопы на длинных пальцах имеется неотразимое, грозное оружие — острые шипики-удерживатели, которые способны насквозь пронзить любую чешую.

Да, да, быстры, проворны и очень осторожны снайперы-хариусы! Однако нет им покоя-спасения от этой стремительной, молниеносной хищницы. Она хватает добычу не только сзади, то есть с хвоста, когда рыба не знает, кто к ней подкрался. Она также цепко ловит ее и за голову — причем намеченная жертва не успевает даже отпрянуть в сторону. Скопа всегда падает в воду крючкастыми лапами вперед, заранее уверенная, что хариус неминуемо будет в ее стальных когтях. Я еще ни разу не замечал, чтоб наша соседка позорно промахнулась.

Спрятавшись за деревья, все с интересом любовались, как быстро, красиво охотилась эта необыкновенная пернатая рыболовка — куда более проворная, более удачливая, чем белохвостые орланы.

— Ненастье непременно затянется надолго! — подытожил свои наблюдения Павел и суетливо принялся складывать вьючные седла высокой пирамидкой, чтоб не намочило дождем.

Саша снова подковыристо ухмыльнулся. Впрочем, пожалуй, никто из нас не верил в столь ясные, убежденные прогнозы новоявленного метеоролога-самоучки.

Вот скрылось за пестрой шубой тайги изнуряющее солнце. Повеяло убаюкивающей прохладой. Холмистая даль заволоклась сиреневой вуалью. Сполохами угасаю-

щего костра потухла лиловая зорька. Над лагерем сиротливо замерцали тусклые звезды. Все мгновенно уснули. Даже громовой, раскатистый храп промывальщика шлихов Николая Панкратовича не мог нарушить нашего безмятежного непробудного покоя.

И вдруг среди ночи порывисто затрепыхалась палатка, тугими парусами вздула свои округлые бока, угрожая вот-вот взлететь. Все выскочили наружу и торопливо принялись таскать тяжелые валуны, чтобы прижать, придавить к земле нижние края стенок нашего хлипкого парусинового домика.

Вытряхивая из черных увесистых туч крупные, частые капли-струи, холодный, жесткий ветер яростно гнул высоченные лиственницы, скрипел поломанными кедрами, гремел вывороченным сушняком пихт.

Несколько суток держала нас в темном палаточном плену хмурая, дождливая непогода.

Как мы были благодарны Павлу, который предусмотрительно натянул тент над полевым очагом, набрал бересты для растопки костра, а дрова накрыл от сырости брезентом!

С той поры, когда наш конюх безошибочно предсказал погоду, Саша весьма заинтересовался и муравейниками, и бурундуками, и чайками. Он даже завел специальную тетрадь, в которую записывал, как ведут себя птицы и звери перед дождем.

Однажды юноша стал спорить с Павлом, убежденно доказывая, что, по его приметам, не ожидается затяжного ненастья.

Сибиряк внимательно выслушал доводы городского парня.

— И все же, милый Сашок, ты глубоко ошибаешься. В скором времени голубое небо обволокут серые тучи, зарядит нудный, долгий моросейник,— добродушно возразил Павел.

— Почему же? — удивился юноша.— Скопа сидит на гнезде спокойно. Муравьи как ни в чем не бывало продолжают носить к своим хижинам всякие палочки, хвоинки и вовсе не намереваются прятаться. Так почему же дождь ожидается?

— Твои «предсказатели» еще не почувствовали резкой перемены погоды — значит, она будет не так скоро. А вот медведки... Ну, пойдем покажу!

Павел привел нас к развалам крупных, беспорядочно разбросанных камней.

— Смотрите,— прошептал он и легонько свистнул.

Из камней высунулась настороженная рыжеватая мордочка какого-то зверька величиной чуть побольше суслика. Зверек внимательно огляделся. Павел свистнул вновь. Появилось еще несколько толстых рыжеватых «столбиков». С минуту они стояли в напряженном ожидании. И вдруг, точно по сигналу, дружно запищали на все лады.

— Это медведки,— сказал Павел.— Не правда ли, здорово похожи на медвежат? Такие же корноухие и неуклюжие. Их называют еще сеноставками, потому что они заготовляют себе на зиму сено. Срезают зубами травку, раскладывают рядами на солнцепеке, а когда она высохнет, мечут стожки. Называют их также пищухами.

— Ну, а почему же дождь будет? — нетерпеливо перебил рассказчика Саша, решив, что тот отвлекся от цели метеорологической экскурсии.

— Да потому, что вчера тут стояло множество копенок. А нынче, вот посмотрите, ни одной нету. Все сено медведки спрятали под камни. Значит, ждут ненастья. И еще посмотрите, вон там, на пихте, трава свежая висит. Это медведки натаскали.

Действительно, низкие ветки ползучего пихтового стланика, который стелился под размашистым кедром, были аккуратно, стебель к стеблю, увешаны сочной зеленой травой. Даже не верилось, что это сделали зверьки.

— Ишь ты, хитрущие дьяволята! — воскликнул Павел.— Решили сушить сено не на поляне открытой, а на весу, под надежной защитой дерева... Значит, погодушка непременно испортится. Ждите затяжного, обкладного дождика-моросейника. Не очень-то далеко забирайтесь в тайгу за своими камнями. Иначе застрянете перед вздутыми речками, в балаганах придется отсиживаться...

Мы послушались совета Павла, отложили многодневные маршруты до лучших времен. И правильно поступили. Через сутки зарядил мелкий, кисейный дождь.

НОЧНОЙ РАЗВЕДЧИК

Если бы не водились злые Серые Волки, никто не знал бы чудесную сказку о Красной Шапочке.

...Над тихой, разомлевшей от полуденной жары тайгой нависли синие туманистые сумерки.

Но вот вздохнул, шустро пробежался и вдруг задиковал холодный мурашковый ветер — «северок». Залепетали вздрогнувшие осины. Зашушукались, зашепелявили лиственницы-пухлянки. Березы шумно захлопали ладошками. Поскрипывая и вздыхая, замотались, завихлялись кедры, рассыпая сухой, костяной шорох. Жалобно застонала старая пихта-бородачка.

Где-то в гулком ущелье заунывно всхлипывала страдающая от бессонницы птица — глухая кукушка или встревоженный удод. Истошно вопил страшенным криком филин: « У-у-уйй... уу-уу-уй... уу-уй...»

Как-то быстро, резко сделалось темно, жутко, таинственно.

Мы развели буйный геологический костер. Пламя порывисто дрожало, извивалось на ветру. В желтых отблесках огня смутно, призрачно плыли, трепетали черные расплывчатые тени деревьев.

— Сиди спокойно, не двигайся...— еле слышно прошептал Иван Иваныч.— Разведчик вон появился.— Проводник, улыбаясь, кивнул на толстый вековой кедр, вблизи которого белела наша походная палатка-времянка.

И тут я увидел, как из-за красноватого, шершавого ствола осторожно высунулся кудлатый зернистый нос медведя. Зашмыгал, засопел, как будто принюхивался.

Я невольно отшатнулся, схватил горящую головешку. И сильно обжегся, хотя боли сперва не почувствовал.

— Да тише ты!..— зашипел Иван Иваныч.

— А если он?..

— Не бойся. Видишь, у него на морде только одно любопытство написано.

— Любопытство написано?! — ехидно передразнил я.— А кто знает, что у него в башке? Так распишет нас когтищами, что потом никто не прочитает. Даже самые любопытные!..

— Говорю, не бойся! — сердито цыкнул проводник. И осторожно, стараясь не шуметь, не двигаться слишком резко, положил в костер большую охапку мелкого смолистого сушняка. Пламя взвилось еще выше, ярко осветив наш привальный, маршрутный лагерь.

Почувствовав, что за ним наблюдают, медведь — здоровенный матерый бурят — решил спрятаться пона-

дежней. Лобастую, корноухую голову он плотнее прижал к стволу, а круглый, высоченный зад выставил наружу.

Охапка вскоре прогорела, буйное пламя принизилось, поникло. По углям заплясали только голубоватые галстучки.

Хищный зверь снова высунул из-за кедра морду, похожую в темноте на большой закоптелый котел. Он косился в сторону угасающего костра всего лишь одним зеленоватым, узеньким, как у поросенка, глазом.

Так ночной разведчик сидел минут пять — то ли нас разглядывал, то ли огнем любовался. Толстый, жирный зад, волнисто колыхавшийся у ствола, пугал меня громадными размерами.

Исчез хозяин саянской тайги бесшумно, словно кошка. Мы даже треска валежника не услышали. Скрылся, на радость Ивана Иваныча, который колебался, не зная, что же делать — стрелять из карабина или нет. Проливать же кровь напрасно он не хотел.

...Так вот, если бы не было Серого Волка, никто не знал бы сказку о Красной Шапочке. Если бы не водились в сибирской тайге звери, не очень интересно было бы ходить по Сибири.

Опасность — в ней тоже своя прелесть.

ОЧАРОВАННЫЕ ОТШЕЛЬНИКИ

Однажды я сидел на мягкой травянистой кочке, торопливо записывая в походный дневник геологические наблюдения. Тускло блестели снежные вершины, окутанные голубой дымкой. Зеленые сумрачные пихты казались высеченными из малахита, а золотисто-оранжевые лиственницы — из медной бронзы. Ни звука, ни шороха. Лишь на усатых кедрах вздрагивали фиолетовые шишки, роняя капельки прозрачной смолы. И чудилось мне, что все живое пропало, что только я один скрипел карандашом в безмолвной саянской тайге. Но я ошибался.

Полосатый бурундук висел, притаившись, надо мной, с удивлением заглядывая в дневник. Я погрозил ему пальцем. Он вскинул хвост и, свистнув, шмыгнул под валежник. Немного спустя появился снова, за ним второй, третий, четвертый... Простодушные зверьки не в силах сдерживать любопытство, осторожно крались ко мне. Вероятно, их привлекала белая бумага.

Пять зверьков-бурундуков собралось вокруг. И у каждого на спине желто-охристого цвета, каким бывают окрашены подсосновые грибы-моховики, я насчитал по пять ярко-черных полос. Настоящие зебрята! Только природа-чудодейственница провела полосы не поперек их тела, а вдоль. Даже мордашку разрисовала полосами! Даже посреди длинного, но не очень пышного хвоста начертила темную широкую линию. Чтоб никто из таежных жителей — ни соболи-разбойники, ни медведи-ворчуны, ни косули-распятнашки, ни маралы-рогачи, — чтоб никто не перепутал их с белками. А ведь бурундуки, почитай,— родные братья обыкновенных белок. И лазают, и прыгают по деревьям так же проворно. Только не цурюкают, а свистят. Даже, говорят, поют перед дождем. И живут не в дуплах, не в гнездах средь ветвей, как белки, а в темных земляных норах. И еще — зимой они любят спать в конуре, как медведи в берлоге.

...Так вот, бурундучки-простачки, скопидомные мужички, растерянно, удивленно смотрели на белую бумагу. Они так и норовили подкрасться к бумаге поближе, чтоб, вероятно, проверить — уж не снег ли холодный неожиданно выпал в жаркий день? Да меня боялись.

Я нарочно развернул карту пошире, поднял ее над головой. Восхищенные зверьки, уставившись издали на карту, вытянулись на задних лапках и застыли, точно зачарованные.

Потехи ради я начал водить картой то вправо, то влево. Зверьки, глядя на карту, тоже стали водить мордашками то вправо, то влево. И вдруг с паническим свистом куда-то пропали.

За толстыми лиственницами, в кустах ломкой жимолости кто-то завозился, затрещал сушняком. Вероятно, «сам Топтыгин-генерал» — медведь. Тоже решил посмотреть на геологический дневник, на топографическую карту. Но почему-то раздумал.

И снова — ни звука, ни шороха. Лишь на кедрах-громадинах вздрагивали фиолетовые шишки, роняя капельки янтарной смолы.

И снова я остался в дикой тайге один. Грустно мерцала голубая дымка. Скрипел карандаш по толстой тетради.

На этот раз я писал не только о горных породах, но еще и о необычной встрече с пугливыми зверьками, которые якобы всегда боятся человека.

Ведь они живут лишь поодиночке, никогда не табунятся в дружные хороводы, как их родные сестры-белки или веселые, резвые сеноставки-пеструшки.

Почему же пять пятиполосых полосатиков собрались вместе? Или еще не успели разбежаться из одной семьи подземной, чтоб стать потом драчунами-ненавистниками? Или?..

Не знаю, право, не знаю, что и подумать...

НАПУГАЛ

Работал с нами в Туве коллектор Саша Гвоздев — трусливый-претрусливый парень. Над ним полевики-путешественники часто подтрунивали.

Однажды начальник партии поручил ему пустяковый самостоятельный маршрут: отобрать несколько гидрогеологических проб, то есть налить в бутылки чистой воды из горных ключей, которые текли вблизи лагеря.

Выполнив задание, Гвоздев торжественно повернул домой. Он шел по берегу Енисея, тихо мурлыкая песенку.

Долина реки здесь была покрыта густыми, непролазными зарослями красной смородины, малины, шиповника, на которых заманчиво рдели вкусные зрелые ягоды. Среди серебристых тополей смолисто чернели грозди черемухи, а по сторонам лошадиной тропинки так и просилась в рот сочная аметистовая жимолость.

Но Гвоздев равнодушно проходил мимо, и только когда рядом забелели палатки, облегченно вздохнул: «Ну вот, теперь можно и ягодами полакомиться. Лагерь близко, опасаться некого. Поброжу тут, пока не стемнеет. А домой приду ночью. Чтоб не смеялись больше надо мной, что я зверей боюсь...»

В сумрачной чаще хрустнула ветка, потом кто-то тяжело завозился. «Наверное, Маша-повариха кислицу для компота собирает,— решил коллектор.— Ох, и напугаю я ее сейчас!»

Он спрятался за тополь. Дождавшись, когда треск валежника раздался совсем рядом, Гвоздев угрожающе залаял «гав-гав!» и на четвереньках выскочил из укрытия.

Хриплые панические звуки, то ли вой, то ли рычание, пронеслись над Енисеем и оборвались на самой жалкой ноте. Горе-шутник видел, как толстая-претолстая «пова-

риха» в бурой лохматой шубе вздыбилась на задние лапы-лопаты, ощерила кривые клыки-сабли, проворно повернулась на сто восемьдесят градусов и вприпрыжку понеслась прямо к палаткам. Ноги подкосились у коллектора, рука с длинным молотком взметнулась вверх, словно меч. Подгоняемый страхом, он тоже побежал к палаткам.

Неподражаемая картина! Впереди бешеным галопом скакал медведь, скаля зубы, оставляя на колючих кустах шиповника клоки шерсти. А за ним, почти не отставая, мчался Гвоздев с грозно поднятым геологическим молотком. Глаза растаращились, будто у полярной совы; волосы на лбу прилипли жалкими косичками, а на затылке ощетинились, подобно стрелам дикобраза...

Вечером, сидя у костра, парень сокрушенно горевал:

— Эх, жаль не удалось догнать! А как я за ним летел! Без ружья, с одним молотком! Как старался всех накормить свежатиной! Вот непруха так непруха!..

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Опять иду по тайге один, измеряя расстояние шагами, собирая в мешочки рыхлую породу — металлометрические пробы. Короче говоря, занимаюсь обычной полевой работой.

Надо мной мутным, зудящим облаком вьются гнусавые твари-комары, плотным копошащимся слоем обволакивают вуаль, настырно протыкивая в сетку волосяные сверлящие жгучки. За спиной неотступно тянется вихристая рыжая комета крупных паутов.

Деревья-густохлестки расступились. Передо мной заблестело желтыми ржавыми озерками и черно-бархатистыми трясинистыми окошками широкое кочкастое болото. Окутанное голубым дымчатым маревом, оно мерцало синеватыми испарениями.

Чахлые, полузасохшие лиственницы производили гнетущее впечатление. То наклоненные, то уродливо искривленные, они были густо увешаны лохмотьями седых и коричневых волос бородатого лишайника. На вздутых травянистых шапках жалко топорщились карликовые кустики ольхи. Мох на этой болотистой низине не отливал изумрудной шелковистостью и свежей пунцовой яркостью. Он походил на поблекшие, измызганные грязью

кудели. Илистая жижа раздражительно чавкала и хлюпала под сапогами. Невыносимо пахло грибной гнилью и сероводородной тухлятиной.

Кое-как миновав топучую, вонючую хмарь, где даже кулики боялись гнездиться, поднялся на сухой, ягельный холм. Посмотрел вниз и невольно ахнул: среди высоких бронзовых кедров, необыкновенно прямых и стройных, увенчанных ярко-зелеными игольчатыми узорами хвои, стоял... большущий серый зверь. Ноги тонкие, длинные, с бугристо-вздутыми коленями, в рыженьких чулках. Тело — плотное, поджарое. На толстой короткой шее гордо держалась надменная, горбоносая голова с презрительно оттопыренной верхней губой. Она чутко, настороженно водила острыми «ослиными» ушами, как будто ловила подозрительные шорохи.

Но кругом было спокойно, тихо. Над серьезными, сосредоточенными кедрами неумолимо струилась легкая янтарная дымка. Пахло горячей смолой-живицей и волглой свежестью.

Среди бронзовых деревьев, чуть поодаль от лосихи-сохатихи зеркалилось круглое озеро.

Неожиданно из-под мягких сиреневых теней вышел рыжевато-бурый теленочек. Смешной такой, презабавный! Ноги несуразные, мосластые, передние длиннее задних, как у жирафенка; мордашка ушастая-разушастая. С высокой горбатой холки свешивалась темная лохматая грива, а с подбородка — потешная кожаная сережка. Вместо настоящего хвоста — беленький заячий шмоток-обрубочек, задранный вверх.

Лосенок-жирафенок ткнулся круто изогнутой мордашкой в черное, атласное вымя матушки-коровушки, но тут же отпрянул и исступленно принялся скакать среди приозерных кустов. Сбив о хлобыстучие тальники насекомых-кровососов, он снова попытался прильнуть к тугому вымени и опять отскочил, не выдержав болезненных, колючих атак многотысячной армии голодного гнуса.

Стройная сохатиха осторожно, мелкими шагами, точно проверяя глубину, ступила в темную блестящую воду. Лосенок неуверенно, неуклюже заковылял следом. Однако у самого берега остановился в нерешительности. Его встревоженный, удивленный взгляд выражал растерянность и недоумение. Мамаша смотрела на оробевшего детеныша пристально, ласково, будто звала: «Ну, иди, иди, глупенький, не бойся! Тут мелко, спокойно».

Теленок боязливо опустил в темное озеро острое копытце, но тут же зафыркал, захрапел — то ли испугался холодной, обжигающей воды, то ли ее таинственного, предательского блеска. Он снова заметался по кустам, сбивая неотвязных, нахальных комаров. Потом остановился, протяжно, жалостливо, как дитя малое, заревел на всю тайгу: «Мэ-ээ-ээ!.. Э-мэ-э!.. Мэээ!» Ему очень, очень хотелось к матери, но вода казалась такой страшной, и он не знал, что делать.

Лосиха выжидательно покружилась, потолкалась у берега и вылезла на сушу. Сохатенок радостно подскочил к ней, сунул губошлепую бородавчатую мордашку под мокрое брюхо.

А комары гудели с неистовой яростью, серыми шелестящими клубками вились над животными. Вместе с ними, как взбудораженные пчелы, роились, жужжали тигры-пауты, жадно набрасываясь на малыша, у которого шкура была нежной, податливой. Лосенку, знать, стало невмоготу от боли. Он судорожно задрыгал ногами, попытался снова броситься в спасительные кусты-веткохлестки.

Но мамаша вдруг неожиданно повернулась, поддала его головой. Теленок бултыхнулся в озеро, отчаянно забарахтался. Поднявшись, он испуганно бросился к берегу, чтоб выскочить на сушу. Однако грозная сохатиха преградила ему дорогу и настойчиво, неумолимо стала теснить детеныша в глубину. Теснила, пока тот почти до самой головы не погрузился в воду. Тогда она осторожно приблизилась к нему, подставила вымя. Забыв про обиды, голодный, измученный кровососами, малыш принялся жадно сосать.

Комары и пауты носились уже не клубками, а черными вихрастыми столбами. Но теленок на сей раз был неуязвим. Крылатые вампиры переключились на лосиху, усыпали ее густым, копошащимся пластом. Однако она стояла не шелохнувшись, только волнами вздрагивали напряженные мышцы.

Теленочек наконец вдоволь насосался. Мамаша небрежно оттолкнула его головой и забегала, закружилась по отмели озера, вздымая брызги. Знать, невмоготу ей было от гнуса, да терпела, чтоб спокойно накормить детеныша. Вслед за коровушкой-сохатихой шустро, игриво запрыгал и теленочек-лосеночек, окатывая себя звонким, холодным душем. Ему очень понравилось бегать по воде. Он то резво подкидывал вверх передние

ножки, как лягающий олень, то неуклюже приседал, подобно жирафу, то валился на спину, фыркая и плескаясь.

Зашумел бойкий, приятно освежающий ветер-верховик. Гнусавая тварь прижалась к земле, затаилась в тишинках. Лосиха, бодаясь, выгнала шалунишку на чистый берег, обдуваемый спасительной прохладой. Отряхнулась, облизала его мокрую шерсть, не спеша принялась обламывать глянцевитые ветки молодых ивушек. Она хватала с куста сразу пук листьев и смачно жевала. Тонконогий теленочек, подражая мамаше, тоже оторвал гибкий прутик и, жмурясь от удовольствия, сосредоточенно стал мусолить, объедать лакомые почки.

НЕПОПРАВИМАЯ ОШИБКА

Я сидел в палатке на фанерном полу, заворачивал в бумагу образцы горных пород, собранных среди скал тувинской тайги. Вдруг подо мной кто-то сильно, упруго забился, затрепыхался. Осторожно приподняв лист фанеры, я невольно отшатнулся, увидев... страшно возбужденную гадюку. Она яростно стегала хвостом, кружилась, извивалась, подпрыгивала пружиной, каталась клубком. При этом шипела с натужным дребезжащим свистом и угрожающе разевала белесую пасть. Тварюга была толстая, длинная, черная-пречерная с едва заметными коричневыми ромбиками и зубчатой полосой.

Что с нею? Почему так беснуется? Или в самом деле сбесилась? Или, может, исполняет какой-нибудь магический танец? Нет, скорей всего меняет старую, линялую шкуру... Вот интересно. Я еще никогда не видел, как змеи выползают из собственной шкуры.

Тут к безумно скачущей гадюке подбежала серенькая мышка-коротышка и, увертываясь от смертельного кивка-укуса, вынесла в зубах красного, голенького мышонка. Она спрятала его под груду геологической коллекции, снова бросилась к змее и... выскочила со вторым детенышем.

А черная хищница порывисто трепыхалась, раскидывая комки земли и клоки сухой желтой травы, из которой было свито гнездо лесных грызунов.

Так что же все-таки с ней происходит?

Приглядевшись внимательней, я заметил на темной круглой холке змеи маленький светлый шарик. Гадюка

упорно пыталась, да никак не могла сбросить мышку, которая вонзилась в ее тело, словно клещ. Раздуваясь от злости, гневно вертя плоской, треугольной головой, дикая танцовщица намеревалась достать дерзкую наездницу острыми, гнутыми клыками-жалами. Наконец изловчившись, удачно, как плетью, хлестнула по зверьку тонким хвостом. Смелая таежница не удержалась на скользких чешуйках, свалилась. Гадюка молниеносно «клюнула» ее и не спеша проглотила.

Когда вторая храбрая спасительница прибежала за остальными детенышами, она увидела, как на ее разворошенном, опустевшем гнезде приноравливалась поспать усталая раздувшаяся хищница. Мышка-малышка прыгнула на лютого врага и тут же упала, парализованная ядом...

Все это мелькало в сумерках палатки, будто потертые кадры старой киноленты. Не скрою, я боялся приблизиться к пляшущей гадюке. Но, придя в себя, подавив чувство страха, я выбрал самый увесистый камень и резким ударом расплющил, раскромсал змеиный череп. Затем взял ножницы и, точно Серому Волку, который проглотил Красную Шапочку, разрезал белесое, пухлое брюхо мерзкой тварюге.

Злую разбойницу я бросил в развороченный муравейник, чтоб растерзали ее на кусочки, а мертвых зверьков похоронил под высоким розовым обелиском, то есть вблизи ствола громадного кедра. Ведь это были не просто мыши, а герои! Они не испугались грозного, сильного врага. Они защищали свой дом, детей своих, как настоящие воины — не дрогнув, не струсив,— до последнего вздоха.

Я был очень доволен, прямо-таки безмерно гордился своим «благородным», гуманным поступком.

...Но прошли годы, и я понял, что совершил тогда глупую непоправимую ошибку. Нельзя бездумно, опрометчиво вмешиваться в естественную жизнь диких животных! Нельзя безрассудно навязывать свою человеческую волю природе-матушке! Нельзя!

Ведь, к примеру, даже противные, омерзительные гадюки, оказывается, очень полезны. Один только змеиный яд, который «доят» из их пасти на специальных фермах-серпентариях, ценится в десять раз дороже золота! Он избавляет людей от многих тяжелых, мучительных болезней. Такие мази, например, как випросал,

випратокс, облегчают страдания хронических радикулитчиков.

Недаром на эмблеме врачей изображена змея, обвивающая чашу Гиппократа.

ПЕРЕПУТАЛ

— Вот вы все ходите по диким местам — по горам да по тайге. Скажите, пожалуйста, нападают ли бурые медведи на геологов? — спросил меня как-то сосед, когда я вернулся из очередной экспедиции.— В зоопарке они всегда приветливые, добродушные — конфеты шоколадные, пряники сахарные выпрашивают у посетителей. И в цирке — забавные-презабавные послушники, умные, понятливые. Одно знают, как бы посмешней ребятишек развеселить. А вот каковы бывают медведи в глухом лесу, где они почти никогда не встречают людей? Задирают ли животных? Бросаются ли на путешественников и охотников?

— Ну что вы! — ответил я.— Потапычи питаются только сладкими корешками, спелой малиной да кедровыми орешками. Они обычно удирают на всех четырех от нашего беспокойного брата. Улепетывают подальше в глухомань, едва услышат стук геологического молотка.

— Неправду говорите! — возразил мой друг, тоже бродяга-землепроходец.— Я лично знаю одного коллектора, которого добренький Топтыгин легохонько «погладил» по спине лапой, когда тот собирал в тайге смородину. Пришлось по рации вызывать санитарный самолет. Еле спасли беднягу.

— И потом — разве ты не слышал, как бурый медведь чуть не утопил нас в Курейке? — продолжал горняк.

— Нет, ничего не слышал.

— Ну как же? Все только об этом и говорят!

— Расскажи, пожалуйста, подробнее.

— Да уж надоело— язык устал. И так в институте уши прожужжали — расскажи да расскажи...— поломался полярный путешественник.

Но потом, немного спустя, начал:

— Плыли мы по Курейке на резиновой лодке. Домой, то есть к базе экспедиции, возвращались. Ну, плыли себе спокойно, радостно, красотой осенней любовались,

песни лирические пели. Вдруг из тайги вышел медведь. Солидный такой. Заметил нас — да как бултыхнулся в реку... И айда наперерез к красному клиперботу. Хрипит, сопит, клыки желтые оскалил, вот-вот пропорет когтищами борта. Всех геологов словно ветром сдуло. Кто под лодку спрятался, кто с перепугу под медведя нырнул. Один повар с веслами остался, к обороне приготовился. Увидев, как люди в воду прыгают, зверюга круто развернулся и погреб, погреб торопливо назад, к песчаному берегу. Так быстро плыл, точно за звание чемпиона состязался. Выскочил на пологую косу да как драпанет в чапыжник галопом. Не хуже кавалерийского скакуна.

— Зачем же он тогда бросился на вас?

— А шут его знает. Может, перепутал — принял сослепу красный клипербот за плывущего оленя. А может, нас, геологов, принял за лохматых братьев-соперников — ведь все мы были бородатые!

— Значит, медведи нападают только на бородатых?..— рассмеялся сосед.

УРОК ТРУДА

Иван Иваныч сильно рассердился на меня, когда опять, провалявшись в спальном мешке, я опоздал к завтраку. Он заявил при всех, что непременно покажет мне сеноставок, что эти маленькие грызуны — самые мудрые, самые сознательные существа, не считая бобров. Даже студентам-горнякам есть чему поучиться у них, особенно тем, кто, вместо того чтобы в свободное время упаковывать коллекцию горных пород, предпочитает понежиться на зеленой травке, позагорать на желтом песочке.

Намеки проводника были яснее ясного света. Именно я любил и понежиться, и позагорать.

И вот наступил очередной воскресный день. Иван Иванович предложил мне отправиться с ним в горы, чтоб набраться ума-разума у диких тувинских зверьков. Он сказал, что колония сеноставок живет в «каменной реке», то есть среди беспорядочного скопища угловатого щебня, вытянувшегося вдоль склона узкой извилистой полосой.

Подковыристый учитель посоветовал спрятаться за выступом скалы и «набрать в рот воды», что означало — затаиться тише куропатки.

Недолго нам пришлось ждать. Из черной расщелины между нагромождениями сланцевых глыб высунулась кудлатая корноухая мордочка с несколько вытянутым «заячьим» носом. Растопырив щетинистые сивые усы, зверек недоверчиво покрутил головой. Затем осторожно вылез наружу и сам. Он был толстый, рыжеватый, чуть поменьше хомяка. Присел, спина округло взгорбилась, как у дремлющего зайчонка. Осмотрелся вокруг внимательно. Ничего подозрительного не обнаружив, пронзительно, отрывисто свистнул. На этот звучный сигнал, словно по команде, выскочило из трещин штук пятнадцать таких же толстяков с длинным пышным мехом, с куцым, еле заметным хвостом. Ну форменные зайчата, только не серенькие. И неуклюже запрыгали, подобно зайчатам, — задние ноги у них были длиннее передних. Запрыгали, побежали к зеленой травянистой обочине, которая окаймляла унылую «каменную реку».

Среди блестящих глыб ровными столбиками вытянулись только «часовые»: чтоб не налетели врасплох ястребы и орлы, не подкрались бы незаметно лисицы и росомахи, не набрел бы случайно медведь. Остальные зверьки дружно принялись за сенокос, то есть ловко под самый корень срезали острыми зубами-пилами стебли травы. Причем выбирали они придирчиво — ту, которая помоложе, посочней да подушистей.

Зверятки-кудлатки стелили траву тонким слоем на горячие камни. Когда она подсыхала, перевертывали ее так, чтобы к солнцу были направлены лишь самые сырые листья. Потом складывали ароматное вяленое сено в круглые островерхие копешки. Каждый ворошок они прикрывали лопухом от «медвежьих дудок», чтоб сено не размокло на дожде, а некоторые прижимали еще камешками, чтоб, вероятно, не разворошил ветер — шкодливый проказник.

Зверюшки-корноушки работали дружно, весело, до тех пор пока не выступила роса-вечерница. Одни «косили», другие носили траву, третьи сушили, четвертые метали стожки, пятые прятали готовое сено в подкаменные кладовые. Все у них шло разумно и слаженно, как в хорошем колхозе на летнем лугу.

С той поры я не откладывал коллекцию горных пород на завтра, а всегда норовил заворачивать в бумагу все образцы в тот же день, как возвращался из маршрута. И про желтый песочек забыл. И на травушке-

муравушке не валялся уже в праздной лени. Доконал меня Иван Иваныч, стыдно было.

Уж если такие маленькие, глупенькие зверюшки понимают, что самое главное в жизни — сознательный труд, то неужели я, человек, должен увиливать от работы и необходимых обязанностей?

Потом, вернувшись из тувинской экспедиции, я узнал, что сеноставок зовут еще пищухами, что они относятся к двупарнорезцовым млекопитающим животным. В нашей стране обитают восемь видов этих зверьков — рыжеватые, красные, большеухие, степные, горные, казахстанские, даурские, северные. Причем зимние стожки мечут якобы только те, которые роют норы в земле, а горные прячут сено средь россыпей крупных камней.

Но кто всерьез занимается пищухами? Какую пользу дадут они государству? Золотую валюту на пушном аукционе за них не получишь. Хоть и похожи эти зверьки на зайцев, однако шкурки не такие пышные, как у зайцев, да и мелковаты они. И сено не заставишь их запасать для колхозных коров. И школьных лодырей, получающих двойки, не пошлешь к ним на выучку — уж больно далеко живут они от поселков, не любят человека, не то что мыши и крысы.

Вот и пищат пищухи от обиды, что на них совсем не обращают внимания.

СТРОГАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

Однажды я увидел, как белка вывела из бурого мшистого гнезда, которое лежало на развилистом суку толстого кедра, своих малых детишек на прогулку. Погода была добрая: тихая, теплая, солнечная.

Четыре кудлатеньких корноухих звереныша восторженно гонялись друг за другом, шаловливо прятались под длинноусыми пучками растопыренной хвои, кувыркались, как веселые цирковые акробаты. То и дело какой-нибудь проказник норовил поймать за хвост свою мамашу или, забавляясь, теребил кисточки на ее ушах.

Озабоченная, деловито-строгая «хозяюшка» терпеливо выносила все назойливые шалости бойких сорванцов. Но когда какой-нибудь слишком резвый малыш убегал далеко от родного домика-ворошка, белка сердито верещала: «Цвирь-цвирь-цвирь...» Если упрямый непослуш-

ник долго не возвращался, она подскакивала к нему и загоняла в гнездо. При этом звонко свистела: «Цик... цик... цик...» — видимо, бранилась.

Чаще всего цокотуха просто бесцеремонно схватывала разгулявшегося сынка зубами за шиворот и, словно кошка котенка, волокла прочь от «запретной зоны».

Время от времени белка срывала еще незрелую, липко-смолистую кедровую шишку, по очереди оделяла детишек мягкими белыми орешками.

Как-то незаметно подкралась темная косматая туча. Полил крупный, сильный дождь. Веселая семейка поспешно спряталась в свое гнездо — гайно.

Я было собрался покинуть наблюдательный пост, как снова появилась та же попрыгушка-цокотушка. В лапах у нее отчаянно барахтался, пытаясь вырваться, корноухий рыженький пискун. Она равнодушно бросила малыша на сырые ветви, под проливной дождь. Бросила, а сама спряталась в круглый домик вблизи ствола, под плотным навесом хвоистых ветвей. Бельчонок вопил под холодным душем так, будто его за хвост дергали. Изгнанник намеревался залезть в теплое сухое гнездо, но сердитая хозяйка почему-то не пускала. Малышка сиротливо притулилась к мшистому вórошку и жалостливо пищала — то ли стонала от обиды, то ли плакала: «Уу-оо... уу-оо...»

Когда взошло солнце, цокотуха подскочила к мокрому дрожащему ребятенку, которого она, вероятно, за что-то наказала, и ласково стала слизывать с его короткой жиденькой шерстки дождевые капли.

Белка летней бахтинской тайги — олицетворение резвости и миловидности. Мордочка — с круглым бархатистым носиком и пышными усами. Глаза как бы прищуренные, овально-продолговатые, темные-темные, с синеватым оттенком. Уши куцые, почти совсем без кисточек-мохнатушек (они вырастают в полную силу лишь к осени). Каждый волосок на «лице» густо-серый с рыжими и желтыми кончиками. Спина — черная с красноватым отливом. (Рыжие-прерыжие поскокушки-хлопотушки, какие, например, весело цурюкают под Ленинградом, в бахтинской тайге встречаются редко.) Брюшко и подгрудок беленькие, а бока и прижимные стороны лапок светло-бурые. Смоляной хвост лоснится на солнце, как антрацит, лишь верховина коричневая. Под острыми когтистыми пальцами — круглые, потрескавшиеся, точно кора, мягкие подушки.

Не скрою, люблю я этих забавных, веселых зверьков, очень люблю. И всегда с печальным сожалением смотрю на женщин, которые кичливо щеголяют в модных беличьих шубках.

ЛЕСНАЯ ТРАГЕДИЯ

Глазастый спутник

Иду в маршрут с Павлом.

Вокруг все те же деревья да деревья, и нет им конца-края. За брюки цепляются корявые сучья валежника. В глаза так и норовят угодить растопыренные торчки сухоломин. А тут еще наглый, неотвязчивый гнус.

Уже двенадцатый километр бредем мы без передышки. Через узкие щелки, в которые превратились мои глаза, заплывшие от укусов мошки-проныры, я слежу за стрелкой компаса. Слежу, чтоб не сбиться с правильного направления. Иначе погибнешь в зеленом плену. Еще смотрю — не зашершавится ли где валун горной породы, покрытой лишайником.

— Скорей, скорей сюда! — возбужденно кричит мой спутник.

— Ну что там еще? — с притворной сердитостью спрашиваю я, как будто Павел отвлек меня от неотложных маршрутных дел. А сам в душе восхищаюсь неутомимостью напарника. Он ведь тоже волокет на спине тяжелый рюкзак с мешочками металлометрических проб: глины, песка, супеси. И мошкара, от которой совсем не спасает вуаль накомарника, до крови грызет ему губы, веки, уши. А он не только умудряется идти бодрым шагом, но и успевает попутно замечать всякие диковинные штуки.

Утром, когда разгулявшийся ветер-шалун пригоршнями бросал нам за шиворот брызги с деревьев, Павел разглядел на косматом кедре гнездо сторожкого ворона-отшельника. Затем по жалкому кусочку-обрывку беличьей шкурки нашел дупло, где жил соболиный выводок. Конюх поскреб ногтями ствол. Любопытные зверятки-соболятки высунули из дупла корноухие мордашки — вероятно, решили проверить, уж не горностай ли, норколаз-проныра, посмел нарушить их покой. Еще Павел каким-то чудом обнаружил большое токовище глухарей. По старым следам и шерстинкам он установил, что ис-

ход поединка между драчливыми соперниками-петухами якобы нередко решали рыси-шпионки, лисоньки-судейши, росомахи-прокурорши.

Кто же хозяин тайника?

Интересно, что же он увидел на сей раз?

Конюх молча подошел к бурому вороху старых осиновых листьев. На вершине этой кучи-нагребки лежали зеленые пихтовые ветки-разлапники. Павел небрежно пнул сапогом. Из-под вороха листьев обнажился здоровенный кусок свежего мяса — лопатка какого-то крупного животного.

— Да это же, однако, росомаха подкараулила бирюка-сохатого! Подумать только, всего, злодейка лютая, на шмоты раскромсала! — с твердой уверенностью сказал он. Сказал певуче окающим вологодским говорком, в то же время делая особое ударение на любимом сибирском словечке «однако». Как будто вкладывал в него все свое удивление тому, что маленькая росомаха смогла одолеть великана лося.

— Ошибаешься, Павел,— возразил я.— В этом ковалке, пожалуй, больше пуда будет. А росомаха — зверь все-таки хлипкий. Такая тяжесть ей не по лапам. Хоть спорь, хоть не спорь — это медвежья работка!

— Нет, нет, росомаха! Она, бестия неотвязная! Она, шкода разбойничья! Она, пакостница мерзкая!

Но я все-таки сомневался, что Павел прав, хоть он и отстаивал выводы с такой горячей убежденностью.

Чудо-юдо

Росомаху — этого единственного крупного хищника из семейства куньих — мне доводилось видеть только в зоопарке да кое-что читать о ее необыкновенной скрытности, осторожности и вороватости.

Представьте себе короткую широкотелую дворняжку-захудашку с несколько вытянутой мордой. Нос точно картофелина, чуть задран. Зубы мощные, массивные, с двумя острыми клыками-конусами. Уши куце-круглые, медвежьи, спина — с горбиной. Хвост пушистый, но какой-то куделистый. Шерсть длинная, неряшливо отвислая, как у тувинских яков-сарлыков, темно-коричневая; клокастая. Вдоль неуклюжего туловища проглядывает

светлая желтовато-белая шлея-полоса. На лбу и скулах волосы тоже светлые.

Вот приближенный портрет чуда-юда — росомахи!

В прошлом веке она встречалась почти во всех лесах европейской части России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. А ныне эта пугливая хищница, избегающая соседства с человеком, обитает лишь в отдаленных болотистых уремах, глухой тайге, в диких раздольях северной тундры да в непуганых скалистых горах. Она выбирает места, где пасутся косули, лоси, олени, маралы, снежные бараны-чубуки.

Несчастная нахлебница

Однако росомаха, по мнению ученых-охотоведов, слишком нерасторопна, медлительна. Поэтому не может самостоятельно догнать и загрызть здоровых копытных животных, хотя и способна даже быку перепилить горло. Уступает она по ловкости и знаменитым мышеедкам: лисицам, песцам, соболям, горностаям, ласкам. Не умеет якобы ловить ни юрких полевок, ни скрытных лесовок-землероек. И зайцев-беляков не может скрадывать так умело, как древесная кошка — рысь. И глухаря или тетерева не добудет под снежным настом, как ее родная сестра — обыкновенная куница.

Эта грузная, тяжелая на подъем лохматая коротышка, которую люди долгое время считали свирепой, кровожадной разбойницей и потому беспощадно истребляли, оказывается, довольствуется лишь тухлой падалью, грибами, ягодами, кедровыми орехами. Особенно нравится ей подбирать скудные остатки от пиршеского стола бурых медведей и волков — серых, лесных или белых, полярных. Если, по мнению охотоведов, волк расточителен и щедр, то росомаха, напротив, очень экономна. Все, что добывает сама, подбирает у других хищников или находит в тайге, — пожирает без остатка. Вот кто поистине самый добросовестный санитар!

Жаркий спор

Обо всем этом я поведал Павлу. Он не отрицал, что росомаха любит лакомиться трупами, что она неприведлива, жадна, скопидомна. Случалось, эта малышка-коротышка полностью, дочиста, вместе с костями и рогами поедала даже голову северного оленя.

— Однако не такая уж она неуклюжая, чтоб отказаться от свеженького мяса,— возразил Павел.

Он горячо стал убеждать меня, что росомаха-кудлаха страсть какая выносливая, неутомимая преследовательница. Она неотвязно бежит по теплым следам не только медведей, волков и рысей, чтобы на дармовщинку поживиться чужой добычей, но и сама способна задрать любого матерого рогача, особенно на рыхлом глубоком снегу. Лоси и олени проваливаются в сугробах по самое брюхо. А росомашка скользит себе на своих широченных кривых лапах, как на охотничьих лыжах-вездеходах, подбитых камусом.

И уж вовсе Павел расхохотался, когда я заявил, что, по наблюдениям ученых-натуралистов, росомаха якобы «не любит утруждать себя и питается всем тем, что можно добыть без лишних затрат усилий». А потому «часто остается «с носом» и нередко гибнет от голода...»

— Гибнет от голода! — ехидно передразнил он.— А вы посмотрите, посмотрите внимательно на лосиную ляжку! Воочию убедитесь, такая ли она никудышная, ленивая хлипушка!

— Ну что ты, Павел, как ребенок, приписываешь какой-то шавке-моське медвежьи и волчьи заслуги! — рассердился я на упрямого, недоверчивого спорщика.

Вот ведь хоть кол на голове ему теши, а он свое заладил: росомаха да росомаха приволокла здоровенный кус мяса, который куда тяжелее собственного веса этой несклепистой горбуньи.

Неопровержимые улики

— Нет, нет, волк не потащит перепрятывать добычу из тайги в тайгу, как домашнюю овцу из зимнего хлева в темный лес,— снова возразил Павел.— Он спокойно бы набил свое голодное брюхо до отвала, остатки же задранного сохача бросил бы тут же. Да и захоронки волки не делают. Это ведь косолапычи-привередники любят закапывать свежее мясо, чтобы потом полакомиться тухлятинкой. Но скажите, зачем медведю кромсать тушу на мелкие части? Не пестун же одногодник ради забавы угробил лося, а наверняка опытный, матерый зверь. Уж если ему почему-то захотелось бы устроить тайник именно в этом месте, он приволок бы тушу целиком. Он закидал бы ее глыбами земли, мшагой, придавил бы буревальными лесинами. Тут явно хозяй-

ничала росомаха-скопидомница. Потому что, во-первых, ляжка спрятана от любопытных птичьих глаз — кукш да воронов. Во-вторых, посмотрите, как она измызгана, обляпана глиной, травой, хвоинами. Значит, ее тащили волоком, с трудом тащили. Сразу видно, что у зверя не ахти какие силенки.

Но заметив, что я все же колеблюсь, верить ему или нет, Павел отодрал несколько длинных темно-коричневых волосин, прилипших к мясу. Затем нашел белесые шерстинки, заявил, будто бы они от продольной «шлеи» росомахи. Он заставил меня покатать эти шерстинки-волосинки в пальцах. На ощупь они были куда жестче, грубее, чем медвежьи. Среди сухожилий печального трофея таежный натуралист-самоучка разглядел неясные очертания-отпечатки от кривых острых клыков. Он пояснил, что у медведей-всеедов зубы гораздо крупнее, массивней. И, ликуя от удачи, отыскал на сырой глинистой плешине разнолапистые следы, которые, несомненно, оставила росомаха. Ведь походка у нее развалистая, неуклюжая.

Как же ей удалось!

По каким-то ему лишь ведомым, еле уловимым приметам конюх подвел меня к месту трагической гибели сохатого. Я увидел хмурую кочковатую поляну-низинку, где росли мелкие кусты ольшаника да теснились молоденькие, долговязые осинушки-частокольники. Многие деревца тут были обглоданы до белой мякоти, обкусаны и сильно поломаны. Влажный, болотистый грунт вокруг был притоптан, взбаламучен, будто кто специально месил глину. Павел объяснил, что так кружился кормящийся лось, сбивая о щетки веток въедливо прилипчивых насекомых-кровососов.

Вдали, за кочкаристым осинником, он обнаружил нечеткие путаные следы. То за быком-дикарем неотступно кралась росомаха. Если бы она рискнула приблизиться к лесному великану открыто, он без труда, как мягкотелую улитку, вдавил бы в землю это низенькое, лохматое создание. Он вскинул бы ее на рога-надолбы или, отшвырнув, распорол бы о сухие, кинжальные торчки суков. Но она не торопилась нападать, она терпеливо ждала, выжидала удобного момента, чтобы ринуться на облюбованную жертву врасплох. Она рассчитывала броситься в тот момент, когда грозный зверь не успел

бы пустить в ход свои смертоносные копыта. А ведь лоси, случалось, даже волкам и медведям перебивали хребты. Как умный, рассудительный стратег, росомаха старалась занять ту безопасную для нее позицию, откуда можно было бы совершить стремительный, роковой прыжок. Она старалась предугадать все возможные пути-дорожки, по которым пойдет сохатый, выбираясь с места кормежки — из густого осинника.

И когда насытившийся лось направился мимо наклоненной лиственницы к ручейку, чтоб утолить жажду после горькой коры, хищница-коварница прыгнула сверху к нему на загривок, вцепилась острыми когтями в шею и стала перегрызать клыками сонную артерию.

Лесной исполин метнулся в чащу, намереваясь сбить о теснины стволов свирепую зверюшку. Он ломал деревья, вскидывая копытами груды мха, оставляя на сучках клочья шерсти. Он брызгал пеной и кровью, которая хлестала из раны, окропляя землю и ветки. Он всячески пытался сбросить, да никак не смог эту страшную наездницу. И, обесиленный, беспомощно рухнул, словно подточенный короедами столетний кедр...

Павел с увлечением показывал мне все приметы, по которым он восстанавливал печальную картину таежной трагедии.

Вот здесь лось упал. Боясь, чтобы случайно не придавило, росомаха успела отскочить на буревальную лесину, но неудачно: пропорола о сухой торчок тело. В щербинах сука остались комки запекшейся крови и несколько клоков ее длинных волос.

Вон там, под кочкой, она отлеживалась, зализывая рану. Отдохнув от смертельной схватки, она принялась рьяно разделывать лосиную тушу на части. Хитрая, скопидомная зверюшка растаскивала мясо в разные стороны, прятала на черный день. Один довольно большой оковалок мяса росомаха взгромоздила на развилку пихты. Тяжеленную голову с буйной развесистой короной пока не тронула.

Павел повествует

Глядя на взволнованного, задумчиво нахмуренного Павла, я понял наконец ту мудрую истину, что нельзя ходить по тайге в поисках лишь одних обнаженных коренных пород. Нельзя небрежно отмахиваться от живой природы. Ныть и скулить, проклиная предательские бо-

лотины-западины, чащобу-густохлестку и буреломины, если не попадаются желанные горные породы,— значит, слоняться по родной земле впустую, значит, смотреть вслепую на богатый, скрытный мир великого сибирского леса-первозданника.

Все еще находясь под впечатлением распутанной трагедии, Павел продолжал в густых красках расписывать хитрость, осторожность, неутомимость и коварство росомахи. Что она якобы способна прыгать на лосей и оленей с высоченных крутых обрывов. Что умеет спускаться с деревьев даже вниз головой. Что однажды, прокрадываясь по следам рыси, несшей кабаргу, она выждала удобный момент, когда после сытного обеда та беспечно спала,—и задушила грозную лесную кошку, словно бурундука. Якобы совершенно безнадежное дело одолеть росомаху по глубокому снегу. Хоть и бегает она неуклюжими скачками, вяло, как-то боком, но все равно невозможно догнать ее даже на широких охотничьих лыжах. Попадается под выстрел случайно. А так чаще всего ее добывают капканами у привады. Ни медведей, ни волков росомаха якобы не боится, отпугивая их, как хорек, зловонной жидкостью.

— А какая она, бестия, вороватая да шкодливая! — продолжал Павел. — Поставит ли промысловик ловушку на соболя, песца, лису или путик на глухарей да тетеревов, она непременно старается опередить хозяина-обходчика. А коль унюхает продуктовый лабаз рыбаков или охотников — так все, злодейка, растормошит, все растаскает, что плохо спрятано...

Теплые следы

От того места, где росомаха (которая, быть может, наблюдала из потаенного укрытия за нами) повергла рогатого богатыря, я шел уже бодрее. Я не обращал внимания ни на путепреградные колодины, ни на раздражающее чавканье сапог, ни на гудящее столпотворение насекомых..

Вот на сизом потрясучем ягеле я заметил широкие следы, похожие на человеческие ступни.

— Потапыч-косолапыч! — бросаю убежденно. — Только что сейчас протопал. Нас, наверное, учуял.

Павел вскидывает белесые ресницы, смотрит на меня в упор, удивленно. В уголках серых глаз притаились хитроватые лукавинки.

— Хозяин, однако, прошел давным-давно — еще весной, как из берлоги вылез,— пренебрежительным тоном, не терпящим возражения, поправляет он.

— Да нет, Павел, ошибаешься! Посмотри получше, ягель, придавленный лапами, еще не поднялся, вздрагивает, колышется, будто дышит. Значит, следы, несомненно, свежие, тепленькие.

Лукавинки исчезают.

— Вот тебе и городской житель! — звонко, задорно смеется он.— А ведь я нарочно вас обманывал, чтоб проверить, наугад вы ляпнули или вправду догадались. Следы и впрямь еще тепленькие. Только не Потапыч шастал перед нашими носами, а Марфутка с медвежатами. Неужто опять сомневаетесь?

И, зная, что я потребую доказательств, принялся объяснять, что следы очень беспокойные, нервные. Зверь часто останавливался, оборачивался назад, поджидая кого-то. А так тревожно обычно ходит только медведица со своими ребятишками.

И правда, на тинистой болотине, рядом с лунками-вдавлинами огромных лапищ мы вскоре увидели маленькие отпечатки еще не окрепших детских топталок.

Павел опять оказался прав! Я посмотрел на него с хорошей, доброй завистью, которая вызывала во мне лишь одно желание — стать таким же остроглазым следопытом-натуралистом, как он.

ГЛУПЫШКИ

Пять суток бродили мы по тайге: столько набрали пакетиков с металлометрическими пробами и мешочков с рыхлыми - породами — буквально сгибались под тяжестью рюкзаков. Брели, еле-еле передвигая ноги. Мечтали о вертолетных крыльях за спиной, о болотных чудо-вездеходах. Никаких особых происшествий и незабываемых встреч с диковинными животными не было. Только в середине маршрута, где природа-матушка вознаградила нас останцами долеритовых скал, мы неожиданно увидели...

Но начну по порядку. Итак, мы с Сашей устало брели по тайге, стучали молотками по каменным обнажениям, чтоб узнать, какие полезные минералы в них прячутся. Все лесные малыши испуганно разбегались от нашего кузнечного грохота. Серые зайчата прятались под

густые кусты, рыжие бельчата — в глубокие темные дупла, полосатые бурундуки — в земляные дыры. А два желтеньких лисенка услышали металлический звон молотков и высунули из норы, что чернела в песчаном обрыве, свои длинноносые мордашки: «Кто же так интересно стучит?»

Как медвежата играют в камни, лисята видели. Как дятлы барабанят по стволам сухих деревьев — слышали. А вот как по скале выбивают такую непонятную дробь — первый раз в жизни довелось услышать.

Выскочили на травянистую лужайку ушастые щеночки, сощурили от удивления и без того узкие глаза, вовсе растерялись. Какие лоси бывают — видели. Какие волки бывают — тоже видели. А вот зверей, чтоб на двух лапах ходили, никогда не доводилось видеть.

Замахали они своими пушистыми хвостиками, подбежали к нам и давай резиновые сапоги нюхать. Вот чудеса! Как мыши пахнут — знают лисята. Как рыба пахнет — тоже знают. А вот такого странного, нетаежного запаха не знали еще.

Подняли мы лисят на руки, а те совсем оглупели от любопытства: вместо того чтоб вырываться и кусаться, начали мусолить мордашками одежду. Такие забавные щеночки: уши острые, носы острые, коготки острые, только глазенки от восторга расширились, как у совят.

Подал Саша им черствую пшеничную лепешку. Они откусили, пожевали и, урча друг на друга, жадно, аппетитно стали есть. Вот вкуснятина так вкуснятина! Какие потроха бывают у тетерок — пробовали. Какие хвосты бывают у бурундуков — тоже пробовали. А чтоб такую мягкую, хрустящую, рассыпчатую «кость» попробовать — первый раз в жизни им довелось. (Проголодались, вероятно, зверюшки, дожидаясь, когда вернется мать с глухаренком или куропаткой.)

Хотели мы принести их в лагерь, чтоб напоить сгущенным молоком, накормить кашей, да пожалели — оставили играть у норы. Пусть живут на свободе вместе со своей Елизаветой Хитрикеевной. Даже родная сердитая тетушка лучше чужих ласковых нянек.

Вот вернется она с охоты, увидит по следам, кто к ним приходил, узнает по запахам, у кого побывали неслухи, и такую задаст им трепку! Поучит их лисьему уму-разуму! Преподнесет рыжая урок тонкой лисьей хитрости. Навек забудут, глупышки этакие, как лезть в руки человеку!

ПЛАТА ЗА ЛЮБОПЫТСТВО

День был необыкновенно чистый, тихий-тихий. Небо голубое-голубое — ярче незабудок, которые густыми куртинками рассыпались средь ворсистого мелкотравья, синими звездами-немигалками горели на тусклых, песчаных скатах крутобоких террас.

Все разбрелись по тайге, как положено, парами. А я пошел на сей раз вдоль склона долины один. Пошел искать валуны с блестящими желтыми точками-вкраплинками сульфидных минералов. Но мне по-прежнему не везло. Никаких интересных горных пород не попадалось. Так себе, сыпал в мешочки надоедливую унылую «рыхлость»: пески, супеси, глины, суглинки...

И в тайге, казалось мне, все уже было знакомо, привычно, скучно...

Вспорхнут ли с гулким рассыпчатым рокотом небольшие пестрые птицы, я уже по шуму крыльев знаю, что это рябчата, пировавшие голубикой. Забелеют ли ложбинистые загрызы на кремово-зеленых осинках — значит, тут недавно кормились лоси.

А фиолетовые лепешки, перемешанные с коричневой скорлупой кедровых орехов,— это удобрения Потапыча-обжоры, чтоб лучше росли ягоды, чтоб разводили деток своих рыжие волосатые мухи-сизобрюхи и синие жуки-навозники.

Случайно мой рассеянный взгляд упал на стройную березу, одиноко белевшую средь сумрачной пихтовой черни. На ее изгибисто-тонких красноватых ветках, высоко-высоко над землей, покачивался какой-то серый лоснящийся шар. Береза была ровная, гладкая, скользкая, точно первый осенний ледок. Потому я никак не мог взобраться на нее, хоть и пытался упрямо. Однако всякий раз позорно сползал вниз. От моих неудачных упражнений зеленый мох вокруг усыпался шелковистыми чешуйками-берестинками.

Я глядел на недосягаемый лоснящийся шар, как лиса на виноград, и ломал голову. Что это такое? Неужели необычный гриб-трутовик? Но тогда как же он умудрился вырасти на ветках? Ведь всем известно — трутовики ракушками вклиниваются в стволы деревьев, опоясывая иногда их спиральными витками. И похожи они на старые конские копыта. А этот одиноко покачивался надо мной, словно круглая башенка-корзиночка.

Кто же сплел серебристую корзиночку? Зачем? Ка-

кая птица-мастерица? Какой зверек-мастерок? Сплел и обмазал дымчатой краской.

Может, иволга золотая? Нет, нет, только не иволга — таинственная пронырка-верколазка. Иволга не делает крыш и ничем свои гнезда-висюльки не штукатурит. Она предпочитает, чтоб ее детишки покачивались на ветру в мягкой, теплой люльке-колыбельке.

Может, ласточка-хлопотунья? Может, дрозд-крикун? Они любят лепить добротные крепости из темного ила болотного, из вязкой глины речной. Но не вешают их, как мячи, а примазывают к карнизам строений, к развилкам толстых суков.

Так чей же этот витой, точеный домик-шарик?

Знать, хитрый мужичок-лесовичок с зеленой бородкой, в синей шапке-невидимке да в белых берестяных лапотках-самотопах повесил волшебную игрушку, чтоб посмеяться над любопытством геолога. Ведь геолог этот страдает от вынужденной тоски, что каменная книга земли покрыта мощной толщей тысячелетних наносов. Но чем заглушить неудовлетворенность скучным, бессмысленным маршрутом? И разгадать невозможно эту случайную таежную загадку, колышущуюся высоко над головой. Попробуй достань непонятный сияющий шарик! Тут нужны птичьи крылья, обезьянье проворство, рысьи когти или чудо-лесенка с вертолета, чтоб одолеть гладкий, без единого сучка-задоринки, лаковый ствол березы.

Так и ушел бы я из тайги, не узнав тайну круглого висячего домика, да спасибо помогла... Но закончу лучше по порядку.

Вдруг с пихты на березу прыгнул пушистый темно-серый зверек. Заломив к горбу черный метельчатый хвост, он уселся на суку и стал пристально смотреть, как покачивается ребристая башенка. Да это же белка-телеутка!

Подкралась к «игрушке лесовичка», изогнулась, повисла на задних лапах. Вытянувшись струной, она схватила ее передними лапами, сорвала, надкусила зубами и стремглав перескочила с добычей на соседнюю пихту, затем на кедр. Домик был, по-видимому, легкий, как воздушный шар. Потому телеутка прыгала быстро и проворно, неся большую, неуклюжую «игрушку» во рту. Примостилась на самой верховине дерева, где сквозил ветер, и с увлечением занялась обработкой домика своими резцами. На землю посыпалась сухая серебристая

шелуха. Грызуля что-то вытаскивала из середины, похожее на белые рисовые зерна, и поедала.

Вдруг она как взвизгнет, будто за кисточки дернули, как бросит круглую башенку. И давай носиться по кедру взад-вперед, взад-вперед, точно от соболя спасалась. Бегает, о ветки трется, лапами машет, словно медведь, отгоняющий комаров, кувыркается.

Что с ней происходит? Не пойму. Кто ее преследует? Не вижу.

Телеутка переметнулась на лиственницу, возмущенно зацокала, мельтеша хвостом. Было очень смешно, как она чесала о шершавую кору свой нос, скребла когтями затылок. И без умолку цурюкала, будто жаловалась.

Кто же ее обидел? Кто прогнал? Заспешил я скорей к кедру, куда упал загадочный домик. Подбежал, а на меня как набросятся осы! Одна под глаз клюнула. Другая в нос ужалила. Несколько злючек в лоб впились.

Я тоже замахал руками не хуже белки-телеутки. И подрапал что есть духу, ломая кусты, проваливаясь в медвежьи рытвины. А полосатые преследовательницы — за мной!

Вспомнил я про накомарник, закрыл лицо. Да что толку! Посмотрелся в болотное зеркальце-озерко — и сам себя не узнал. Матушка родная, ну и рожа! Настоящий огород! На носу — красный помидор. Под глазом — синие баклажаны. Лоб вздулся кабачком, а подбородок — дыней. И щиплет, и горит, и ноет все лицо — хоть цурюкай по-беличьи.

Вот тебе и таинственный висячий чудо-домик!

Идти дальше я уже не мог, потому что боялся, что глаза, превратившиеся от неожиданных атак рассвирепевших ос в узенькие щелки, вовсе заплывут. Тогда мне волей-неволей придется заночевать среди деревьев. А это уже чрезвычайное происшествие. До самого утра будут полыхать в лагере яркие сигнальные костры, грохотать призывные выстрелы, взвиваться, будоража темноту, цветные шары тревожных ракет, раздаваться надрывные крики. Сколько переживаний, сколько страшных предположений свалится на головы моих товарищей! Нет, я не имел права допустить этого!

Таковы были печальные итоги моего поискового маршрута. Я не нашел ни одного завалящего валуна, а уж о рудных и говорить нечего. Зато узнал, что таежные осы не всегда живут под землей. Селятся они не только в бурундучьих и мышиных норах, не только в траве и на

кустах, но и (вот об этом почему-то даже не подумал) высоко-высоко на деревьях. И еще узнал, что белки-телеутки, оказывается, очень любят выковыривать из осиных гнезд толстых жирных личинок. Вот какие необузданные сладкоежки! Визжат, цурюкают, когда их жалят, а все равно лезут на рожон.

Но может, телеутки, эти дородные, атласные сибирячки-купчихи, глупее своих поджарых рыжих сестриц — «европеек»? Может, они принимают висячие осиные гнезда за большие кедровые шишки? Гнезда-то ведь эти круглые, ребристые, как шишки. Кто знает?

Недаром старики толкуют: «Не раскусив ореха, о ядре не суди». Люди и те ошибаются, когда судят о человеке только по одежке.

МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ

Голый гранитный гребень, куда мы поднялись, походил на острое, щербатое лезвие древнего, ржавого меча. Когда мы по карте намечали направление маршрута, путь казался простым, легким. В действительности же природа всегда устраивает неожиданные каверзы. То нам попалась непреодолимая речка, и в поисках брода мы отклонились в сторону, то втемяшились в такие черные пихтовые дебри, что волей-неволей пришлось сделать солидный крюк.

Здесь, в Саянских хребтах, мы уходили из лагеря на несколько дней, потому что не всегда можно было забросить палатки и продукты к удобным стоянкам. Для вьючных лошадей требовалось выбирать торные звериные тропы. Но они петляли бог знает как — по своим прихотливым законам. Естественно, чтобы составить геологическую карту обширной горной территории, путешественники рассчитывали только на собственные горбы. Помимо недельного запаса продуктов, мы волокли еще по толстому ватному спальному мешку. Температура в Саянах скачет резко: днем задыхаешься от жары, ночью — нестерпимый холод.

...Итак, мы достигли наконец высокого каменного гребня. Вдали, над жгуче-сиреневыми облаками ослепительно серебрились белые шапки вершин. Под нами туманисто синела вздыбленная, причудливо дикая тайга, изрезанная перистыми долинами рек, исполосованная разноцветными скалистыми отрогами.

Поднялись мы на хребет Эргак-Торгак-Тайга вроде бы легко, а вот спуститься обратно сразу не удалось. Впрочем, карабкаться вверх всегда проще.

Иного пути у нас не было, и мы с коллектором стали ползти по узкому, острому «мечу».

Тяжелые пузатые рюкзаки, набитые консервными банками, сухарями, клеенчатыми пакетами с крупой и сахаром, скатывались на бок, неуклюжие, громоздкие свертки спальных мешков надоедливо елозили по спине. Чтоб не свалиться с головокружительной кручи, приходилось крениться в противовес грузу, виртуозно балансировать ногами, нащупывать ободранными пальцами рук надежные, глубокие лунки-опоры.

Мы видели под собой, как легкие белые облака дремали на растопыренных ветвях широченных кедров. И небо казалось совершенно спокойным, безмятежно отдыхающим. Граненное резко ломанными уступами хребтов, густо-густо синее с едва уловимыми водянистыми просветами, оно походило на гигантский кристалл сапфира.

И вдруг из черного ущелья налетел шквал ветра. В Саянах всегда так бывает — не знаешь, какая погода тебя ждет; тучи подкрадываются незаметно, как снежные барсы.

— Держись крепче! — громко, стараясь пересилить шум бурана, крикнул я своему спутнику.

— Прижимайся плотней к камням! — еле слышно раздалось в ответ, хотя коллектор лежал рядом.— Бросай рюкзак к чертовой матери! Бросай немедленно! Бро-оо-сай!

Я уж и сам, без подсказки, давно пытался избавиться от опасной ноши, которая парусила под порывами ветра, да так сильно парусила, что трудно было держаться. Понимать-то понимал, но никак не мог высвободить руку из-под тугих ремней-лямок рюкзака. А он, непокорный пузатый подлец, накренивался над обрывом все больше и больше, грозя утянуть меня вниз.

Сзади раздался страшный грохот, загудела, заскрежетала ползучая лавина курумников.

«Неужели?..» — как молния, мелькнуло в голове.

— Ар-рр-ка-ди-ий! — вскрикнул я.

— Ну что ты вопишь? — отозвался тот хрипловатым басом. — Говорю, кидай скорей шмотки! Я от своих избавился. Слышишь, как они гудят?

Под хребтом творилось что-то неимоверное, как будто палили из пушек.

— Никак не могу руку вынуть из-под ремней...

— Приподнимись немножко. Постараюсь перерезать путы.

— Да ты же сорвешься!

— Лежи спокойней! Некогда торговаться. Иначе торба утянет...

Ветер, перемешанный с колючими, занозистыми снежинками, обжигал руки, трепал, крутил облака. Гранитный гребень сделался мокрым, скользким, холодным.

Прижимаясь к ложбинам и шероховатостям, коллектор повис над грозным обрывом. Медленно-медленно, словно по перекладине турника, он переставлял багровые от напряжения ладони. В зубах крепко стиснул охотничий нож. Ухватившись одной рукой за угловатый выступ скалы, сунув ногу в расщелину, он ловко полоснул острым лезвием по старым ремням. Рюкзак сдуло со спины, будто пушинку.

— Полный порядок! — сказал коллектор.— Теперь нажимай на все педали! А то, не дай бог, ударит мороз — и тогда хана: закоченеем.

Гребень значительно расширился. Мы уже не ползли, а шествовали на четвереньках, неуклюже, словно ископаемые ящеры, обремененные тяжестью панцирей. Подняться во весь рост было нельзя — собьет, опрокинет ветер. Топали себе спокойно, довольные, что обрыв остался позади... Топали и... чуть не вплотную столкнулись с крупным зверем, который нес в пасти что-то пушистое и пятнистое.

Все происходило точно во сне.

Зверь был пестрый-препестрый, весь — и кошачья усатая морда, и толстое вытянутое тело, и короткие лапы, и длиннущий хвост,— ну буквально весь он был густо испещрен яркими черными овалами. Заметив нас, он так и присел, выронив добычу, оскалил клыки. И сразу же, почти моментально, сделал такой классический прыжок-разворот, дал такого стрекача, не хуже любого бродячего кота, когда за ним гонятся собаки. Только хвост-канат вздыбил не трубой, а почему-то поджал к животу, словно боялся, как бы не оторвали.

И — все... Пятнистое «видение» бесшумно исчезло, растворилось. Мы даже не успели испугаться, даже не поняли сперва, что увидели ирбиса — снежного барса.

Всю жизнь он беспрепятственно разгуливал по самым высоким хребтам, подстерегая горных козлов и диких баранов, охотясь за индейками-куларами и тундряными куропатками. Не брезговал ни сурками, ни пищухами-медведками, ни малыми полевками. И вот почему-то спустился с заоблачных высот — поближе к тайге. То ли захотел отведать нежной косулятинки, то ли пришел выследить жирного марала... Кто знает? Неисповедимы пути-тропки снежных барсов..

Всю жизнь он чувствовал себя грозным властелином неприступных саянских белогорий. И вот те на: чуть лоб в лоб не столкнулся с двумя страшенными бородатыми чудищами, которые хоть и походили на людей, но двигались не на двух ногах, как, например, тувинские охотники с бухающими пугалками, а на четвереньках, как все звери. И потому, вероятно, хитрый, осторожный, мудрый царь вечных снегов предпочел благоразумно удрать прочь..

Барсу наверняка помешал густой туман и ветер. Если бы видимость была хорошая, он, конечно, заметил бы нас давным-давно. Если бы ветер дул в его сторону, он услышал бы, учуял бы дерзких пришельцев еще издали.

А может, горный леопард нам просто померещился, почудился в мутном, сером хаосе? Но нет — на камнях валялась добыча, позорно брошенная хищником. Это был пятнистый козленок-однолеток с разорванной шеей. Вполне возможно, на той стороне гранитного гребня, откуда мы приползли, снежного барса поджидали голодные детишки.

Вот тебе и геологический маршрут! Налево повернешь — костей не соберешь, направо повернешь — всю кожу сдерешь, назад отступишь — без головы останешься, а впереди — сильный, ловкий, страшный зверь.. Кто знает, может, он затаился под скалой, ждет удобного момента, чтоб прижать нас острыми когтищами, как глупеньких мышат. Повадки у этой громадной дикой кошки, говорят, коварные и хитрые.

Испугаться-то снежный барс испугался — это ясно, иначе не бросил бы так поспешно, так трусливо свою добычу. А вдруг он опомнился? Вдруг непобедимого царя заоблачных вершин одолел стыд, что уступил свои владения, свою охотничью тропинку каким-то четвероногим бородачам? А что, если его детишки, голодные барсятки-котятки, находятся где-нибудь поблизости от нас? Ведь около родного логова даже самые трусливые жи-

вотные иногда превращаются в грозных, опасных защитников.

Вот тебе, бабушка, и юрьев день!

Так что же делать? Не сидеть же на голых камнях и ждать доброй погоды? Этак совсем замерзнем...

Ладно, будь что будет! Выставив перед собой кривые охотничьи ножи, мы пошли вперед, разумеется, не так смело и охотно, как шли на медведя с рогатиной древнерусские силачи. Вскоре уперлись в угловатый выступ скалы. Тропинка снова сузилась. Дальше опять требовалось ползти по щербатому острому «мечу».

Под скалой зияла маленькая круглая ниша с выступающим козырьком. В ней было сухо, а главное спокойно: ветер не буянил тут с такой лютой злобой. Мы радостно забились в эту спасительную конурку. Вход загородили камнями, чтоб не слишком дуло, чтоб не прыгнул на нас неожиданно кровожадный хозяин хребта Эргак-Торгак-Тайга.

А мгла сгущалась все плотнее и плотнее. И вдруг без всякого постепенного перехода обрушилась темнота — черная и липкая, как тушь. Ни огонька, ни одной мерцающей звездочки!

Мы прижались друг к другу с унылым молчанием, точно озябшие мышата, боясь пикнуть.

— Ох, как в животе бурчит! — грустно вздохнул Аркадий.— Слушай, а не пустить ли в дело подарок ирбиса? У меня под полой ватника зашит пакетик мелкой соли. Сырая козлятинка с такой приправой за милую душу сойдет.

Мы принесли бедного теленочка-косуленочка, освежевали на ощупь. Тонкие ломтики нежного мяса казались необыкновенно вкусным лакомством. Жаль, конечно, что не было ни спичек, ни примуса, ни дров. А температура понизилась настолько, что вместо дождинок сыпался крупный, жесткий град. От стылого гранита тянуло могильной сыростью. Шкура козленка была слишком мала, чтоб согреть двух взрослых мужчин, но все-таки хоть немного спасала от невыносимого холода. Однако страшнее стужи действовало гнетущее ожидание барса. Каждый непонятный шорох чудился его вкрадчивой поступью. Каждый свалившийся камешек вызывал в нашем напряженном воображении когтистое шуршанье.

Чтоб избавиться от неодолимой тревоги, от невольной жути, мы принялись рассказывать друг другу смеш-

ные анекдоты, вспоминали всякие веселые истории, комические происшествия, забавные басни, шутили, хохотали — и все нарочито громкими голосами: пусть слышат барсы, что бравые геологи не дремлют. Клацая зубами от дьявольского холода, мы перепели все песни и частушки, какие только знали.

А черная, дегтевая ночь тянулась и тянулась, как будто земной шар перестал вращаться. А ветер выл и выл. А тайга внизу шумела и шумела заунывно, печально. И в каждом неожиданном, неведомом звуке мерещились шаги зверей...

К утру мы совсем охрипли — то ли от поднебесного колотуна, то ли от музыкального дуэта — объяснялись, как немые, гримасами и жестами.

Закончив геологическое описание злополучного гребня, отбив молотком достаточное количество образцов, мы кое-как спустились по мокрой крутизне. С большим трудом нам удалось разыскать среди каменного хаоса ползучей лавины сброшенные рюкзаки. Они были изрядно потрепаны и даже местами порваны, пропороты об острые глыбы. Одним словом, выглядели так, словно барсы всю ночь играли с ними в кошки-мышки.

Мы сразу же занялись работой: поставили под зелено-серыми нахохленными кедрятами, похожими на растрепанные стожки сена, маленькую походную палатку. Из упругих пихтовых веток сделали высокий пружинистый матрац, из шелковых, пушистых верховинок лиственниц — мягкое покрывало. Потом развели жаркий костер, высушили одежду, белье, спальные мешки. А уж потом вскипятили котелок необыкновенно прозрачной, вкусной горной воды, заварили байховым чаем, выпили почти залпом. Вскипятили второй котелок — и тоже опустошили его с жадной торопливостью. Из свежей козлятинки, которую великодушно подарил нам снежный барс, нарезали большие ломти, нанизали на тонко заструганные ивовые шампуры. Не торопясь, чтоб мясо пропиталось душистым тальниковым дымком, покрылось коричневой углистой корочкой, мы с удовольствием держали, крутили шашлыки над раскаленными ольховыми поленницами.

Не сказав ни слова, Аркадий шмыгнул в кусты. Вскоре он вернулся, держа в руках шапку, доверху наполненную какими-то крупными, как смородина, но продолговатыми золотисто-желтыми ягодами. Из карманов его торчали широкие сочно-зеленые перья горного

лука, который обычно растет средь осыпей и развалов камней.

— Саянская облепиха приятней любого кавказского лимона. Если нет соли, то всегда пользуйтесь облепихой, она отбивает противную пресность лучше любой приправы.— Аркадий принялся вожделенно брызгать свой шашлык из козлятины янтарным соком блестящих ягод. Он заедал шашлык белыми, хрустящими головками терпко-острого, слезоточивого лука-дикаря.

Хоть мы и вымотались из сил, хоть и не сомкнули всю ночь глаз, но спать почему-то не хотелось. Аркадий притворно вздыхал, сожалея, что не взял с собой нагана. Не знаю, зачем он получил эту бесполезную игрушку? Пуще всего на свете он боялся не медведей-шатунов, не рысей, не волков, не росомах, а только одного — нечаянно потерять наган. И потому всегда хранил драгоценнейшее личное оружие в походном стальном сейфе начальника партии. Теперь же коллектор горько раскаивался, что упустил редкостную возможность сделать шикарный пятнистый ковер из шкуры снежного барса. Да, ковер был бы всем на зависть! Один только хвост горного тувинского ирбиса — почти в метр!

Но я знал, что Аркадий шутит. В отличие от многих полевиков-геологов, топографов, изыскателей и прочих профессиональных бродяг он не любил убивать зверей ради капризной охотничьей прихоти, ради жадных корыстных целей. Как и проводник, уже известный вам сибиряк Иван Иваныч, он стрелял только по необходимости, когда угрожал голод.

Уснули мы под ласковое, шелестящее баюканье кедров...

Вот уже двадцать пять лет прошло с той поры, а я и сейчас с благодарностью вспоминаю страшный саянский гребень.

Какое это все-таки счастье, что есть на свете путешествия и приключения!

В ГОСТЯХ У...

В детские и школьные годы я был необыкновенным строителем. Зимой вместе со своими друзьями воздвигал из кирпичей спрессованного снега дома северных кочевников-эскимосов. В летние каникулы, когда удавалось выкроить свободное время от бесконечных домаш-

них работ, строил вигвамы краснокожих индейцев. Мы втыкали в землю гибкие стволы лозин, сгибали их концы в круглый свод, а остов покрывали густым слоем зеленой травы. От сильного ветра мы делали шалаши-заслоны, подражая огнеземельцам и австралийцам. Я любил играть в «Хижину дяди Тома», в берестяные конические чумы эвенков, в земляные яранги чукчей. На родине моей, под Ельцом, черноземный слой порой достигает нескольких метров, и мы, ребятишки, легко рыли в береговых обрывах норы, логова, пещеры. Во всех этих первобытных жилищах мы часто спасались от грозовых ливней и грозных ремней рассерженных отцов. Мы играли там в партизан, в путешественников, в прославленных вождей индейцев, для чего украшали головы коронами из разноцветных петушиных перьев. Случалось, ночевали там, рассказывая друг другу страшные истории про хищных зверей, неуловимых разбойников, коварных оборотней и хитрых колдунов.

Не знал я тогда, что геологическая судьба заставит меня строить не ради игры-забавы, а ради жизни охотничьи шалаши и балаганы, воздвигать примитивные чумы и яранги, чтоб спастись от затяжного, туманного дождя, от неожиданной снежной метели.

Однажды мутное ненастье загнало меня даже в темную... Но начну по порядку.

В Восточных Саянах растут могучие кедры толщиной в два-три человеческих обхвата. Прямоствольные, круглые, они возвышаются среди темных, синеватых пихт словно колонны из светлого лилово-розового мрамора.

Часто я встречал великанов саянской тайги поверженными. «Почему же они упали? Гроза ли виновата, буря ли вырвала?» — думал я.

Однако почти все поваленные кедры были свежие, целехонькие, без подпалин и расщелин от молний.

Шквалы ветра могли их опрокинуть, но в том-то и загадка — на открытых местах, где разгуливали сильные бури, кедры стояли непреклонные, как утесы, а вот между холмами, в тихих котловинах и складках гор, куда ветер даже не заглядывал, громадные деревья почему-то падали.

Почему?

...Это было в сентябре. Мы с коллектором отправились в далекий маршрут. Прошли километров десять, как вдруг поползли тяжелые тучи и все горы заволок-

лись непроницаемой кисеей тончайшего бисерного дождя. Продолжать маршрут было невозможно, и в лагерь возвращаться тоже нельзя, так как во мгле легко можно заблудиться. Надо переждать, пока кончится эта мутная серая моросня.

Удобного, сухого места для стоянки долго не попадалось. Наконец мы наткнулись на кедр. Ветви у него были густые, развесистые, дождь не мог пробить их сплошного заслона. Мы очень обрадовались. Теперь-то укроемся от злой непогоды! Укроемся?! Как бы не так.

У ствола кедра была насыпана большая куча свежей глины, а под змеистыми узловатыми корнями темнела пещера, в которой свободно могла поместиться корова с теленком.

«Медвежья берлога»,— всполошились мы.

Внутри берлоги валялись свежие зеленые пихтовые ветки, как будто звери предупреждали, что квартира занята.

Дул холодный ветер, бесшумно сыпался мелкий моросящий дождь, сумерки быстро сгущались. Где-то нужно переночевать, обогреться, обсушиться. Из всей нашей одежды не разбухли только пуговицы. Уйти от кедра было рискованно: ведь в темноте мы непременно сбились бы с азимута, потому что шли по компасу, измеряя расстояние шагами, Поблизости же, как назло, росли одни жидкие лиственницы, под которыми невозможно было укрыться. На постройку шалаша потребовалось бы много времени и сил, а мы очень устали, измучились, проголодались.

Волей-неволей пришлось забраться в чужую квартиру. Натаскали в берлогу пихтовых лап, перед входом разложили из толстых сухих лиственниц надью. Пусть дышит жаром, согревает, защищает нас от зверей. Никакого оружия у нас не было.

Высушив белье, напившись горячего чаю с пшеничными лепешками, мы блаженно развалились на ветках. Вокруг нудно шуршал дождь, завывал ветер, а в берлоге тихо, сухо, тепло. Толстые крученые корни висели над нами плотной, замысловато плетенной крышей. От распаренных пихтовых колючек неуловимо струился смолистый аромат, навевая дремотное оцепенение. Мы сразу же уснули. Проснулся я лишь на рассвете — от холода. Надья еле-еле тлела.

На мокрой глине четко выделялись отпечатки больщущих широких лап и рядом маленькие. Значит, медве-

дица приходила к берлоге с медвежатами, но не стала тревожить незваных гостей. А может, испугалась геологического молотка,— он лежал в боевой готовности у изголовья.

Так я узнал, почему в Саянах падают кедры. Копая под ними берлоги, медведи подрывают и перегрызают корни, на которых великаны держались столетиями. Конечно, не все так падают, а лишь некоторые.

ПЕРЕПОЛОХ

Серебристо-черная белочка-телеутка выскочила из дупла и уселась на вершине косматого кедра. Быстро-быстро водя лапками-ладошками по заспанной мордашке, она сперва тщательно умылась, затем любовно, волосок к волоску, расчесала кисточки на ушах. Густой белесый туман волнами колыхался между деревьями. Тонкие матовые росинки, как бисер, ложились на зеленую хвою, на лохматые пряди серого лишайника, на беличий пушистый хвост.

Внизу, среди травы, по-хозяйски деловито копошился одинокий бурундук, заботливо подбирая разбросанные птицами коричневые орехи.

Телеутке тоже захотелось позавтракать. Она обхватила лапками-ручонками буроватую кедровую шишку. Но мокрая, глянцевито-гладкая шишка неожиданно выскользнула из когтей и... прямо на нос бурундуку. Нелюдимый полосатик-хлопотун даже закружился юлой—то ли от испуга, то ли от боли. И так громко бедняга фыркнул, что орехи, которые были спрятаны за щеками, полетели во все стороны, точно брызги. Зверек поспешно юркнул под трухлявый пень, в потайную норку.

Услышав страшное фырканье, белка моментально спряталась в свой темный домик.

Бурундук воровато высунулся из конурки, чтобы проверить, кто же на него напал. Любопытная телеутка тоже выглянула из дупла. Заметив полосатого соседа, она сердито зацокала: «Пцыкх... пцык... пцыкх...»

А рядом, на цветущей поляне-черемичнице, не поняв причин шума, хрипло загавкал дикий козел.

И пошел суматошный переполох по всей Саянской тайге! «Цит-та-та!.. Цит-та-та!..» — паниковали вертлявые белки-трусихи. Они прыгали с ветки на ветку, исче-

зая в тумане. Только слышалось: «Цит-та-та... Цит-та-та...»

«Ти-и-вии... Тиви-иии...» — оповещали всех лесных жителей бурундуки-свистунки о том, что где-то случилась какая-то беда.

«Кра-а! Кра-а-аа!..» — во все горло закаркал вездесущий черный ворон.

«Стра-а-ах!.. Стр-ра-ах!» — подхватила болтливая ворониха, охраняющая свое гнездо.

«Та-ак! Так!» — словно заикаясь от страха, подтверждали важное сообщение кедровки-тарахтелки, пронырливые всезнайки.

«Где-е-е-е?..» — рявкнул медведь.

МОЯ АВСТРАЛИЯ

Летние тихие ночи в Туве черные-черные, а звезды такие большие, такие необыкновенно яркие, что порой начинает казаться, будто небо густо утыкано мигающими электрическими лампочками.

Мы с шофером Андреем ехали на старом, расхлябанном грузовике к восточному хребту Танну-Ола. Эта хмурая каменная стена, окаймленная у подножия дикими медвежьими дебрями, отделяет голубую Тувинскую котловину от желтых монгольских песков Борич-Дэл.

Во всю мощь горели фары. Сильный серебристый свет трепетными лучами струился в кромешной темноте, выхватывая из мрака то серые сухие колючки, то бурые, опаленные зноем пучки трав, то красные вершины расколотых трещиноватых скал. Машина судорожно култыхалась по мелким крутым холмам, ныряя и вздымаясь, точно лодка в штормовом море.

Неожиданно Андрей круто свернул в сторону, затормозил.

— Что случилось? — удивился я.— Опять с мотором что-нибудь?

— Да нет, все в порядке. Малыши ехать мешают... Ишь ты, глупенькие, кидаются на огонь, как ночные бабочки. Того гляди, под колеса угодят... Жалко все-таки.

Шофер снова включил фары. На белые снопы дрожащих электрических лучей начали ошалело бросаться из темноты какие-то потешные неведомые зверьки. Передние лапы у них были короткие-короткие, а задние —

длинные-предлинные. Они забавно, словно ручонки, прижимали к груди культяпки и шустро прыгали на корточках, будто приплясывали.

«Так это же кенгурята! Настоящие кенгурята! Как интересно!»— подумал я.

Кто в юности не мечтал о далекой таинственной Австралии? О диких собаках динго, о добрых сумчатых медведях коала, о пушистом птице-звере утконосе, о гигантском кенгуру?! Мы все с увлечением играли в Колумба и Робинзона, в краснокожих охотников-индейцев и смелых эскимосов — победителей белых медведей.

...И вот теперь не воображаемые, а всамделишные кенгурята весело скачут перед нами, и Андрей осторожно притормаживает машину, чтобы не раздавить их. А кругом — высокие вздыбленные колючки, припорошенные красной пылью, причудливые вершины красных скал, красные засохшие травы, красная-красная земля. И ни одного живого ручейка. И черное небо. И яркие звезды. И страшная тишина... Именно такой мне почему-то всегда грезилась Австралия.

Я боялся, как бы Андрей не заговорил, не назвал бы подлинное имя тувинских кенгурят, ведь тогда моя далекая таинственная Австралия, несбывшаяся мечта моей юности, погаснет сразу же, как фары нашего трясущегося грузовика.

Лишь несколько дней спустя я робко спросил у шофера, как правильно зовут тех ночных прыгунов-проказников.

— Обыкновенные тушканчики,— ответил он.— Неужели никогда не видели? Их тут, в ковыльных степях да в песках, тьма-тьмущая. Но поймать невозможно. Так быстро скачут — не угонишься. Есть и маленькие и довольно крупные, похожие на зайцев, такие же ушастые, только хвост длиннущий и тонкий, как веревка, с плоской пушистой кисточкой на конце. Забавные ребята!

Потом, когда мы нашли руду, очень нужную стране, начальник партии срочно приступил к разведке. Мы рыли большие канавы, напоминающие фронтовые траншеи, и глубокие шурфы-колодцы. Глупые тушканчики почему-то попадали в ямы. Одни разбивались о камни, другие, если вовремя не успевали спастись, погибали от голода. Мне попадались всякие зверьки: и земляные зайчики-попрыгунчики с кудлатой крутолобой головой, и востроносые лесные мышовки. Эти двуногие мышки-по-

скакушки — непревзойденные чемпионки в царстве грызунов: их тонкие, голые хвосты-стегалки раза в два, а то и в три длиннее туловища. Опасливо, боясь, как бы не укусили, я часто вытаскивал из горных выработок плененных «кенгурят». И ничего интересного, ничего необыкновенного в них не было, как в ту чудесную, таинственную ночь...

Вот смешно устроен человек. Всегда ему хочется чего-то особенного, удивительного, не похожего на привычную жизнь. Я и до сих пор мечтаю о кенгуру, о птицелире, о диких собаках динго. А кто-нибудь в Австралии наверняка грезит Сибирью — белыми оленями, белыми медведями, белыми полярными волками.

ПРО КОСОЛАПЫЧЕЙ И КОСОРУКОЧЕЙ

Находчивые лакомки

— Павел, а Павел! Расскажи что-нибудь про медведей,— пристал как-то Саша к нашему конюху-проводнику.

— Так что же тебе интересное поведать? И не припомню...

Немного поломавшись для пущей важности, Павел начал:

— Так ли, нет ли — сам кумекай и проверяй после,— однако, бахтинские медведи якобы очень обожают лакомиться коричневыми мурашами. Ну, теми, которых сельские знахари заманивают в бутылки, томят в печах, а потом рыбаков врачуют от ломоты суставов. Я лично еще ни одного муравейника, развороченного косолапычем, не встретил в тайге, хотя побродил вдоволь. И травы лекарственные собирал, и орехи кедровые колотил. А вот старик Варейкин, ох какой удачливый, дотошный промысловик, бился об заклад, уверяя, что медведи по части добывания мурашей дюже сообразительны. Ежели поблизости ручей протекает али застойная болотина средь кочек проглядывает, они якобы опускают лапы в воду. А уж потом суют в муравейник, чтоб, значит, мураши погуще прилипли. Ну и слизывают их, как мед с раздавленной колоды.

Всяк зверь, Саша, по-своему хитер да лукав, когда голод донимает. И крапиву стрекучую лизать будешь...

Игривый шатунок

Павел умолк. Саша терпеливо ждал, когда он станет продолжать, но долго не выдержал.

— Еще, пожалуйста, расскажи что-нибудь.

— Ну ладно, слушай, если ты охоч до лесных баек. Сам я свидетелем того случая не был, но очевидцу верю, потому что это не трепло какое-нибудь, а всеми уважаемый учитель нашего поселка. Ну так вот, собирал, значит, учитель грибы. Страсть как любил он это занятие. Вдруг к нему подбежал шустрый чернявый медвежонок и давай дергать за штаны. Учитель слыхивал от бывалых промысловиков, что нельзя прикасаться к отбившемуся шатунку и, боже упаси, гладить голыми потными руками. Иначе несдобровать от лютой мамаши. Тихими-тихими шажками, признался после грибник, пятился он к дому. А любопытный сорванец никак не отставал — уж больно нравилось ему забавляться с синими штанами. Из чащобы с пыхтеньем выбежала медведица, вздыбилась перед человеком. Он стоит себе спокойно, не оробев, корзиночку на локотке держит. Несколько раз, говорит, плюнула она в него, как верблюдица,— знать, по-своему отблагодарила за то, что не обидел детеныша, и, рявкнув на прощание, заковыляла с глаз долой. Проказливый несмышленыш, утверждал учитель, расстался с живой игрушкой нехотя — то и дело оглядывался, намереваясь вернуться, скулил, хныкал...

Откуда берутся такие!

— Да, все детишки на белом свете одинаково доверчивы, игривы,— продолжал Павел.— А вот взрослые — и звери и люди хитрят друг перед другом, обмануть норовят. Ну звери есть звери — с них, известно, спрос малый. А люди? Почему же некоторые из них порой хуже лютых зверей становятся? Обманывают, воруют и даже совершают уголовные преступления. Откуда появляются кровожадные охотники-браконьеры? Ведь никто в школе не учит детей, чтоб стрелять из рогатки птиц, разорять гнезда, кидать камнями в белок, привязывать к хвостам кошек погремушки из консервных банок. Откуда же берутся страшные, злые люди? Жил у нас в поселке Силин Косорукий — хитрый, вороватый мужичишка. Бедокурник, хапуга несусветный. Особенно изводил он медведей. Не знаю почему, может, за то, что был

глуховат. Ребятишки-ехидники дразнили его — мол, Топтыга тебе на ухо наступил, ну, а он, дурак, злился, из себя выходил... Где-нибудь в укромной чащобине Силин устраивал поперек натоптанных звериных троп завалы из лесин, средь которых клал тухлое мясо и вешал удавку из стального тросика. Повадки таежных зверей он знал похлеще любого прославленного следопыта. Однажды в петлю Косорукоча угодила медведица. Два кругленьких карапуза, видно проголодавшись, упрямо лезли к матери. Но она сердито отгоняла детишек лапами, боялась, как бы и они не попали в опасные путы. Силин раздробил медведице голову из двухстволки. А потом прикончил и малых сосунков, чтоб, значит, чучела сделать для продажи. С той поры я лютой ненавистью возненавидел косорукого живодёра.

Смех сквозь слезы...

— Вообще ловля медведей петлями — дикость несусветная,— продолжал Павел.— Плыл я как-то раз с енисейскими рыбаками на лодке. Слышим — жуткий бычиный рев. Смотрим, у высокого крутоярья стоит на дыбах Потапыч. В передних лапах сучковатый чурбан держит и раскачивает, раскачивает его. Вот размахнулся с силой, да как швырнет в реку, и покатился за ним кубарем в воду. Еле выбрался на сушу, волоча за собой все тот же чурбан. Тут мы увидели, что петля-удавка, прикрепленная к обрубку толстенного ствола, захлестнулась поперек медвежьего брюха. Остановился Потапыч передохнуть малость. И давай награждать этого неотвязного «преследователя» шлепками-тумаками, давай кусать, царапать. А сам скулит, ярится от обиды. Постоял, постоял он у кромки обрыва и вновь принялся раскачивать ненавистное бревно, стараясь закинуть подальше. Чтоб, значит, совсем утопить. Ну и, конечно, опять бултыхнулся в Енисей. Насмеялись мы до колик в животе, глядя, как Михайло пытается утопить горемычную беду свою в реке. Стыдно, очень стыдно было стрелять нам бесплатного циркового клоуна, а иного выхода не оставалось. Ну как спасти страдальца? Как снять удавку-злодейку? Никто из нас не осмелился взяться за это рискованное мероприятие. Не нашлось среди рыбаков сердобольного деда Мазая. И до ближайшего поселка, чтоб вызвать добровольцев, было дня два хода на лодке. А за это время зверь наверняка бы утонул, выбив-

шись из сил. Или, скорее всего, околел бы с голоду, запутавшись между деревьями.

Павел умолк. Всем стало как-то не по себе. Лишь в костре с веселым, рассыпчатым шорохом потрескивали пихтовые смолячки.

СИЛА МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА

Я шел по мрачной, исхлестанной ветром тайге с Найдой — старой бельмастой сибирской лайкой, которая помогала нам добывать глухарей и тетеревов. Собака вяло трусила за мной, согнув крутым крендельком пушистый черно-белый хвост. Казалось, ничто ее не волновало, не интересовало в этих поломанных, сухостойных дебрях, наводящих печаль и уныние. И вдруг она подняла напряженную морду и быстрыми стелющимися прыжками, точно полярная волчица, преследующая больного оленя, бросилась к пологому холму. На нем пламенели редкие высокие кедры, перепутанные с белоствольем зеленых берез. Вскоре оттуда раздался горячий, ожесточенный лай с отчаянным визгом и злобным рычанием. Он совершенно не походил на тот спокойный, веселый голос, каким обычно она звала стрелять пернатую таежную дичь.

«Может, росомаху загнала на дерево или рысь унюхала?» — мелькнула догадка, и я поспешно зарядил двустволку пулями. (Что там греха таить, мне тоже, как и всем путешественникам, хотелось привезти из Сибири завидный трофей — шкуру. Каленым железом я всегда выжигал из своего сердца это дьявольское искушение. Но страшный бес зверобоя нет-нет да и заставлял меня властно, с тупой азартной безотчетностью хвататься за оружие.)

Я побежал к напористому, напряженному зову нашей доброй, незаменимой помощницы.

Собака возмущенно вертелась вокруг сухоствольной лиственницы. К ее серой вершине прижимались три бурых белогрудых зверька, похожие на котят, — корноухие, с тупыми кудлатыми мордашками, с пухлыми усатыми щеками. Это были ребятки-соболятки, а с ними крупная «кошка»-соболиха. Среди редкостных, дорогих зверьков-дикарьков я заметил яркое рыженькое пятнышко. Вот это да! Невероятное чудо! В скопище фыркающих, взбудораженных хищников запряталась бело-

чка-огневка. Вероятно, собака загнала бедняжку к страшному, кровожадному выводку. Надо спасать ее! Иначе загрызут...

Я набрал полный накомарник коричневых кедровых шишек-кубышек и стал бросать в соболей. Лайка убежала прочь. Она не требовала с дерзкой настойчивостью, чтоб я непременно стрелял. Она как будто понимала, что белок геологи не едят.

Соболи, напуганные ударами шишек, перескочили на соседнюю елку, и белочка — туда же. Соболи перемахнули на березу — и серохвостая поскакушка за ними.

— Вот рыжая глупышка! Ну ладно, будь что будет! Не хочет спасаться — пусть пеняет на себя. Не буду же я ради сумасшедшей белки стрелять носителей драгоценных шкурок.

Спрятавшись за ствол кедра, я тревожно ждал неминуемой трагической развязки.

Но что такое? Вместо того чтобы нападать с оскаленными клыками, корноухие кудлатики затеяли с обреченной жертвой веселую игру: кусали, дергали ее за жидкие черные кисточки, что дыбились на ушах, ловили когтями за ершистый хвост. А белочка, ни капельки не боясь, тузила настырных сорванцов, как боксер, передними лапами-ручонками. Потом прижалась к соболихе и (о, диво дивное!) принялась сосать. Гибкая, крутогорбая хищница ласково терлась дутыми щеками, гуркала, словно мурлыкающая кошка.

Вот тебе и кровожадные разбойники! А говорят, что они, прожоры лютые, никому в тайге не дают спуску, дерут и сонных глухарей, и зазевавшихся белок, и бурундуков-юрков, как волки овец.

Что же случилось? Да кто узнает правду?

Ведь ни один ученый не объяснит толком, почему некоторые волчицы, леопардицы воспитывали порой грудных младенцев, которых подбирали или воровали у людей. Маугли не придуман. Несколько лет тому назад, например, волосатого человека-зверя отбили у стаи обезьян...

Так что же случилось в необычной судьбе лесного грызуна? Может быть, у соболихи подохло несколько детенышей. Ведь в годы изобилия эти хищники рождают пять-шесть «котят». Тоскуя по родным малышам, страдая от боли в набухших сосках, соболиха, возможно, специально принесла из беличьего гнезда рыженькую малютку. А может, она принесла ее живехонькой,

как игрушку, чтоб драчливые сорванцы забавлялись с ней в кошки-мышки, привыкали б к разбойничьему ремеслу с первых дней. Ну, а те почему-то не растерзали белочку. Кто знает? Кто объяснит, поймет все чудеса природы?

Но ясно одно: сила материнского молока могущественней хищной жажды крови. Сила жизни могущественней косы смерти. Все это верно. Верно-то верно. Но волки терзают овец, соболи питаются белками. А грохот военных столкновений так и не умолкает до сих пор на нашей родной красивой планете.

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК

— Белка наша! — радостно воскликнул геолог. — Сейчас накрою ее шапкой.

Черная, с серебристым отливом телеутка штопором взвилась на самую макушку лиственницы. Тоненькая верховинка гнулась под ее тяжестью. Белка испуганно смотрела вниз. Там толпились возбужденные мучители в белых накомарниках. Все утро они бегали за ней по ягельной поляне, на которой росли редкие, низкие лиственницы. Они оттеснили ее от тайги и загнали на дерево, одиноко стоящее у кромки обрывистого берега. Да еще позвали на помощь охотничью лайку — страшного зверя, от которого невозможно убежать по земле...

Где же спасение? Впереди — горная река: нагромождение валунов, пороги, водопады. Вокруг — злые люди и свирепая собака.

Волосатая рука с меховой шапкой тянется все выше и выше. Телеутка сжалась в пружинистый комочек. Волосатые пальцы с золотым перстнем нацеливаются схватить ее за шею! Телеутка взмахнула хвостом и прыгнула в темную, каменную пропасть обрыва...

Геолог молча поднял окровавленное пушистое тельце.

О чем он думал? Может, о том, что некому будет крутить беличье колесо в его городской квартире? А может, о свободе, которая дороже жизни?..

СЮРПРИЗ В ТИШИНЕ

Геологи очень шумливый народ. Увидят скалу, начнут колотить своим длинным молотком, только искры да

брызги летят фонтаном. Заметят валун и тоже принимаются обтесывать ему бока. Не пройдут ни мимо галек речных, ни мимо булыжников подгорных. Что поделаешь, такая уж у них работа: искать полезные ископаемые. А полезные ископаемые, известно, в камнях прячутся.

Ходят, бродят геологи по земле, топают сапогами, стучат, гремят молотками. Звери разбегаются от них в тридевятое царство, птицы разлетаются в тридесятые государства.

Раз лег я отдохнуть да и задремал незаметно. Слышу, камешек покатился. Сон у меня в тайге чуткий, как у северного оленя. Приоткрыл глаз, сам себе не верю: Прямо на меня трусит заяц. Сел рядом (хоть за уши бери), под куст смотрит, косоглазый. Тут откуда-то выскочили три зайчонка, такие хорошенькие, кудлатенькие... Ткнулись ему мордашками в брюхо и прильнули, точно прилипли.

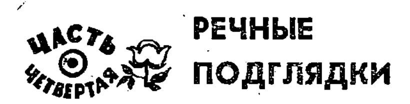
Да ведь это же зайчиха! Вот повезло! Уж голову мою посеребрила седина, а я до сих пор еще не видывал диких зайчих с зайчатами. Я почему-то считал, что они кормят детишек лежа, как мурки котят. А эта поднялась, будто суслик у норы, уши поджала, передние лапы свесила и, пока они сосали, терпеливо сидела не шевелясь. Потом грубо, как чужая, оттолкнула ребят, попрыгала по каменистому склону в тайгу. Только слышалось: скок-скок. Зайчатки-горюнки облизнулись, зевнули и гуськом, друг за дружкой, побежали к кусту. Там они закопались в листья, стали совсем незаметны.

Пусть летят ястребы, пусть кружатся орлы. Все равно не увидят серых зайчат среди серых листьев.

Помню, я тогда размечтался: вот бы геологам сапоги бесшумные да молотки негремучие! Сколько б звериных и птичьих тайн они разгадали б, скитаясь по диким краям! Но что поделаешь? Такая уж работа у геологов! Ведь они дарят земле-матушке не радость, не покой. Они дырявят ее буровыми скважинами, прорубают шахтовыми стволами, корежат ямами-карьерами.

Что поделаешь? Такая уж у меня профессия!

Разлетайтесь, птицы! Разбегайтесь, звери! Идут геологи...



РЕЧНЫЕ ПОДГЛЯДКИ

ОХОТНИК ЗА... ПЕТУХАМИ

Наша поисково-съемочная партия перекочевывала на грузовике к предгорьям хребта Танну-Ола, мрачной, каменной гряде, которая, как черная отвесная стена, вздыбилась над пестрыми холмами, заслоняя небо. Когда мы переезжали через совхоз, где жили оседлые тувинцы-земледельцы и непокорные русские переселенцы, сбе-

жавшие сюда от преследования царских жандармов, шофер Андрей вдруг неожиданно затормозил, да так резко, что многие в кузове ударились лбами о ящики. Он выскочил из кабины и сломя голову бросился бежать по улице за... петухом. Он мчался вприпрыжку с такой прытью, как будто спасался от медведя. Бедная птица, не выдержав стремительного натиска, истошно на весь поселок орала, не зная, куда спрятаться. Такая получилась суматоха, что и рассказать-то невозможно: истерично загавкали собаки, ошалело закудахтали куры, замычали, как во время пожара, испуганные телята, завизжали в хлеву свиньи.

Из покосившейся бревенчатой хаты выскочила растрепанная, заспанная старушка и, сломив хворостину, погналась за шофером.

— Караул! Караул! Помогите! — вопила она. — Ах, ирод! Ах, ворюга несчастный! Батюшки праведные! Да он моего кочета украсть надумал!

Толстый тяжелый петух, раскрыв клюв, с трудом перелетел через плетень и, раскинув крылья, обессиленный, охрипший, беспомощно распластался в густой картофельной ботве. Андрей легко перепрыгнул через острокольчатую изгородь, схватил беглеца под мышку и, гордо подняв двумя руками птицу, весело спросил:

— Бабуся, это чей красавец?

— Я тебе покажу чей, бандит бессовестный! Средь бела дня решил старушку ограбить.

Андрей что-то шепнул бабке на ухо, и она вдруг затряслась от смеха, замахала платком, причитая: «Ой, господи, царица матушка космоногая! Уморил, совсем уморил, рикошенный! Пойдем в избу, родименький, у меня полное лукошко всяких перьев.

— Нет, бабуся, живую рыбу ловят только на живое перо. Вот тебе деньги, позволь мне выдрать несколько радуг из хвоста этой великолепной птицы.

— Да что ты, милый! Зачем старую обижаешь? Дергай бесплатно, сколько хочешь. Только не очень жадничай. А то ему перед курами стыдно будет! — И она снова затряслась от хохота. Смекнув, в чем дело, безудержно заржали и все «воинственные» мужики.

Андрей радостно обнял красно-бордовую, пышногребенчатую птицу. Петух и в самом деле был очень нарядный: синевато-сизый, как голубь, с бронзовым крапом на груди, с белыми и огненно-рыжими крыльями, а хвост изгибался сверкающей многоцветной радугой.

...Наутро шофер уселся возле палатки и начал колдовать над пестрыми перьями. Я издали наблюдал за его необыкновенным, увлекательным занятием. Каких только расчудесных насекомых он не намастерил! Но больше всего наделал бабочек: желтеньких, рыжих, пунцовых, белых, синих, рябеньких. Он искусно прикреплял петушиные перышки к крючкам-заглотышам то разноцветными шелковинками, то обычными швейными нитками, то конским волосом, то блестящей тонюсенькой проволокой.

Вонзив коллекцию красивых мушек в бурую пробковую дощечку, бережно запрятав ее в полевую сумку, Андрей перекинул на плечо длинное-длинное бамбуковое удилище.

— Возьмите меня, пожалуйста, с собой. Мне еще ни разу, ни разу в жизни не довелось видеть, как ловят рыбу на мушку,— робко попросил я.

— Нет! Нет! Отстаньте! — сердито буркнул шофер.— Не люблю ходить к реке шумным кагалом. Особенно за хариусами. Это вам не пескари-дурошлепы и не окуни-черноглотатели. К ним надо подкрадываться куда осторожней, чем к токующему глухарю.

— Честное слово даю, буду вести себя очень тихо. Не помешаю. Я только посмотрю и уйду.

— Рыбалка удочкой, молодой человек, не танцы в клубе и не цирк балаганный. Это святая страсть, душевная слитность, благородное единение с природой!

«Какой неприятный, чопорный тип»,— подумал я.

Андрей повесил на грудь объемистую сумку, сшитую из мешковины, посмотрел на меня с лукавой ухмылкой и дружески потрепал по голове.

— Ну, ладно, собирайся! По глазам вижу, не из простого любопытства напрашиваешься.

Когда мы шагали к речке, Андрей, который со всеми полевиками разговаривал подковыристо, с ехидными насмешками, явно гордясь тем, какую важную, незаменимую роль играет он, первоклассный шофер, в геологической партии, вдруг начал объяснять мне совершенно иным, простым, душевным тоном:

— Хариуса надо ловить умеючи, без торопливой горячности. Уж больно рыба эта сторожкая, страсть пугливая да привередливая. Если идти вверх по течению, то вернешься с пустыми руками. Услышит треск валежника, шорох веток, стук гальки, как стрела мелькнет куда-нибудь в подмывину-ухоронку. А коль человека

увидит, то хоть кидай пук перьев из золотого петуха — ни за что не возьмет. Зрение у этих проныр — дай боже, похлеще орлиного. У меня тактика особая, испытанная. Я всегда перехожу, вернéй, крадусь от омутка к омутку только вниз по течению, чтоб мушка опережала мою тень. Понял? Вот и ты запомни первую заповедь, мне еще дед об этом говаривал: не суйся раньше удочки к воде. Хариус не то, что сиг, любит и на мели, у самого бережка, пожировать. Ну, поехали за счастьем! Ни плавничка, ни чешуи — тьфу, тьфу, тьфу.— И, трижды плюнув, Андрей проворно нырнул в густые заросли, минуя колючие кусты облепихи.

Чистая, прозрачная горная речка торопливо журчала по камням — жаловалась на свою беспокойную судьбу. Андрей сгорбился и медленно, точно выслеживая зверя, бесшумно ступая, начал подкрадываться к воде. Я тоже старался не дышать.

— Тише! Тише! — шептал он. — Слышишь, плещется!

Средь раскатистого булькающего гула то и дело раздавались резкие причмокивания.

Шофер спрятался за душистый куст, увешанный рубиновыми кистями смородины-кислицы, привязал к леске сизую мушку и, стараясь не задеть за ветви тополей, ловким, плавным взмахом удилища пустил обманку по течению.

Над водой игриво пролетела рыжая лохматая бабочка, похожая на порхающую моль. «Бульк» — и легкомысленная резвушка исчезла, только видно было, как солнечными зеркальцами блеснули чешуйки рыбы. Но пленительно сияющую «мушку» никто не тронул. Андрей привязал рыженькое «насекомое» — точно такого же цвета и формы, как погибшая бабочка-моль. Едва новая обманка шлепнулась на струю, за ней сразу же высигнули два подводных охотника, один из которых затрепыхался в руках Андрея.

— Беляшок-серебрунчик,— улыбнулся он, снимая с крючка небольшого светленького хариуса, напоминающего плотвицу.— Ну, плыви, голубчик-прыгунчик! Твое счастье, что попался первым! — И шофер осторожно пустил рыбу в речку.

«А ведь он с чудинкой»,— подумал я.

Затем Андрей поймал еще трех серебристых вертунков с углистыми пятнышками по бокам. Он назвал их веструшками-шахматушками.

— Хватит,— сказал он.— Пойдем дальше! Тут держится мелочь пузатая — одни беляши да пеструшки. Пускай подрастут! — И добавил с плутоватой ухмылкой: — Понял теперь, почему я, как для выставки, наделал разных мушек? То-то, мотай на ус, да все запоминай. Хариус страшно капризная рыба — то полосатых шмелей подавай, то синих бабочек. Вот и приходится носить с собой коллекцию всяких придуманных насекомых, да еще поглядывать вокруг, какие мушки летают. Это очень, очень важно. Бывает, что речка вся усыпана мертвыми розовыми поденками, а хариусы берутся только на черных крылатых муравьев. Поди разгадай почему.

Я хотел задать несколько рыбацких вопросов, но шофер грозно цыкнул: «Не мешай!»» — и я решил, что лучше буду слушать да помалкивать, а то, кто знает, характер у него крутехонький, заносчивый, возьмет да прогонит...

По-прежнему стараясь не шуметь, мы подошли к тихому, застойному омутку с темным, илистым дном. Вода текла в глубокий омуток светлой бурунистой струйкой, словно чистой льняной веревочкой вилась посередине неподвижной густо-серой глади.

— Тут черныши-поцеловщики должны стоять,— сделал вывод Андрей.

Мушка, искусно подпрыгивая и шевеля крылышками, пересекла сияющую на солнце бурунистую веревочку. Чмок-чмок — раздалось над речкой. Вокруг бабочки-обманки кольцами расплылись волны-рябинки. «Чмок-чмок»— целовала плывущую мушку невидимая рыба. И вдруг тихий омуток всколыхнулся, заплескался.

— Ну и вертится, шельмец! — восторженно воскликнул Андрей.— Того гляди, удилище сломает!

Хариус действительно оказался черным-черным, с сизым отливом, как будто прокоптился на смоляном костре из бересты. Рыболов вытянул подряд штуки три «поцеловщиков» и вдруг сердито набросился на меня:

— Ты что прилип к земле, как истукан? Почему не просишь удочку?

Я посмотрел на него с удивлением. Попробуй пойми чудака, правду ль он говорит или ехидничает, шутит.

— Давайте, коли не жалко.

Андрей охотно протянул свой жиденький, раскладной бамбуковый хлыст, которым он очень дорожил, хра-

ня в специальном жестяном футляре, прибитом к борту автомашины.

Я слышал характерное, отрывистое причмокивание, ясно видел круглые булькающие бурунчики, но никакого живого толчка, никакой поклевки не ощущал. Казалось, мушка без движений колыхалась на бегущей веревочной струйке, на самом же деле ее с быстротой молнии хватали толстые плескучие черныши и еще быстрее выплевывали, как только чувствовали мягкими нежными губами, что насекомое не настоящее — обманное.

— Не кипятись! Будь внимателен, как за рулем! Высунет хариус голову из воды, тогда и подсекай,— советовал Андрей, поучая терпеливо, как надо правильно делать заброс, как играть мушкой, чтоб привлечь, соблазнить рыбу.

Теоретически я все прекрасно понимал. Однако руки, привыкшие к грубому геологическому молотку, не успевали своевременно отвечать на резкие, едва уловимые «поцелуи» живых подводных «молний». Одного глупого, нерасторопного черныша я все-таки случайно зацепил крючком, а может, он повис и сам. Но действовал слишком поспешно, самоуверенно, как бывало, в детстве лавливал синявок. И первая желанная добыча уплыла, к горькому моему стыду, вместе с поводком.

— Не переживай! Не отчаивайся! Я тоже через эти муки прошел. Только давненько, когда еще голопузым бегал,— дружески утешал меня Андрей.— Вот походишь годика два по горным таежным речкам и на мушку ловить приспособишься. Это тебе не ерш, который сам на крючок лезет. Тут, молодой человек, тонкое, безотказное чутье требуется, навыки нужны, солидный опыт! Пойдем лучше вон к тому веселому обрыву. Посмотрим, какие красули ждут нас.

Обрыв, сложенный пластами железистых песчаников, был густо-лиловый, словно вечерний закат. Андрей поймал под ним двух огромных лиловых горбачей.

Так мы бесшумно крались от переката к перекату, от омута к омуту. Моего спутника интересовало не количество пойманной рыбы, а хариусы с разноцветной кольчугой, с красивым оперением плавников. По тону берега, дна и воды он безошибочно угадывал окраску невидимых жильцов. И только у грота, который был вымыт среди желтой и белесой породы, к своему удивлению, ошибся.

Мы заглянули сквозь трещину в глубину таинственной пещеры и долго не могли оторвать взгляда от чудесной картины. На дне глубокой ямы, озаренной тусклыми желтыми лучами солнца, лежали большие золотистые рыбины. Они как будто спали, только широкие прозрачные плавники на спине волнисто колыхались, переливаясь красными узорчатыми пятнами. Сверху казалось, будто хариусы накинули на себя расписные нейлоновые шлейфы.

— Золотяки-самородники,— восхищенно промолвил Андрей.

Он поймал кузнечика и бросил под вымытый грот. Рыбины молниеносно, однако без всплесков, косо нацеленными головами взметнулись к поверхности, одна из них схватила приманку, и все снова улеглись на прежние места, накрывшись шелковистыми цветными шлейфами.

Андрей пустил мушку, похожую на кузнечика, и быстро, я даже глазом не успел моргнуть, сделал подсечку. Хариус на крючке поднял такую возню, оглушительно наяривая хвостом и ныряя, что все его мирно отдыхающие соседи куда-то исчезли.

Горбач шириною с ладонь оказался не золотякомсамородником, а настоящим изумрудником, весь малахитово-зеленый, только брюхо желтоватое да хвост малиновый.

Напуганные хариусы, вероятно, спрятались в глубокие убежища или под камни, потому не брались больше ни на какие обманки. Даже брошенные кузнечики, соблазнительно дрыгающие ножками, не вызывали ни одного чмокающего плеска.

— Ну, хватит! Отвел душу! Пора в лагерь!— улыбнулся Андрей и горделиво разложил в ряд на травянистой лужайке свои трофеи.

Я любовался добычей и думал: пожалуй, в наших среднеевропейских реках нет более красивой рыбы, чем тувинский хариус. Один веер спинного плавника чего стоит! Посмотришь на него сверху — он весь в зеленых фосфорических пятнах, посмотришь через него на солнце, как сквозь стекло,— пятна эти вовсе не зеленые, а коричневые, багровые, бурые. А сколько мягких оттенков, сколько затейливых тонких узоров! Каждый тувинский хариус — в своем собственном, неповторимом наряде. И только вокруг черных линзовых зрачков у всех одинаковые золотисто-оранжевые ободки.

Да, ради таких красавцев любой городской рыболов с удовольствием побегал бы за петухами!

СЧАСТЬЕ СПИННИНГИСТА

Наконец наступило желанное утро, и я, сгорая от воображаемой борьбы с крупной рыбой, помчался к тынепскому перекату. Он неумолчно гудел, гремел и скрежетал галькой, оглушая разноголосым грохотом. Через громадные бурые валуны, брызгаясь и вскипая, гнулись, перехлестывались, падали отвесно ярые струи. И неширок ведь, едва ли метров семьдесят будет, а такой неистовый!

Лихорадочно прицепил к карабинчику никелированную блесну. Первый бросок в неведомые воды — волнующий миг в жизни спиннингистов. В нем столько надежд, тревог, ожиданий!

Обманка упала в гривистую стрежь, играючи заскользила по волнам, утонула в круговой тишине. И сразу же почувствовался резкий рывок. Я успел лишь заметить, как из глубокой ложбины мелькнула какая-то длинная тень, схватила железку и остановилась. Энергично подсек, потянул жилку к себе. Рыбина сдавила «добычу», не хочет идти, упирается. Потом испуганно отскочила в сторону, затаилась. Поняв, что попалась несъедобная «живность», стала выталкивать, выплевывать блесну из пасти. Но крючки вонзились крепко, надежно. Она опять шарахнулась в быстрину и, ошалело мотая головой, засигала крутыми свечами.

К моему удивлению, это оказалась обыкновенная щука. И где поймана? В невероятнейшей бурливой стремнине!

Я положил трофей на цветущие купальницы, стал рассматривать. Щука была зеленая-презеленая в длинно-узких желтых и беловатых пятнах. Пятна-пестрины прерывистыми цепочками тянулись вдоль тела. Нижняя, круглая, как галоша, мясистая губа презрительно оттопырена вверх, прикрываясь острым клином бугорчато-ноздреватой челюсти.

Я ласково потрепал хищницу по толстой черной спине. Но та не оценила изысканной вежливости. Слабо рванулась, разинула пасть, скользнула по пальцу щеткой острых, точно иголки, мелких зубов. Боль была нестерпимо жгучей, щиплючей. Кровь из мелких цара-

пин не унималась до тех пор, пока я не приложил бархатистую кожицу прошлогоднего гриба-дождевика, который отыскал на гнилой буревальной лесине.

Сделал еще несколько пробных забросов, но безрезультатно. Поднялся выше по течению к грядистому скопищу отполированных лобастых глыб. Прозрачно-бурая, как чайный настой, вода неудержимо бурунилась и кружилась вихрастыми конусами, взбивая за камнями косматые шапки желтых пузырей.

Кинул под скопище валунов иную, теперь уже колеблющуюся блесну. Она мгновенно скрылась, однако, выброшенная напористым потоком, лихорадочно завихлялась вдоль стреженистой середины переката. Из-под гривистой пены сиганула тупорылая огненная рыбина, шлепнулась с громовым ударом вслед за «обманкой» — не рассчитала, промазала. Рядом взвился еще меднобронзовый красавец. По жилке, как по электрическому проводу, передался живой толчок. И заметалось, забуянилось в стремнине.

Кто это? Ленок? Голец? Или он, владыка сибирских рек, таймень-батюшка?!

Руки сами, не подчиняясь рассудку и многолетнему опыту, что большую рыбу надо выводить осторожно, закрутили катушкой изо всех сил. Перепрыгивая через круглые каменные ядра, неведомый подводный обитатель ринулся вниз по течению. Вертушка соскочила с тормоза, обожгла палец. Но я упрямо, не обращая внимания на ужасную боль, тянул и тянул к себе заарканенную добычу. Вблизи берега все же успел разглядеть ее: это был таймень. Испугавшись человека, он так рванулся, что капроновая леска миллиметровой толщины (!) лопнула, будто паутинка. И невелик попался буян-лосось, с метр пожалуй, а такая силища!

Сделал новый заброс. Едва блесна коснулась пенистой быстрины, ее сразу же заглотал таймень. Затарахтела истеричной сорокой катушка. Загудела, брызгаясь, леска. Закряхтело, сгибаясь дугой, бамбуковое удилище. Хищник прыгал свечами, кувыркался, шарахался в сторону, но спастись ему не удалось.

Следующий раз я намеревался кинуть «обманку» к тому берегу.

Всегда почему-то кажется, что чем дальше бросишь, тем крупнее возьмется рыба. Но тут на перекат упали солнечные лучи, и я забыл про спиннинг: все засветилось ярким оранжевым сиянием, только пена стала ро-

зовой. Сел на траву, любуясь игривой пляской света и теней. И вдруг увидел, как почти вплотную ко мне подплыл тайменище, улегся себе спокойно на чистый песочек, шевеля плавниками. Тихо повел перед ним надраенный медный «норич». Хищник хлопнул пастью. В тот же миг я выволок оторопевшего от неожиданности простофилю на зеленую луговину. Что он делал! Как извивался!

Признаться по совести, я люблю сражаться с подводными великанами честно, только один на один, только со спиннингом в руках. Презираю всякие подсобные

занозистые багры-пропарыватели, сверхпрочные сачки-поддеватели и тем более — убийственную пальбу из ружей и карабинов. Какая это чудесная, незабываемая борьба, особенно на утренних или вечерних зорях, когда вода загорается фиолетовыми и багряными огнями!

Вот и сейчас я стою на раздольной пойме. Она вся в полыхающих жарках, усеянных тонкой бисерной росписью росы. Передо мной искрится гремучий перекат, сыплет радужными брызгами, клубится лилово-белым паром. А вокруг в голубой и алой дымке тихо дремлет тайга.

Опять бросаю блесну, на сей раз — вертящийся «байкальчик». Чувствую мягкий робкий толчок, сделал энергичную подсечку. Жилку натянуло течением. Таймень еще не разобрал, что попался. Словно проверяя, кто же посмел дергать его, властелина ревущих рек, за губу, он лениво разворачивается и опускается на дно. А жилка, наматываясь на катушку, назойливо тянет и тянет самоуверенного лежебоку к прибрежной мели.

Подводный царь — владыка Сибири возмутился до бешенства. Он яростно хлещет могучим упругим хвостом по камням — крючки еще глубже вонзаются в челюсть. Он остервенело трясет широколобой башкой, пытаясь выбросить блесну через жабры, с лязгом давит ее мощными крючковатыми клыками. Но нет, не отстает железная рыба!

И рассвирепевший хищник летит свечою в небо. Летит, словно космическая ракета, взметая снопы искристых брызг, весь дымчато-серый, с белым брюхом, с ярким малиновым хвостом. Сумерки окрасили его тело, ночь раскидала темные пятна, луна посеребрила брюхо, заря опалила хвост. Летит свечою таймень, великан сибирских рек. Из оскаленной пасти торчит блесна, жабры набухли кровью, гневно растаращены, как сухие колючки татарника. Но крепок стальной тройник, надежна капроновая леска, упруг шестигранный бамбуковый спиннинг.

Несколько раз я подводил его, казалось, совсем обессиленного, к берегу. Завидев человека, он снова оживал, шарахался в быстрину. Наконец всплыл кверху пузом. Засунув руки под жабры, волоком вытаскиваю тяжеленную тушу. Кладу на траву и долго любуюсь. Силен, красив подводный бродяга, ничего не скажешь! А полежит немного, вздрогнет два-три раза — и нет

упругой силы. Коснутся лучи солнца — и нет былой красоты: растают дымчатые сумерки, потускнеет лунное серебро, поблекнет на хвосте таежная заря. Синевато-белой, мертвенной бледностью покроется все тело.

Таймени кидались за «байкальчиком» наперегонки, по нескольку штук сразу. Можно было бы наверняка добыть десятки крупных рыбин. Их яркие огненные плавники то и дело высовывались из мутной, туманистой пены дразнящими острыми флажками.

Но я не стал жадничать, поймал всего четырех. Всем геологам хватит: и на уху, и на заливное, и на вяленые балыки.

ВЕСЕЛЫЕ РЫБЯТА

Иду по крутому берегу Бахты. Вижу: кипит от всплесков крупчато-песчаная отмель-заводинка. Пригляделся внимательней и ахнул: тысячи, десятки тысяч мальков-одногодков кружились, сновали взад-вперед, плясали, как развеселые комарики-толкунчики. Словно подчиняясь таинственной, безмолвной команде, они то пугливо отскакивали за галечниковые гряды, то тесным, переливчатым косяком, который вспыхивал, мерцал серебристыми искорками, прижимались к обрывистой кромке суши.

Какие только рыбешки сюда не собрались, подымаясь из зимовальных глубоких ям в верховье промерзающей реки! И зелененькие гольяны-синявки с белыми рожками на лбу; и сизые усатые пескарики-широкоспинники; и пузатые желтые ершики с колючими иголками; и зеркальные вертунчики-сижки; и окушки — полосатые зебрята; и подводные снайперы-хариусенки, и длинные, узкие, как вьюны, щурятки.

Упадет в воду крохотная мушка, и все рыбятки-ребятки шумной, взбудораженной гурьбой кидаются за добычей. Тут уж не зевай жабрами: кто скор да смел, тот двух съел; а кто робок да ленив,— тому и сухих ног от тощего комара не достанется!

Резвятся, толкаются меж камнями быстрые, шустрые мальки. Хорошо им! Вольготно! Радостно! Одна дружная, сплоченная стая! Одна мирная, беззаботная семья! И вовсе не задумываются они над тем, что щуки пожирают окуней, окуни — хариусов, хариусы — синявок. А пестренькие, крапчатые ленивцы, что всегда поспевали на драчливый пир мальков к шапочному разбо-

ру, вырастут в грозных тайменей и будут грабастать кривыми граблями клыков всех друзей своего веселого, игривого детства.

Большая зубатая рыба всегда глотает маленькую.

КИПЕНИЕ ДУШИ РЫБАЦКОЙ

Среди бурливого порога я поймал четырех «боровков» —ровно столько, сколько заказал для обеда наш несравненный шеф-повар Кубышкин. Да еще вдобавок, сверх плана, несколько черноспинных щук, которых подобру-поздорову отпустил гулять на волю. Но одну, необыкновенно уродливую, напоминающую тощую верблюдицу, оставил показать ребятам, как забавную диковину.

Почему ж она такая странная, совершенно непохожая на своих сверстниц? Несомненно, этой кочевнице, разукрашенной белесыми и желтоватыми овалами, угодил на хребтину где-то под водопадом здоровенный камень — и вот она превратилась в горбатое чудовище. Однако пасть у нее осталась по-прежнему грозной — на верхней челюсти три щетки загнутых назад игольчатых зубов в пять рядов по бокам и в шесть посередине; на нижней и на окраинах скул, и на языке, и даже на жабрах тоже острые конусовидные зубы. Беловатое брюхо испещрено светло-оранжевыми пятнами. Прозрачные дымчатые плавники — в зеленых, желтых и красноватых полосах. Вдоль плоского искалеченного тела прерывистыми пунктирными насечками тянулась «срединная линия». Ввалившиеся глаза косились на меня из-под нависшего костяного надлобья с лютой злобой.

Пестрокрапчатый куличонок прыгал по гладким валунам и тонко, жалостливо всхлипывал: «Тили-ти-ти... Тили-ти... ти...», как будто уговаривал: «От-пус-ти-те... от-пус-ти-те...»

Щуки! Щуки! Мы привыкли к тому, что эти хищницы любят лишь сонные тростниковые озера, травянистые заболоченные разливы, глубокие илистые пруды с ленивыми карасями да тихие, заросшие осокой реки. Но бурливый тынепский перекат задал мне неразрешимые загадки.

Что привлекло сюда, в эту гибельную горную стремнину, что заставило подыматься через водопады и пороги

щук, безразличных, по мнению ученых-ихтиологов, к далеким опасным путешествиям? Быть может, вспыхивающая искристыми звездочками полоса мальков, которые упрямо лезли и лезли куда-то вверх по течению из теплых уютных глубин? Или еще какие-нибудь другие, неведомые причины?

Сколько же в природе еще тайн? Да и беспокойные сибирские кочевники-таймени изучены пока еще очень, очень плохо.

Но я отклонился в сторону от рыбалки. Пора и дело продолжать — ведь еще осталось добыть для обеда деликатесных хариусов.

В струистых тишинках переката, в прозрачных чайно-бурых заводинках, прижимаемых к изогнутым подмывинам берега, хорошо было видно, как мелькали эти сторожкие, пугливые горбачи с волнистыми, широкими, словно одеяла, шлейфами-цветками на спине. Они были чем-то взбудоражены, взволнованы. Если жарким летом, когда воздух гудит от насекомых, они обычно неподвижно лежат на дне, терпеливо карауля зазевавшегося слепня-утопленника или неосторожную легкомысленную бабочку, пролетевшую слишком низко над рекой, то сейчас суетливо копошились в илистом песке, яро раскидывали головами гальки в холмистых грядах, что-то кропотливо выискивали в черноземных и травянистых глыбах затонувшего дерна.

К тому времени я уже хорошо знал, что ранней весной, когда бурное веселое половодье, размывая и слизывая берега, уносит с почвой всевозможных жучков, червей, личинок, их ловят обычной поплавочной удочкой или, лучше всего, тувинской донкой — «перекати-реку».

Я срубил кинжалом тонкую длинную лиственницу, обтесал корявые сучья, чтоб не мешали, привязал к гибкой верховинке тонкую, прочную леску с пулей от мелкокалиберной винтовки вблизи крючка. Хариусы не выносят яркой желтизны бамбука, разукрашенного для прочности широкими ободками из разноцветных шелковых ниток. Неестественная белизна обструганного удилища тоже настораживает их и пугает.

Бросил насадку в самую быстрину, неудержимое течение подхватило кругловатую пулю, как степной буйнистый ветер — перекати-поле. Молниеносный резкий рывок, мгновенная, незапоздалая подсечка — и крупный лилово-фиолетовый горбач затрепыхался в траве. За какой-нибудь час я спокойно натаскал на красных вью-

нистых червей почти полный рюкзак отменных мускулистых рыбин, пахнущих свежими парниковыми огурчиками. Многие из них были почему-то уродливо пузатые. Я полоснул одного вдоль брюха ножом и увидел, что желудок до отказа набит липкой, рыхловатой массой, похожей на сильно разваренную просяную кашу. Она состояла из разбухших, помутневших желтовато-оранжевых икринок тайменей. Значит, лососи забрались сюда, на тынепский перекат, чтоб нереститься. А за ними неотступно следовали хариусы с разбойничье-воровской целью — отомстить своим лютым, извечным врагам.

Как в природе устроено все сложно и мудро! С каким удивительным, разумным равновесием сложились в течение тысячелетий тонкие, порой еще не разгаданные, замысловатые взаимоотношения между живыми существами! Если б таймени выращивали свое потомство в безопасных местах, они бы, возможно, давно уничтожили всех речных рыб Сибири, а потом, мучимые голодом, погибли бы и сами.

Вспомнив о том, что в желудках некоторых тайменей я обнаружил сигов, мне захотелось порадовать своих товарищей еще и этой нежнейшей, тающей во рту рыбой. Но где, где ловили ее таймени? Быть может, в разливистых низовьях Бахты? Или в далеких глубинах Енисея? Ведь шумных, беспокойных стремнин сиги, как известно, не выносят. Им подавай тихие озерные раздолья да широкие песчано-илистые плесы, чтоб не поцарапать чешуйки-серебринки, чтобы нагулять янтарного жирку.

А нет ли поблизости подходящих мест, облюбованных этой компанейской, дружной рыбой-стадницей?

Там, где своенравный, капризный Тынеп вклинивается в Бахту, плавными карусельными круговинами расплывается мрачная, темная яма-улова. Чем не заманчивая обитель для спокойненькой жизни подводных мещанок?! А что, если попробовать?! Но как? Английский спиннинг не годится, тувинское «перекати-реку» — тоже. Сети ставить я не люблю — уж больно от них веет бездушным, загребистым промысловизмом. Остаются только одни полярные закидушки-береговушки, придуманные игарскими хитрецами.

«У каждой пташки — свои замашки, у каждой рыбы — свои загибы». Спора нет, незабываемы схватки с тайменями-тяжелоатлетами! Увлекательны сражения-поединки и с крупными щуками-зубатками! Заманчива,

разнообразна, как многоцветная палитра художника, охота на сторожких, пугливых хариусов-привередников! А плотва — красноглазая перестраховщица? А лещи — капризные тихони-нелюдимки? А жерехи — ухающие хулиганы-приповерхностники, глушители мелюзги? А голавли — премудрые остроглядыд? Да разве мало всякой рыбы!

Подобно тому, как некоторые искатели «лесного счастья» не любят собирать одни и те же грибы (будь то хоть прославленные боровики), а всегда наполняют свои корзины-плетенки пестрыми душистыми букетами (золотыми лисичками, изумрудистыми зеленушками, оранжевыми подосиновиками, беломраморными груздями, сыроежками-самоцветницами, волнушками-кольчушками, гвардейцами-подберезовиками),— так и я всегда стремлюсь, чтоб мой рыболовный ягдташ был наполнен пестрой добычей.

Срубил поспешно в белой густой теснинке несколько гибких березок, привязал к верховине каждой по шелковому плетеному шнуру с гайкой на конце и четырьмя жилковыми поводками, расположенными через метровые интервалы, насадил все тех же подкедровых червей — и, воткнув импровизированные удилища в прибрежный песок, с раскрутом, как бросают волосяные лассо при ловле бегущих зверей, метнул игарские мини-переметы в самую глубину. Не успели расплыться, разгладиться кольцевые волны от упавших грузил, как вдруг по желто-бурому зеркалу воды закружились, ослепительно сияя в солнечном свете, быстрые-быстрые диски-волчки. Еще не зная, кто же так вертляво плещется, торопливо вытащил всколыхнувшиеся закидушки на покатый мыс. Это были, да, да, это были узкие длинные клинки-сиги, густо обсыпанные серебряными монетками-чешуйками. Только сероватые, туго налитые спины да сине-дымчатые плавники — один, вблизи хвоста, толстый, мягкий, так называемый жировой (без лучей и перепонок) — нарушали их яркую белизну.

Пока я любовался подводными бахтинскими балеринами, ко мне подошли добровольные помощники-носильщики — Сашка, Володя и Николай Панкратович. Не спросив разрешения, не поинтересовавшись, как правильно кидают, Сашка азартно, из всей молодецкой силушки, махнул спиннингом. Блесна просвистела аж над тем берегом, но, не успев упасть, стремительно повернула назад, шлепнувшись за нашими спинами. На

катушке получилась такая раскудрявая бородища, что мне, мысленно чертыхавшемуся, пришлось не менее получаса распутывать коварные узлы, замысловатые петли, перекрученные кольца.

— Никогда не проявляй недозволенных прикосновений к чужой собственности,— грозно цыкал на смутившегося виновника Николай Панкратович.— Это тебе не ложка-вертиножка, которой ты с малолетства привык орудовать, а спортивный инвентарь.

Помощники продели через жабры горбатой щуки и тайменей толстую еловую жердину, взвалили «коромысло» на плечи и, пошатываясь от ноши, медленно побрели к базе.

Представляю, сколько б любопытных зевак столпилось на тротуарах, если б они прошествовали с моим утренним уловом вдоль Невского проспекта!

ПРАЗДНИК НА БАХТЕ

Какой необыкновенный выдался вечер: тихий-тихий и в то же время шумный-шумный! Воздух чистый, прозрачный, наполненный тонким благоуханием цветущей зелени. Деревья не шелохнутся, не вздрогнут, будто заколдованы, стоят в дремотном оцепенении.

А речка Бахта вся — от зеркальных плесов до прибрежных бухточек-заводинок — кипит и булькает, вздуваясь радужными пузырями.

Всюду, куда ни взглянешь,— рыбьи носы, носы, носы... Белые, серые, черные, острые, тупые... Казалось, все речные чешуйчатые жители вылезли из холодных, сумрачных глубин, чтобы глотнуть горячего, смолистого аромата разопревшей на солнце лиственничной хвои.

На рыбьи носы желтовато-кремовыми лепестками падали вялые бабочки-поденки. У них продолговатые, точно склеенные из отдельных долек, бурые тельца с двумя коричневыми волосяными хвостиками. Изгибаясь, корчась, словно от невыносимых мучений, они вздрагивали и сразу же затихали.

Неведомо, сколько времени провели на дне реки пучеглазые ползающие козявки, спасаясь от бесчисленных врагов в мягкой илистой тине, под навесами слизистых плитняков, под боками каменных голышей. И вот, когда у них отросли крылья, все разом поднялись в воздух, чтобы исполнить радостную, брачную пляску в честь

цветущей весны. Только взлетели они на белый свет и, едва успев отложить яички-икринки, уже умерли, словно их опалило буйное цветенье оранжевых жарков.

...Стонала, будоражилась Бахта. С причмокиванием выпрыгивали озорные фиолетовые харнусы-проказники. Волчками кружились пестрокрапчатые ленки-балерины. Серебром вспыхивали сторожкие, «себе на уме», чиры-толстобрюхи. Игриво вертлявились проворные сижки-беляшки. Резво приплясывали ельцы и гольяны-красульки. Подобно тяжелым морским нерпам, ворочались, вскидываясь свечами, пудовые таймени и щуки, но уже не за бабочками-поденками,— они этим прожорливым хищникам — как подсолнечное семечко слону.

Слетелись к Бахте и птицы, чтобы полакомиться внезапно хлынувшей из-под воды бесшумной лавиной мягких икрянистых насекомых. Грузно плюхались на тихие плесы большие серебристо-белые чайки. Нежно прикасались красными лапками к шершавой от трепещущих поденок поверхности реки проворные крачки-касатушки. Гонялись за бесплатными «дарами» Бахты и кулики-ходульники, и сойки-горлодранки, и кукши-разбойницы. А на деревьях несчастных крылаток схватывали синички в бархатных тюбетейках. Поналетели на сладкий пир даже рябчики-ягодники, даже черные вороны-тухлоежки.

Но больше всего откуда-то появилось юрких трясогузок — и необычных, желтоватых, какие редко встречаются близ поселков, и обычных, сереньких.

Вот уж неугомонная птичка-невеличка! Вертучая-вертучая, как ртутный шарик. И спокойно-то никогда не посидит! Все-то припрыгивает, все-то приплясывает... Длинный вальковый хвостик ее беспрерывно покачивается, словно подвешен на пружинке,— вверх-вниз, вверх-вниз. Оттого-то и прозвали эту птичку-хвостомахалку трясогузкой. Правильно прозвали!

Но есть у нее еще и другое, крестьянское имя — половничок.

Бежит себе живой половничок, кругленький такой, ладный, весь беленький да серенький с черными пестринами. Бежит и кланяется — только хвостик-долговязик, словно ручка у поварского половника, покачивается — вверх-вниз, вверх-вниз. Сядет клювастый колобок-белобок на тонких ножках в дождевую лужу — зачерпнет водицы. На траву сядет — зачерпнет паучка, на камень — комарика схватит. И все-то он черпает, все-то

подбирает. Вот уж и правда — настоящий половничок!

Всю ночь пузырилась и шумела река. А утром стала безмолвной, скучной. Вся рыба так объелась поденками, что, вероятно, не могла больше плескаться — опустилась на дно переваривать щедрые дары сибирской природы.

По плешинкам-заводинкам, по кружистым омутам толстым бурым слоем плавали мертвые насекомые, похожие на увядшие, сморщенные лепестки полевых ромашек.

Бахта погрузилась в сытую тишину.

Бултыхается, будоражится только голодная рыба. Изобилие в реках всегда безмолвно.

РЕЧНЫЕ ПОДГЛЯДКИ

Как-то в экспедиции выдался свободный день. Я снова отправился к своему любимому тынепскому перекату, где всегда ловил громадных зубастых тайменей — пресноводных сибирских лососей. На этот раз отправился без удочек и спиннинга, а просто так, от нечего делать. Умыться холодной водой, взбитой неукротимым течением. Подышать сладостно терпким смолистым духом разомлевших в полуденном угреве лиственниц. Забиться невидимкой в темно-зеленую черемуховую ухоронку и сквозь потайные, кустистые дырочки-просветы смотреть, смотреть вокруг, авось, может статься, запримечу что-нибудь любопытное...

Тишина звонкая-звонкая, навевающая спокойные, радостные раздумья, умиротворенное блаженство. Лишь на белоногих березах вздрагивали при малейшем колебании воздуха серебристые шелушинки, да изредка, казалось, беспричинно трепетали глянцевитыми медалями осины.

От ершистых сизых пихт-пирамидок пластались по тугим кочкам мшаника змеистые пихтятки-попользухи. Под изогнутые лапы-сабельники мрачных мословатых елей прятали острые светлые маковки игрушечные елочки.

Северные южницы, или, наоборот, южные северницы, а попросту — обыкновенные лиственницы, скидывающие осенью, как все теплолюбивые деревья, свою необыкновенную, хвойную одежду, расфуфырились, пригре-

ваемые ласковым солнышком. Распластались они над пушистыми лиственятками-зайчатками, словно ревнивые наседки-хлопотушки над своими непослушными пискунами.

Синевато-зеленые можжевельники, похожие на кудлатых ежей, разливали смолистый дурманящий аромат, призывая пролетных птиц поклевать их матово-голубые, жесткие, терпкие ягоды.

Всюду на смену старой дряхлеющей жизни робко пробивались новые, сильные ростки.

Тишина — таинственная, настороженная, малейший треск сухой ветки отзывается гулким щелчком.

С беглого взгляда кажется, что все обитатели тайги приумаялись, притомились, спрятавшись от жарких лучей в прохладные гущинки. Но пошаришь пристальней глазами и нет-нет да и кого-нибудь увидишь. То пронырливого поползня, этакого лесного клоуна-акробата, скачущего по стволам вниз головой, разодетого в яркие одежки: бока — рыжевато-красные, грудь — белая, спина — голубая-преголубая. То синицу-большучку в апельсиново-желтой рубашке, с синеватыми крылышками и меловыми напудренными щечками. Она, как вездесущий поползень-гвоздик, сует свой чернявый нос в любую жучиную дырочку-пробуравину, в любую морщинистую ложбинку коры. Синица-пронырка спиралями бегает, кружится по сукам, отыскивая мохнатых щетинисто-волосатых гусениц, которых почему-то боятся другие птицы.

Вон там, среди белесо-седых ворсистых листьев ивушки, мелькнула пышная золотая корона крохотной, с лесное яблочко, пташки-скобозихи. Уж не королек ли это, неуловимый, таинственный колибри северных чащоб?

А все-таки как жаль, что не дано одному человеку сразу быть и орнитологом-птицелюбом, и геологом-рудознатцем, и наблюдателем рыб!

Тишина в тайге — вкрадчивая, обманчивая.

А над Бахтой и Тынепом, как грузные неуклюжие самолеты-разведчики, кружатся большие седые чайки. Пролетят вдоль русла, распластав крутобокие крылья, и снова повернут назад, ленивые, безмолвные. Синеклювые дымчатые головы вниз наклонили, добычу высматривают. И вдруг, словно взбесившись, какая-нибудь дурешка истошно захохочет, а за ней раскатисто загорланят и все соседки..

Не про этих ли истеричек придумал скороговорку меткий на язык русский народ? «Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: — Ха-ха-ха-ха-ха!»

Правда, у бахтинских серебристо-белых чаек хохлов нет, зато зрение у них острое, зоркое, как у снайперов, и хватка быстрая, безотказно цепкая.

Летают напрасно взад-вперед, охотятся, стерегут добычу крикливые рыбоедки. Под ними полным-полно всяких хариусов: и крупных плавникастых горбачей-степенников, и мелких белых вертунков-зеркальчиков. А вот поймать их мудрено. Сверкают на солнце веревчатые гривки переката, серебрятся стеклянистые хлопья пены — попробуй разгляди тут беляка-серебрунчика!

За глыбами-валунами тихо, прозрачно. Не мешает чайкам ни кудрявая пена, ни стальной блеск переменчивых волн. Все дно видят воздушные рыболовки: разноцветные камешки, серую тину, зеленые водоросли, мелкозернистый песок-золотунок. Рябит в глазах у чаек от подводной, солнечной пестроты. И никак не могут обнаружить они рябеньких пеструшек.

Стоит на сбивчивой быстрине здоровенный, мускулистый горбач-красуля. Плавник пятнистый разметал, как атласное одеяло. Стоит величаво, степенно. Гордится красотой своей и силой неуступной. Но глазами косит во все берега.

Под галькой-халцедонкой кто-то шевельнулся, кто-то высунул рыжие кольчатые усики. Хариус метнулся туда. Боднул головой, словно разыгравшийся козленок, перевернул камешек. И давай клевать личинок-поденок, ну сущий карась, выбирающий из тины мотылей. Поклевал-поклевал, снова улегся на быстрине, накрывшись цветистым одеялом.

Из водорослей-плетенок выполз, семеня короткими кривыми ножками, трубчатый живой домик. Ползет себе прямиком по дну, никого не боится. Еще бы! На нем броня из крепко склеенных кварцевых песчинок. Горбач вытянул чулком губы, чмокнул. Будто мягкую вареную макаронину проглотил толстую белую личинку вместе... с домиком. Эх ты, самоуверенный зазнайка! Не спасла тебя броня!..

Стоит хариус — веселый, сытый, плавником спинным, как веером, играет. Любопытно глупенькому мальку, что это такое пестренькое красивое колышется? Подплыл поближе посмотреть, а навстречу — пасть...

Кузнечик-непоседа, покинув шелковистую травку-

муравку, прыгнул зачем-то в реку. Искупаться, что ли, захотел, неразумный? Барахтается, плещется себе, как зеленый человечек,— хлюп-хлюп ножками. Не радуйся, стрекун голенастый, твои секунды сочтены...

Жует, смакует хариус кузнечика, выплевывая, точно подсолнечную шелуху, жесткие, панцирные надкрылья. И вовсе не замечает, как за его хвостом вздрогнуло что-то бурое, громадное, похожее на бревно-топляк.

Чайки истошно захохотали, заметались в голодном возбуждении, увидев, как бурая головастая рыбина перекусила горбача пополам. Очень хотелось вырвать им по кусочку лакомой добычи, да уж больно широка и зубаста пасть тайменя: запросто можно поместиться вместе с крыльями. А чайки хоть и любят сами ловить рыбу, но не любят, ох как не любят, когда их ловят.

Недолго обсуждали нахальные завистливые горлодранки удачливую охоту и страшные клыки подводного тирана. Над ними появился куда более грозный соперник — белохвостый орлан. Чайки с паническим гагаканьем бросились под карниз скалистого яра, пытаясь затеряться средь белесых пород.

Широко разметнув резные шпилистые крылья, темно-коричневый властелин пернатых горделиво и плавно кружился над Бахтой. Я неотступно следил за ним. Долго скользил хищник над глубокой рекой, бесшумно опускаясь все ниже и ниже. Не понравилось что-то, завернул на тынепский перекат, полетел вдоль русла, гулко хлопая крыльями. Спокойненько так, не плюхаясь, черканул по пенистому гребню мохнатыми лапами-удочками. Толстый, упитанный таймень, весом с доброго ягненка, круто изогнулся в его цепких глянцевито-черных когтях-крючках. «Царь птиц» раза два долбанул «царя рыб» острым клювом — тот перестал извиваться... Вскоре неотразимый рыболов скрылся с тяжелой ношей за поворотом Тынепа. Там, на вершине старой лиственницы-необхватки, располагалось его гнездо, под которым валялись кости глухарей, тетеревов, уток, гусей, белок и соболей, а также щучья и тайменья чешуя.

...Итак, удалось сделать еще одно открытие для себя! Ведь раньше я считал, что орланы убивают добычу, падая на нее камнем. Парит себе властелин поднебесья высоко над степью или тундрой. Парит и пристально-пристально смотрит вниз. Все замечает царь-кровожадник, никто не утаится от его зорких очей.

Вот из куста-островка выскочил серый заяц, остановился, ушами повел, прислушивается. Ему бы на голубое небо посмотреть, дурошлепу, а он длинными ушами крутит. Не видит косой грозной, смертельной беды, которая над ним нависла. Раздался шипящий свист — и бедный зверь заорал в страшных когтях хищника, как испуганный ребенок.

...А вот рыбу орланы-белохвосты, оказывается, ловят вовсе не так, как зайцев и сусликов. Летают они довольно низко, всегда вдоль реки и почти не кружатся. Кажется, желанная добыча сама повисает на их острых когтях-крючках, стоит только опустить лапу в воду.

Вот сколько удалось мне подсмотреть на речном перекате!

ТЯГА К ЖИЗНИ

Мы шли по илистой пологой пойме Тынепа. Неуемный луговой пырей вздымался, как густая, колосистая рожь. А над ним еще выше белопенились тонко-звездчатые купола приторно дурманистой зонтичной травы.

Среди песка и буйной растительности кое-где поблескивали высыхающие лужи, оставшиеся после весеннего половодья.

Вблизи кромки берега я увидел смолисто-черного, с ковровыми буроватыми узорами мертвого налима. Он лежал на потертом белесом брюхе, стеклянными глазами смотрел в воду. Пенистые брызги смывали с его исцарапанного, истерзанного тела запекшуюся кровь.

Как же это рыбина попала сюда? Зачем она сама выбралась на сушу? И кто ее, бедную, изувечил?

Невдалеке от мертвого налима я заметил круглую яму с жидкой тиной. Потоптался вокруг, и все стало ясно.

Этот ночной хищник-лежебока, спасаясь весной от гулкого скрежета несущихся льдин, забрался в тихую укромную воронку. После спада бурного половодья ямаворонка оказалась замкнутым озерком.

Жил усатый толстобрюх, по-видимому, вольготно, питаясь хариусами, ельцами, сижками. Некоторые рыбешки, увернувшиеся от его шершавой пасти, еще резво бултыхались в буроватой луже. Другие беспомощно всплыли кверху пузом — вероятно, от недостатка кислорода.

Когда озерко, превратившись в жалкую киселистую болотину, угрожающе стало высыхать, налим прислушался к невнятному шуму реки. А может, каким-то иным чутьем почувствовал, где его спасение. Невольный затворник выбрался из тесной грязной ямины и пополз, как змея. Пополз очень медленно, неумело, опираясь на хвост и растаращенные плавники. След его расплывчатой, волнистой бороздой врезался в мокрый илистый песок. На пути встретилось высокое скопище валунов, расколотых, разорванных льдом. Налим все же протиснулся в узкую щель, преодолел каменную преграду. Но, трепыхаясь, он глубоко рассек бока об острые, угловатые выступы глыб. Теперь уже слабо вдавленный, едва приметный след его отмечался тонкой кровавой веревочкой. Иногда беглец останавливался, разметая хвостом шероховатую гальку, расчищая себе путь. И снова упрямо полз и полз к плескучей воде. Неожиданно «пленник половодья» свалился в глубокую ложбину-промоину. Измочалив о камни хвост так, что на нем клоками свисала кожа, он все-таки выбрался на пологую площадку. И опять упорно устремился к реке, но уже не по-змеиному, а натуженно перекатываясь и кувыркаясь. До спасения осталось совсем немного — каких-то полметра.

Избитый, исцарапанный налим лег передохнуть, да так и застыл под лучами палящего солнца...

Мутными, ссохшимися глазами он смотрел на плескучую воду. Пенистые брызги смывали с клокастого тела рыбы запекшуюся кровь.

НА «МЫШКУ»

Когда в экспедициях на меня сваливаются неожиданные горести, когда назойливо одолевают мучительные раздумья, переживания, я беру бамбуковую удочку или спиннинг и шагаю к реке. Тихое, баюкающее журчанье струй успокаивает нервы, настраивает мысли на философский лад; неудержимый, напористый бег порожистой стрежи придает силу, настойчивость.

Вот и сегодня я накачал клипер-бот и переплыл на ту сторону тынепского переката, чтобы попробовать поймать тайменя не на привычную блесну, а на совершенно новую обманку, которую рыболовы-любители называют «мышкой».

Из куска легкого пузыристого пенопласта я выточил рашпилем продолговатый поплавок, продел через середину мягкую, но толстую железную проволоку с якорем-тройником. Обшил поплавок оленьим камусом. (Для этой цели я специально возил обрезки шкурок, выпрошенные у кочевников-нганасан в Путоранских горах.)

Получилась на редкость симпатичная, серовато-коричневая, шелковисто-лоснящаяся мышка-норушка с длинными седыми усищами из конского волоса с красными бусинками вместо глаз. Под бархатным хвостиком прижимались к белому брюшку черные стальные лапки-крючки.

Интересно, будут ли браться на эту хитроумную «зверюшку» сибирские лососи средь бела дня, когда ослепительно светит солнце? Опытные спортсмены-путешественники утверждают, что таймени (да и ленки тоже) охотятся на плывущих грызунов лишь темной, дождливой ночью или, реже, в туманные предрассветные сумерки. Любят они якобы и лунное сияние.

Итак, гонимый рыбацким любопытством, обуреваемый волнением, я взвалил на спину клипер-бот и пошел торопливо по широкой галечниковой косе. Она еще не избавилась от следов половодья, в ямах и низинах поблескивали застойные лужи.

Как я ни торопился испытать новую «обманку», но все же умерил свой пыл. Сколько неожиданных подснежных захоронок принес из тайги весенний разлив!

Вот растерзанный чайками горностай — от него уцелел только белый зимний хвостик с пушистой смоляной кисточкой.

А вон торчат из песка пожелтевшие оленьи рога, источенные зубами каких-то грызунов — белок или зайцев.

В тинистой лунке, выдавленной копытом лося, застрял пятнистый пучеглазый подкаменщик, широкий, плоский, похожий на ската. Растопыренные жабры-скулы ощетинились грозными крючкастыми шипами. (Красноярские ребятишки зовут этого сумрачного обитателя придонных глубин «водяным чертом».) Чтоб спасти заблудившегося бычка-сонулю от разбойничьих чаек, я схватил его за колючий плавник и бросил в реку — пусть сражается из-за падали с ночными бродягами-налимами.

В обмелевшей лужице грелась на солнышке тонкая,

узкая, длинная (около восьми сантиметров!) неведомая мне ремень-рыба. Окрашена вызывающе броско, подобно ядовитой саламандре, — в желтых и черных узорах, на жаберных крышках, ниже глаз-точек, затаились по два острых костяных копья, откинутых назад. Как только я изловчился поймать ее, она быстро-быстро закрутила головой, ударяя меня по пальцам игольчатыми колючками, которые приподнялись торчком. Я, словно змею, отшвырнул ее прочь: рыбешка юрко закружилась на песке — вот бестия! Высосав на всякий случай кровь из жгуче ноющих ранок, пошел дальше, оставив драчливое создание на съедение птицам.

Как жаль, что невозможно «объять необъятное»! Кому-кому, а ведь нам, геологам, часто путешествующим среди дикой природы, надо хорошо знать и зверей, и птиц, и рыб, и насекомых, и деревья, и цветы, чтоб не смотреть на окружающий мир сквозь беспомощно растопыренные пальцы, чтоб сердце не зачерствело от равнодушия, не покрылось бы грибной плесенью средь безмолвных, мертвых камней.

...Ну вот наконец-то я снова у заветного тынепского переката-белокудренника. На правом берегу его — однообразно унылый, серо-стальной чистяк — валуны, валуны, валуны. Круглые и угловатые, покатые и крутобокие, вздыбленные и плоские, они лежали, словно дремлющие тюлени, отливая глянцевито-лоснящейся полировкой. Ни одной зеленой былинки, лишь приземистые живучки-незабудки голубели редкими скупыми звездочками.

Напялив как можно повыше длинные голенища болотных сапог, я осторожно добрел почти до середины реки. Взгромоздившись на опрокинутую скалу, пустил камусовую мышку-красноглазку в самую белорезно-пенистую стрежь переката. Зверек-поплавок понесся с невероятнейшей скоростью, подпрыгивая и виляя бархатным хвостиком. Спущенная с тормоза катушка еле поспевала за ним раскручивать жилку.

Да разве успеет рыба поймать мышку-обманку на таком течении?!

Плюх... Плюх!..— вскипел вдруг бурунчик, и быстро скачущая норушка-вертушка, не успев даже вильнуть хвостиком, юркнула под воду. Плавным, привычным взмахом удилища подсек. Невиданный хищник так сильно поволок, что невозможно было с ним справиться. Боясь, как бы он, чего доброго, не столкнул меня в глы-

бы, обляпанной какой-то бурой слизью, в опасный глубокий бурун или, что еще хуже для рыболова, не вырвал бы случайно спиннинга из рук, я прыжками устремился к берегу. Поскользнулся, шлепнулся, распластавшись на мели, но хоть и вымок до самого накомарника, а добычу не отпустил. Из пасти буяна торчала заржавелая железка, а в губу впился огромный крючок из толстого гвоздя. Несомненно, этим смирительным «кольцом» наградил строптивого речного быка Володя Байков примерно дней пятнадцать — двадцать тому назад.

Интересное открытие! Значит, после бурной свадебной игры таймени не покинули сразу тынепский перекат, но остались вблизи нерестилища. Что же они делают? Отдыхают ли после яростных предбрачных битв (некоторые ихтиологи утверждают, что все лососи якобы дерутся из-за самок)? Или охраняют песчано-галечниковые гнезда-холмики от юрких, пронырливых воришек — пескарей, хариусов, гольянов и прочих нахальных любителей оранжевой деликатесной икры? К сожалению, никто пока из ученых не может достоверно ответить на эти любопытные вопросы. Да никто еще толком и не знает, куда же после нереста держат путь-дорожку сибирские таймени. Кое-кто из бывалых натуралистов авторитетно заявляет, что они якобы снова скатываются в большие реки, откуда поднялись в весеннее разливище, чтоб легче одолеть неприступные пороги и водопады.

Так ли это на самом деле? Если действительно так, то мне придется на все лето запрятать спиннинг в брезентовый чехол: не пригодится он в болотистых притоках мелеющего Тынепа.

Я мысленно представил, как тягуче, словно унылый осенний дождь-моросейник, начнутся будни полевого сезона, как буду я томиться, страдать, съедаемый мучительной тоской по увлекательной, азартной работе, а после маршрутов не находить места от вынужденного безделья. Чем заполнить свободное время, если нет ни книг, ни городских развлечений? Только, пожалуй, рыбалкой и охотой.

Ну, ладно — что будет, то будет.

Поймав еще одного «бугайчика» на искусственную мышку, я решил высушить намокшую одежду — благо, день был солнечный, к тому же не очень-то допекали кривоногие кровососы.

СХВАТКА СОПЕРНИКОВ

Там, где неистовый, бурунистый Тынеп сливается с величаво плавной Бахтой, возникла глубокая, коловоротистая яма-улова. Тынеп вытекает из мшистых болотин тайги и тинистых трясин тающего мерзлотного слоя, насыщенный всякой бурой прелью. Потому вода в нем темная. В Бахте же она, наоборот, прозрачная-прозрачная с едва уловимым изумрудным оттенком.

Я лег на горячий валун и стал смотреть, как подо мной, в омуте, кружатся, перемешиваясь, разноцветные струи.

Сизовато-серенькие лобастые пескари — ненасытные поросята — увлеченно копались в лохматых зеленых водорослях, отыскивая что-то своими отвислыми усами-щупальцами.

На песчаной отмели озорливо дрались из-за комаров-утопленников юркие пестрые синявки-гольянчики. Я бросил им живого овода. Плескучие рыбешки с пальчик дружной стайкой кинулись к нему и давай теребить, кто за крылья, кто за ноги. Горемычного беднягу то издевательски утаскивали на дно, то опять отпускали трепыхаться на поверхность. Издали казалось, будто синявки-проказницы играют в водное поло, гоняя полосатый рыжий мяч.

Вскипел, чмокнул серебристый бурунчик. Веселая стайка «физкультурников» рассыпалась, словно цветистый бисер. Полосатый «мяч» мгновенно исчез... в пасти хариуса. Он шевелил, шамкал по-стариковски тонкими синими губами, точно облизывался.

Шаловливые гольянчики снова зашустрили вблизи берега. Тогда я привязал к палке накомарник, положил туда ломоть пшеничной лепешки, опустил сеть-ловушку на мель. Рыбки одна за другой воровато забрались под черную вуаль и давай расклевывать на мелкие крошки мой обеденный припас. Я осторожно поднял накомарник, вся стайка оказалась в плену. Плутоватые проказницы-пеструшки затрепыхались, закувыркались, как цирковые клоуны, сверкая изумрудными, бирюзовыми и золотистыми пятнышками, вспыхивая красно-рубиновыми перышками плавников.

— Здравствуйте, мои милые крохотные чародейки! Вот уж не ожидал, что увижу вас — и где? — в далекой таежной реке, за тысячи-тысячи километров от Ельца — моей родины! Я всегда буду вспоминать вас с благодар-

ностью. Это вы заставили меня купить спиннинг. Это вам я обязан за волнующие, незабываемые встречи с тайменями — речными великанами Сибири. Спасибо, большое спасибо вам, милые веструшечки, отрада моего нелегкого детства. Спасибо за то, что вы подарили мне неугасимую страсть к рыбалке. Ну, играйте, резвитесь на доброй воле! Пусть никто вас не схапает — ни выдры, ни чайки, ни харпусы.— И я осторожно вытряхнул пленниц в воду.

...Откуда ни возьмись, в улове появились крупные зеленоватые окуни в черно-желтых полосатых матросках, с ярко-красными флажками-плâвниками. Пескари шмыгнули под валун, синявки с перепугу чуть не выпрыгнули на берег. Горбатые речные пираты безбоязненно разгуливали по глубокой вихрастой яме.

Неожиданно мелькнула широкая тень и резко остановилась. Это была здоровенная старая щука. Схватив окуня, потерявшего бдительность, длинной, загнутой пастью, похожей на нос древнего ковчега, она затаилась среди колыхавшихся лохматых водорослей. Залегла в речных джунглях, точно пятнистая леопардица, приготовившаяся к прыжку. Только тихо-тихо шевелила плавниками.

Осмелевшие пескари подхалимски тыкались мордочками в ее неряшливые, грязные бока. Очевидно, они выбирали присосавшихся к ее старому телу паразитов. Царственно надменная хищница их не тревожила. Что для ее крокодильего аппетита крохотные рыбешки?! Она ждала более солидную, увесистую добычу. Она зорко проглядывала косыми глазами всю глубину омута.

Я было собрался подкинуть ей блесну, чтоб посмотреть, как она затанцует на аркане спиннинга, но тут откуда-то из мрачной темноты появилась новая рыбина. Она была похожа на маслянисто-сизую стальную торпеду с ярким багровым хвостом. Я сразу же узнал тайменя. В толще переменчивых, разноцветных струй он казался чудовищно громадным.

Щука чуть повернулась в его сторону, будто предупреждала: «Убирайся отсюда, я — хозяйка подводной ямы...»

Таймень продолжал рыскать средь извивающихся буро-зеленых водорослей, словно голодный лесной волк. Щука раздраженно махнула веерами плавников. Таймень молниеносно ринулся к ней. Хищница рванулась прочь, да было поздно. Половина ее пятнисто-полосато-

го хвоста исчезла в белой пасти. В тот же миг щука изогнулась угрем и вонзила свой страшный нос-ковчег в мясистую холку врага.

Забурлил, замутился омут, к золотистым струям тынепской воды прибавились кровавые хлопья. Два хищных соперника-великана, вцепившись друг в друга, вертелись, как шальные, по всей улове. Пескари со страху опять забились под камни, хариус трусливо удрал на перекат.

Минуты две кипела, плескалась, ухала река. Потом все стихло. Перекусанный таймень всплыл кверху брюхом. Растерзанная щука пыталась плыть, да никак не могла.

Пестрая рыбешка густой стаей заклубилась вокруг беспомощных, истекающих кровью поверженных богатырей. Изредка щука в предсмертных судорогах оскаливала свою страшную, кривую тысячезубую пасть. Но это уже не отпугивало назойливых преследователей. Нахальная мелочь тыкалась носами в их израненные, клокастые бока, словно норовила совсем заклевать умирающих великанов.

В подводном царстве всегда так: перед грозными, могучими властелинами трепещут, ослабевших, погибающих хищников — клюют.

И еще: большая рыба глотает маленькую; равные же по силе соперники стараются миролюбиво разойтись, ибо схватка для них — смерть.

ПОДВОДНЫЕ СНАЙПЕРЫ

Жаркое, душное утро. Тайга ощетинилась неподвижными дремотными деревьями. Солнце безжалостно проглатывало последние остатки росы. Немилосердно свирепствовал гнус. Над Тынепом бесшумной белой метелицей кружились бабочки. За ними выпрыгивали «подводные снайперы» — хариусы и схватывали насекомых на лету. То и дело раздавались звучные причмокивания пирующей рыбы, резвый плеск, переливчатое бульканье. В прохладные и пасмурные дни хариусы обычно любят стоять на одном месте, терпеливо дожидаясь, когда быстрые струи принесут какую-нибудь муху-утопленницу. А сегодня они сами гонялись за порхающими над водой бабочками, словно состязались меж собой в проворстве и удачливости.

Интересно, каков же у них аппетит?

Я сбегал к табуну лошадей, поймал штук сто больших оводов и пошел к речке. Увидев вблизи берега за камнем крупного горбача, бросил перед его носом овода. Харпус мгновенно схватил насекомое, сделал круг и опустился на дно. Бросил второго — все повторилось. Так он проглотил пятьдесят шесть полосатиков и каждый раз с удивительной точностью ложился на одно и то же место, как будто оно было очерчено какими-то невидимыми линиями, которые мог чувствовать только он, харпус. Я кинул ему пустой коробок — обжора обиделся, удрал на перекат.

До чего же интересная, удивительная рыба этот харпус! Плотва, например, елец, пескарь, сиг окрашены на один лад. Каждая плотвица, словно капли воды из одного стакана, похожа на своих сестер. А ельцы Елецкого края — точные копии бахтинских ельцов. Но хариусы, пожалуй, все щеголяют в разных «костюмах». Этот весь отливает полированным серебром, только спина синевато-дымчатая. Другой — светло-сиреневый с мягкими золотистыми полосами по бокам. Третий вовсе темно-фиолетовый, будто облит школьником-проказником химическими чернилами. Четвертый — розовый-розовый, как фламинго. Пятый испещрен въедливыми углистыми крапинками. Шестой... Да что там заниматься бесконечным перечислением.

Рассмотрите только что выловленных горбачей, пустите их в заводинку, а потом через час-второй подойдите снова. Вы удивитесь необыкновенной перемене в расцветке. Истинные чудо-хамелеоны! А если дно садка выстелить желтой галечкой, то на теле темных горбачей начнут появляться неясные золотистые расплывины всевозможных оттенков и густоты.

И глаза у них разные: то в буроватых ободках, то в светлых пунцовых радужинках.

И хвосты неодинаковы: бледно-лиловые, нежно-фиолетовые, черно-серые с красными полосами, багрянисто-дымчатые.

Но особенно шикарен у хариусов спинной плавник: широкий-широкий, точно раскинутые крылья бабочки, в малиновых, алых, коричневых, зеленых цветках-узорах.

Вот уж в самом деле — рыба-таежница! Такая же разная, красивая, как сибирская тайга.

Когда наступали дни отдыха, путешественникам жилось радостней, чем в маршрутах. Пусть беснуются колючие комары-штурмовики, пусть пикируют с поднебесья кусучие пауты-бомбовозы, пусть настырно лезут в глаза вездесущие мокрецы-ястребки — лишь бы безотказно клевали хариусы.

У Павла в руках — тонкий рябиновый хлыст. У меня — добротный бамбуковый спиннинг. Саша, не мудрствуя особо, вырубает из лиственницы-прямостволки здоровенный «скулинг», чтоб не переломил «клыкастый дьявол», то есть таймень.

- Мы всегда насаживали на крючки только живых паутов. Сибирский паут — это обыкновенный овод величиной с трутня. Его пухлое тело состоит из семи черных и рыжих поперечин, а голова — из двух огромных сверкающе-сизых фар с косыми полосами. Он не сядет на тебя с налету. Сперва покружится, как шмель над цветком, с басовитым жужжанием, облюбует лакомое место (лицо или руки) и вдруг прильнет, нахально, прилипчиво. Раздвинет усики, обслюнявит тело ядовитой жидкостью и начнет, начнет пробивать кожу острыми плоскими клещами-челюстями. Боль — нестерпимая. Выступит капелька крови — паут сразу же выкидывает хобот с круглыми присосками, похожими на щупальца осьминога. И сосет, сосет кровь из раны, пока не раздуется, словно бочонок.

Для человека оводы — адское мучение, для хариусов — неотразимое лакомство.

...Итак, Павел взволнованно, торопливо нанизывает на крючок таежного паута, откормленного жирной дикой олениной, отпоенного густой лосиной кровью. Он метко закидывает яркую соблазнительную мушку-насадку туда, где золотистые струи Тынепа разбиваются о черный валун в белую мыльную пену. Рыболов замер, пристально, немигаюче следит. Вот пленный «полосатик» отчаянно забил по воде пергаментными крылышками. Вот его подхватило быстрое течение, завертело, закружило, того гляди сорвет с крючка. Когда наживка скользнула по темному окошку, что блестело средь груды пышных пузырей, сразу же вскипел, чмокнул кудрявый бурунчик. И овод мгновенно исчез.

Павел отшатнулся назад. Хлесткий конец рябинового удилища задрожал, затрепетал, чутко отзываясь на

малейшие движения невидимой рыбы. Тоненькая-тоненькая, как серебряная шелковинка, нейлоновая жилка позванивает и мелодично гудит, передавая отчаянные сигналы непокорного подводного обитателя.

Павел не торопится вытаскивать, медленно поднимает длинное глянцевито-серое удилище, точно наслаждается упругими поклонами-кивками его гибкого пружинистого хлыстика, точно вслушивается в певучее бренчание туго натянутой лески.

Рыбина упрямо пошла против бурунистой стрежи и вдруг вскинулась на поверхность. Большая, горбатая, густо-фиолетовая, словно облитая соком жимолости, она порывисто забарахталась, закружилась, разбивая красновато-сизым хвостом белоснежную пузыристую пену. Опять нырнула и снова выскочила, подобно сказочному цветку. Наконец Павел осторожно, чтоб не порвать леску, подвел довольно тяжелую для такой слабенькой снасти добычу к пологому песчаному берегу.

— Хорош, бродяга! Настоящий ломовик! — улыбается он. И, довольный, счастливый, терпеливо вынимает из мягкой губы хариуса крохотный крючок-заглотыш. Затем пускает трепещущего буяна в хранильный кухонный садок, то есть в неглубокий заливчик, отгороженный от реки высокой каменной стеной.

Рядом орудует грозным «скулингом» Саша. То ли от едкого диметилфтолата, то ли от нелегкой напряженной работы (ведь жердину приходилось держать двумя руками, да еще между колен зажимать для устойчивости), лицо его лоснится багровым блеском. Толстая тайменья жилка, как пастуший кнут, хлещет по воде, пугая стрекоз и бабочек. Конец оглобли-удилища неизменно плюхается в реку, баламутит, ковыряет дно. Но даже и при таком страшном шуме рыба не давала юноше покоя. Не успевал он приготовиться к подсечке, а хариус уже сдернул с крючка лакомого паута. Или, будто в насмешку, оставлял от насадки на зазубринке одну пучеглазую радужно-сизую голову.

— Опять сорвался, бестия! — сокрушается неудачливый рыболов. И снова без устали закидывает и закидывает насадку, разгоряченный азартом, обозленный коварной «невезучестью». Он явно старается подражать Павлу. Но его удилище слишком тяжелое, неуклюжее. Да и недостает парню той быстрой реакции и практических навыков, которые особенно необходимы при под-

речке харнусов — этих подводных снайперов с молниеносной хваткой.

НЕОДОЛИМАЯ МЕЧТА

Идем маршрутом по берегу Тынепа. Вдруг над рекой с паническим хриплым криком взвилась большая пестро-серая утка, вероятно, кряква. Вслед за ней поплыли четыре пухлых желтоватых птенца, не поплыли, а, казалось, побежали, выстроившись гуськом, резво шлепая по воде широкоперепончатыми лапками. Один неудачливый малышка приотстал, запутавшись в осоке. Раздался тяжелый плеск, кто-то громадный смял осоку, и утенок исчез.

«Таймень! Наверняка таймень! И, пожалуй, не маленький!» — Сердце мое взволнованно заколотилось. Я торопливо скинул рюкзак, еле развязал дрожащими руками тесемки, вынул портативный раздвижной спиннинг, судорожно засунул в кольца катушку.

Всяких тайменей я половил на своем веку — и пятнистых, как речная форель, и блестяще-сизых, как грудь весеннего селезня, и таких, что еле мог поднять, но такого, чтоб не мог взвалить на плечо, еще не доводилось добывать. А ведь есть, есть в сибирских реках настоящие великаны!

Страстная, давнишняя мечта поймать необыкновенного гиганта не давала мне сосредоточиться, настроить походную снасть со спортивной хладнокровностью. Но все-таки я бросил блесну метко, как раз в тот момент, когда неведомый хищник хлестко взбудоражившись, схватил глупого любопытного кулика-плавунчика, севшего, вероятно, покачаться в волнах средь колыхавшейся осоки.

Рывок был такой резкий, энергичный, что рыбина засеклась сама и пошла метаться кругами. Повозился я с ней изрядно, но это оказалась лишь пудовая щука, которую я досадливо столкнул в воду.

Шустрые птенчики, сбежавшие от острых зубов, спрятались под развислые ольховые кусты, к ним вскоре подсела утка, но тут же взлетела и с тревожным кряканьем стала носиться над рекой, подзывая пропавшего детеныша.

Мы пошли дальше. Так как никаких геологических обнажений на нашем пути не попадалось, я время от

времени орудовал спиннингом, но не ради улова, а чтоб проверить, поднялись ли таймени выше тынепского переката. Но, увы, по-прежнему брались только одни надоедливые щуки, которых я отпускал обратно.

Мы уже прошли добрую половину маршрута, устали, решили перекусить. Я сел на мягкую лесину-мшагу, чтоб привести в порядок походные записи. Сашка разложил между каменными голышами жаркий костер, набрал в круглый объемистый котелок из гремучего родникового ключика прозрачной воды и стал готовить чай. Заварив чай до коричневой ароматной густоты, он размочил сухари в студеной заводинке, достал из рюкзака увесистый ковалок твердокопченой медвежатины, нарезал ее тонкими ломтями, поставил банку с сахаром, кружки, и мы с жадностью набросились на еду.

— В тайге все дьявольски вкусно! — улыбался Сашка.— И черные сухари куда приятней, чем белые батоны из булочной. И чай с дымком какой-то особенный!

ЗАЗНАВШИЙСЯ НАЛИМ

Лодка была новенькая, золотистая, из свежих тесовых досок. Но она протекала, и ее опустили на зиму под воду, чтоб сухая древесина набухла и заклинила все щели. Весной, когда растаял на озере лед, рыбаки осторожно подняли лодку.

И что же? В ней на дне спокойно лежал толстый черный налим. Он даже не попытался уплыть. Вероятно, считал лодку собственным домом. В земляных норах темно и душно от застойной воды, под камнями — тесно, под корягами — обдерешь бока. А в лодке просторно, тихо. И добычу подстерегать легко: лежишь, как в крепости, сам все видишь, а тебя — никто.

Угодил бедный налим на сковородку. А все потому, что слишком зазнался, возомнил, будто лодка сделана только для него.

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНАЯ ОБМАНКА

Приближалась осень. Жгуче-сиреневые метелки иван-чая взлохматились серыми сухими стручками-закорючками, опутались белым шелковистым пухом. В зеленые купы осин и берез вкрапливалась тусклая позолота.

Пропали комары, сгинули пауты. Сизые мухи-толстобрюхи сделались настолько вялыми, что даже перестали садиться на свежее мясо. Только маленькая, пестрокрылая, пестролапчатая мошка-скобазиха стала еще нахальней, еще кусучей. У нее нет колючего хоботка, зато она вооружена острыми резцами-клещами. Она сперва впускает на кожу капельки какой-то жидкости, а затем вгрызается в тело. Боль нестерпимая, ноющая, зудящая. Ничто не спасет от нее — ни диметилфтолат, ни всякие мази, ни кисея марли.

А тут еще вдобавок нахлынул мокрец. И величиной-то меньше булавочной головки, но куда страшнее мошки: обжигает тело похлеще крапивы-ядовитки. Мокрец протискивается даже под тугие резиновые шнуры-заслоны противоэнцефалитных курток.

Однако никто не дает геологам снисхождения на гнус: и в маршруты ходить надо, и рыбу ловить тоже, чтоб питаться. На одной перловой каше и надоедливой свиной тушенке не очень-то весело работать.

А как поймаешь привередливых хариусов, если совсем исчезнут пауты — наилучшая насадка?

Павел загрустил: ведь мошку да мокреца не наживишь на крючок — уж больно они мелкие. Николай Панкратович тоже приуныл, потому что очень любил уху.

Тогда я вынул из походного рюкзака цветную пластмассовую шкатулку и торжественно раскрыл ее перед своими друзьями-скитальцами.

Каких только диковинных, искусственных «мушек» они там не увидели! И перламутровых жуков, и пурпурных бело-горошчатых коровок, и черно-бархатных шмелей с оранжевыми полосами, и слепней в ярких тельняшках. Но больше всего у меня было всяких бабочек, сделанных из петушиных перьев..

В отличие от Павла я не люблю возиться с живой насадкой. За стрекозами набегаешься до высунутого языка, пока хоть одну поймаешь. Кузнечики в тайге почему-то прыгают лишь по еланям, где трава выше человеческого роста.

Нет, как бы там ни спорили, я лично предпочитаю только искусственные мушки!

Вы бросаете метким, легким взмахом неподвижную мушку так, чтоб она упала на вертучую струю, словно живая. Вы следите, чтобы леска была натянута — без провислых дуг и спиральных колец. Вы все время играе-

те обманкой, чтоб она взлетала и опускалась на воду, будто легкомысленно порхающая бабочка. Вы не отводите пристального взгляда от ее пестрых, колыхающихся крылышек. И когда под крючком вскипит еле заметный бурунчик, энергично, плавно подсекайте.

Все зависит от быстроты реакций, от того, сумеете ли вы с такой же молниеносностью отвести удилище в сторону, с какой речные «снайперы» закрывают рот. И если ваши глаза дальнозорки, как у ястреба, а руки тверды и чувствительны, вы увидите, что упругий тонкий кончик удилища вдруг согнется, затрепещет, отзываясь на сердитые рывки взбудораженной рыбы. Но, рассказывая друзьям о бурных, захватывающих переживаниях, не преувеличивайте размеры харнусов — они редко бывают больше килограмма.

Азартным любителям-спортсменам далеко не все равно, из какого материала делать самую счастливую, самую уловистую «обманку».

Сибиряки, например, из-за этого разделились на два непримиримых лагеря. Одни горой стоят за петухов, другие — за бороды. Не буду навязывать свое субъективное мнение. Однако, по-моему, мушка из перьев обладает существенными недостатками. Во-первых, слипается в воде, словно кудельки ваты. Во-вторых, легко обкусывается, обдергивается рыбой. И, в-третьих, что самое главное,— совершенно недоступна городским жителям. Торговые организации не считаются с их душевными запросами — продают петухов и кур общипанными.

То ли дело борода, только обязательно рыжая или еще лучше — жгуче-огненная! Но не очень мягкая и не очень жесткая. Вы осторожно привязываете к заглотышу-крючку шелковой ниткой или тонюсенькой медной стрункой завиток волос. Привязываете так, чтоб мушка получилась привлекательной, кудлатенькой, будто ежик, то есть топорщилась отдельными волосками-закорючинками во все стороны. Хариусы и хариусихи бросаются за такими яркими мохноножками, словно пчелы на свекольную патоку.

С той поры, когда я достал из рюкзака свою волшебную шкатулку, Николай Панкратович снова повеселел. Теперь он опять вдоволь ел нежную, прозрачную уху, пахнущую зелеными огурчиками. (Недаром говорят: язык дружит с глазом, а брюхо — с настроением!)

Бахтинские хариусы клевали на мои искусственные мушки безотказно, как на живых паутов. Я всегда воз-

вращался с таежных речек, сгибаясь под тяжестью богатого улова.

И Павел научился удить привередливых горбачей на обманки еще более ловко, более виртуозно, чем на живую насадку.

Впрочем, убить зверя, поймать птицу, обмануть рыбу — для этого человеку не требуется особой премудрости. Куда сложнее удержаться, чтоб не стрелять, не ловить, не пугать. Куда больше честности, благородства и ума надо всем людям, чтоб заботливей охранять родную природу — колыбель жизни, чтоб не губить ее бездумно.

ОЗЕРО ПЕРВОЗДАННОЙ ТИШИНЫ

В глубине Саянских гор, там, где начинается река Систиг-Хем — приток Енисея, как в дивной самоцветной чаше, спряталось от глаз человеческих безмолвное ледниковое озеро. По нему никогда не гуляют шальные ветры, лишь в предрассветные алые сумерки нет-нет да и пробежит робкий низовик, играя колечками тонкой ряби.

С вершин овальных отрогов далеко-далеко видны величавые гольцы, залитые снежной белизной, то плосковерхие, словно приплюснутые черно-лиловыми тучами, то увенчанные ярко-белыми курчавыми шапками. Вокруг в дремотно-задумчивом синем мареве тянутся, извиваются бесконечные перистые хребты, ощерившиеся пиками скал, изрезанные темными туманными ущельями. В их таинственной сизой глубине прячутся холодные гремучие потоки, которые неистовым, ярым шумом пугают порой даже медведей. Обрывистые шквалы водопадов, высокие желто-пенистые валы стремнин, каменные, вздыбленные жерла порогов — все это блестит, серебрится в лучах солнца. Под голыми хмурыми увалами, застывшими в вечном покое, широкой, причудливо-резной лентой раскинулась могучая тайга. Медленно, неуловимо растворяется она за мутной дымкой голубого горизонта. И кажется — нет конца-краю великому сибирскому лесу...

Вокруг чаши ледникового озера золотятся желтые подковы песка. Выше, как сказочный гигантский дикобраз, щетинятся дебри: пихты, кедры, лиственницы, меж которыми бегут благоухающие смородиной прозрачные ключи-распадки. В теплых лощинах, средь зелено-сизых

хвойных теснин нетающими сугробами светлеют островки изгибистых берез. Еще выше над тихим озером нависли бурые пики гранитного гребня, где мы однажды увидели снежного барса.

Люди очень редко заглядывали в эту чащу. Лишь давным-давно, лет восемьдесят, а может и сто, назад, вездесущие землепроходцы — искатели золота срубили на ее низменном, травянистом склоне крохотную избушку. Она покрылась мхом, заросла малиново-жгучим кипреем.

Тишина вокруг удивительнейшая. Прошмыгнет ли под высоченной черемицей осторожная мышка — и уже слышно ее шуршанье. Застрекочет ли на развесистом, резном листе марьиных кореньев зеленый кузнечик-невидимка — его дробистая песенка гулко, звонко пронесется над прозрачно-бронзовой стынью озера.

Как только мы поставили палатки многодневного привального лагеря, я схватил удочку-самоделку, прицепил к леске ершистую мушку. Хоть безмолвное озеро и казалось мертвым, я все же бросил искусственную обманку далеко от берега. Трепетно подергивая, повел ее по блестящей глади. Из темной илистой глубины медленно-медленно начал подниматься какой-то смутный белый кружок. Он все рос, все ширился и вот уже превратился в раскрытый рот пока неведомого мне существа. Белые дуги губ вяло захлопнули мушку-волосатку, темное существо грациозно изогнулось — я разглядел горбатый силуэт большой рыбы с волнистым шлейфом на спине. Хариус медленно-медленно стал опускаться на дно и вскоре как будто растворился в темноте.

Я позвал геологов, которые соскучились по нежной ароматной ухе и сочным балыкам, пахнущим дымком. Они растянутой шеренгой выстроились вдоль круто обрывающегося берега.

За каких-то два-три часа мы вдоволь наловили удочками отменных горбачей — и на жаренье, и на вяленье, и на засолку впрок. Теперь можно было брать в маршруты вкусную рыбку.

Лагерь вскоре угомонился. Геологи, не дожидаясь ночной тьмы, залезли в спальные мешки. Далекий переход к озеру с караваном лошадей утомил всех, да и щедрые дары-припасы не очень-то легко достались.

Я же с биноклем в руках сел на прибрежный валун и долго любовался чудесной панорамой, более интересной и захватывающей, чем любое театральное зрелище.

Тишина. Звонкая, трепетная тишина. Лишь слышно, как в груди бьется сердце.

Среди путаной россыпи ярко малахитовых кедров, на пестрых, цветущих прогалинах — еланях — мирно паслись стройные изящные оленухи с лопоухими телятками. К прозрачным бронзовым протокам озера, приплясывая, недоверчиво оглядываясь на громадного марала, увенчанного широченной зубчатой короной, подбегали зачем-то желто-рыжие косули: то ли испить холодной воды, то ли посмотреть, как по сияющей глади озера хлопают крылышками синие бабочки. Из дымчатой мари хвойных чащоб иногда, словно первобытные призраки, бесшумно выходили на кустистые лужайки страшенные горбоносые лоси. Вдруг я увидел средь покатых белоснежных склонов глубокого цирка всколыхнувшееся бурое пятно. Раскинув, как белка-летяга, черные, лоснящиеся лапы, медленно полз, подкрадываясь к табунку маралов, здоровенный медведь. Но не удержался на скользкой, твердой наледи и, словно дитя малое, помчался с крутой горки на брюхе вниз. Олени не обращали внимания на хищника, спокойно пощипывали траву. Только лось-горбун мгновенно растворился в пихтовой чаще.

...Пишу я «Зеленые звезды», а сам с грустью вспоминаю дивную, безмолвную чашу, каких много в Саянах,— и золотистых, и голубых, и темно-изумрудных и прозрачных-прозрачных, словно майские росинки.

ХИТРЕЦ

Не раз я диву давался, видя, с какой неутомимой настойчивостью гоняются сибирские таймени за хариусами-крылатками. Гоняются и по тихим плесам, и по бурливым стремнинам, и по гремучим порогам.

А вот такого лентяя-лежебоку встретил впервые. Был он больше полутора метров, круглые сутки лежал у кромки шумного, страшенного водопада, сунув плоскую широколобую башку под брызгающий веер. Высокий, густо-красный, как киноварь, хвост, величаво торчал острым килем из белой пены. На толстую, круглую холку тайменя катилась галька, принесенная быстрым течением. А он, невозмутимый гордец, лишь небрежно пошевеливал дымчатыми плавниками, словно отгоняя невидимых комаров.

К водопаду-ревуну примыкала тихая прозрачная излучина. Было видно, как по ней, прижимаясь к обрывистым речным скалам, сновали густые стайки мелких сигов-придонников и хариусов-мухоловок. Они упрямо скакали вверх, пытаясь зачем-то преодолеть отвесную водную стенку, но не могли. Навстречу им раскрывалась широкая перламутровая пасть, и сбиваемая напористыми струями рыбешка попадала прямо в кривые клыки хищника. Подплывали новые серебристые стайки и тоже исчезали в белой зубчатой пасти, как в пропасти. Казалось, под крутым зеркальным веером лежало ненасытное чудовище.

Все краснохвостые лососи-прожоры, даже метровые, с опаской отскакивали от него прочь: знать, чудовище было хозяином водопада.

Я настойчиво пытался поймать этого великана спиннингом, но блесну, даже тяжелую, свинцовую, неодолимо сносило бешеным течением. Несколько зорь я терпеливо караулил толстого, громадного хитреца, поджидая, когда же он покинет свою удобную позицию, соблазнится сверкающей игрой металлической обманки. Но, увы, так и не дождался! Он неподвижно лежал под струями и знал одно: раскрывал да раскрывал загребистую пасть, куда сама катилась сбиваемая потоком рыбешка. Он глотал маленькую добычу без устали, словно кит — креветок, и вовсе не собирался уплывать с вольготного, сытного местечка.

Выходит, и народная пословица, что, мол, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, не очень-то верна. Выходит, рыба тоже, как и человек, ищет, где лучше.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

Я достаю из зеленого вьючного ящика старые, пожелтевшие тетради. На их страницах — то бурые, расплывшиеся потеки от дождевой воды, то обугленные дыры и коричневые подпалины от искр костра. Сколько же сотен километров прошагал я с этими дневниками по глухой тайге! Сколько бурных речек перешел вброд!

Читаю свои записки, вспоминаю синие дремучие дебри, белые скалистые горы, дальние края и удивительные встречи.

Вот в тетради увидел яркое оранжевое перо — это кукша-плутовка обронила в нашем лагере. Вот мне по-

пался сбитый комочек шелковистой шерсти белочки-телеутки; белочки Чернушки, которая кочевала с нами по бахтинской тайге.

Но не все понятно в моих дневниках. Неожиданно попалась небрежно нацарапанная углем строка — «розовый кудесник». Почему кудесник? Почему розовый? И почему углем нацарапано? Ах да, припоминаю! Карандаш тогда потерялся...

И еще я обнаружил среди записей полоску газетной бумаги, завязанную узелком. Прочитал на ней всего лишь одно слово: «Няньки». Под загадочным словом были нарисованы... зубы. Что же все это означает? Вероятно, «няньки с зубами»? Но какие няньки? И при чем тут зубы?

И снова ломаю голову над торопливыми фразами, над пометками, узелками, птичьими перышками и древесными веточками.

Что же все-таки за прихватки — странные загадки в моих дневниках?

«НЯНЬКИ С ЗУБАМИ»

Дно речки было усыпано галькой, круглыми валунами, песчаными плитами. Куропатка свободно могла бы перейти на тот берег, не замочив хвоста.

За камнями-топляками, под журчащими струями, таились беленькие с дымчатыми спинками хариусята. Подальше от берега темнели ямы, заросшие бурыми скользкими травами. В каждой яме прячутся два-три лилово-сиреневых горбача. Стоят, колышут своими широкими узорчатыми плавниками так, что и не поймешь, то ли это рыбины, то ли шевелятся пестрые побеги водорослей.

В глубокую яму забрела стайка блестящих хариусят. Крупные горбачи грозно вскинули гребнем цветастые плавники. Мальки бросились врассыпную, словно ребятишки, забравшиеся в чужой сад при виде грозного сторожа. Два проказника приотстали от шустрой компании, замешкались, заметались в глубине.

Горбачи ринулись к ним. Толстые губы трубой вытянули, как будто ругаются: «А ну, сорванцы, немедленно плывите на свою мель! Там тепло. Там легче ловить мух и комаров!»

«Ишь ты какие заботливые!» — подумал я и на куске газеты написал: «Няньки».

Но, увидев, как один большой горбач вдруг стремительно втянул в пасть растерянного хариусенка, возможно родимого дитятю, нарисовал над словом «няньки» острые зубы. А чтобы не забыть про этот печальный случай, завязал газету в узелок и положил в дневник. Вот и вся «тайна».

РОЗОВЫЙ КУДЕСНИК

С интересом листаю помятые, потрепанные дневники, пахнущие кедровыми орехами, таежными цветами, горьким тальниковым дымом, под струями которого мы спасались от кровожадного гнуса. Все «узелки» распутаны, все пометки-закорючки разгаданы. По найденным перышкам я вспоминаю глухарей, тетеревов, рябчиков, канюков-зимняков, золотистых трясогузок, белохвостых орланов.

— Ну, а что же означает «розовый кудесник»? — спросите, вероятно, вы.

Ничего особенного! Просто — хариус необыкновенного цвета: он был розовый, как фламинго, да еще с перламутровым сиянием. Только спинной плавник, испещренный малиновыми и зелеными овалами, широко оторочен извилистой черной каймой. Я поймал его в глубокой коловоротистой яме, где водились таймени, завернул в лопушистые листья водяного вязиля и радостно побежал к палаткам:

— Смотрите, какой необыкновенный горбач! Вы такого чуда, пожалуй, не видели! — закричал на весь лагерь.

— Что же тут чудесного? — удивились геологи.

Я взглянул на своего «розового кудесника» и не узнал: он покрылся расплывчатыми желтыми пятнами, потом начал переливаться тусклыми красноватыми волнами и потемнел, словно измазался фиолетовым соком жимолости. Такими унылыми, невзрачными делаются все крупные хариусы-таежники, вытянутые из воды.

Только жизнь играет радостным богатством красок. Убитый глухарь, застреленный заяц, пойманная рыба — это просто мясо...

СИБИРСКИЕ «КРОКОДИЛЫ»

Пираты-крокодилы, лютые хищники, водятся почти во всех теплых тропических водоемах и... в холодных, бурливых реках Сибири.

Вы удивлены? Не верите?

Да, да, я сам видел сибирских «крокодилов» собственными глазами, сам ловил их собственными руками.

Сибирские «крокодилы», как и африканские, страшно прожорливы. Чего только не находили в их широких мешках-желудках! Налимов-подкоряжников, хариусов-подпорожников, щук, мышей, кротов, бурундуков, пищух, улиток, ящериц, всяких куликов, чаек, уток... Да разве перечислишь всех жертв этого алчного хищника. Даже камни глотает он иногда по ошибке. Не верите? Так читайте!

НЕУДАЧЛИВАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Знойный-знойный комариный день. К берегу Тынепа, где густо лопушились какие-то неведомые мне бледно-зеленые водяные заросли (Павел называет их вязилем), устало приковылял серовато-коричневый зверь величиной с кролика. Откинув длинный хвост, похожий на плоскую змею, он сутуло сгорбился и медленно, кропотливо начал прихорашиваться. В бинокль хорошо было видно, как он расчесывал задней лапой куцые уши, приглаживая темную шерсть на спине. Вскоре пушистая шубка зверя заблестела нежной шелковистостью.

Да это же ондатра — мускусная крыса — коренная жительница Северной Америки! Совсем недавно — в 1927 году — ее завезли на территорию нашей страны, и вот она уже полновластной хозяйкой кочует по всей сибирской тайге. Я знал, что ондатра всегда поселяется на берегах рек, озер или глубоких болот, где роет земляные норы, а также строит из крепких стеблей хатки-шалашики, напоминающие конусные чумы оленьих пастухов.

Откуда она появилась, такая утомленная, изнуренная? Вероятно, ищет новые, богатые пастбища водяной травы — осоки, рогоза, хвоща?..

Отдохнув, понежившись на солнышке, крыса-путешественница плюхнулась в реку, нырнула под прижимистые, густо сомкнутые «лопухи» и прямо на дне, у камня-топляка, стала есть граненые лиловые черенки вязиля.

Губы ондатры плотно смыкаются между длинными острыми резцами-стамесками и коренными зубами-перетиралками, поэтому вода никогда не попадает в рот,

Долго не показывалась эта забавная зверюшка-меховушка на поверхности реки. И вдруг, видимо насытившись, принялась играть: то шумно, резво плескалась; то тихо, блаженно, как умиротворенный бобр, вальсировала плавными широкими кругами.

У ондатры нет плавательных перепонок, какие, например, натянуты между пальцами гусей, уток, лебедей. Зато на краях подошв задних лап имеются отличные гребенчатые весла из жестких, упругих волос. И шерсть ее почти не намокает, всегда блестит, переливается мягким лоском.

Когда ондатра удалилась от прибрежных зарослей вязиля, подплыла к чистому устью гремучего горного ручья, за ней наперегонки бросились толстые бурые «крокодилы». Один схватил ее крючкастыми клыками за ногу, второй, сиганув дужистой крутой свечой, нагло вырвал добычу у своего нерасторопного соседа. Зубастая пасть захлопнулась, как тюремная дверь. Бравая, неутомимая путешественница даже пикнуть не успела, навсегда исчезла в ненасытной прорве.

А ведь ондатра все-таки не мелкое животное, не мышка-полевка, хоть и относится к подсемейству полевок. Длина ее туловища до тридцати сантиметров, да хвост еще около четверти метра! И поместилась, свободно поместилась во рту сибирского чудовища.

ЛАКОМАЯ ДОБЫЧА

Довелось мне подсмотреть и такую картину.

Я сидел на берегу саянской реки, торопливо заносил в походный дневник очередные геологические наблюдения. Вдруг что-то зашелестело, зашуршало. Смотрю — мимо меня, под высокой травой, скользит, изгибаясь пружинистыми петлями, черная-пречерная лесная гадюка — обитательница мышиных кедровых чащоб и мрачных пихтовых стлаников. Я решил посмотреть, куда она торопится, что будет делать.

Змея подползла к реке и... поплыла, поплыла, размахивая хвостом, подняв буквой «г» атласную миниатюрную, словно у ящерицы, головку. Только серебряная веревочка тянулась поперек тихой заводинки.

Вдруг чмокнул, вскипел пузыристый бурун — и... гадюки не стало.

МЕТКИЙ ПРЫЖОК

Известно, тропические страшилища-крокодилы подстерегают добычу не только в воде. Они часто схватывают животных — диких свиней, обезьян, домашнюю скотину прямо на берегу.

Не отстают от этих прожорливых пресмыкающихся и сибирские речные разбойники.

Как-то раз к Тынепу подбежал проворный, гибкий зверек. У него была нарядная шелковистая шкурка: лапки, брюшко и шея беленькие, а спина и мордочка коричневые с золотым отливом. Кончик тонкого хвоста — с пушистой смоляной кисточкой.

Я, конечно, сразу узнал, что это горностай — добрый защитник зерна, неутомимый истребитель крыс, бурундуков, сеноставок, мышей, полевок, сусликов. Он такой смелый, проворный, что не боится нападать даже на глухарей и зайцев, которые в десятки раз тяжелее и сильнее этого поджарого вертуна. Летом заметить горностая довольно просто. А зимой нескоро его обнаружит и опытный остроглаз: пухленький снежный комочек, лишь кисточка хвоста неизменно черная.

Так вот, зверек-вертунок хотел было полакать холодной, ключевой водицы, как на него ринулась из реки бурая головастая громадина. Раскидывая кроваво-пурпурным хвостом гальку, хищник грузно, неуклюже плюхнулся обратно в Тынеп. Только черная кисточка затрепыхалась в его губах...

Часто эти лютые пираты выпрыгивают на сушу за тетеревами и глухарями, которые прилетают из тайги, чтоб поклевать в прибрежном песке красивых крепких камешков.

Но довольно всяких неприятных историй. И так, пожалуй, все вы давным-давно догадались, что зовут сибирских «крокодилов» обыкновенными тайменями.

Рыба эта относится к семейству лососевых. Но нигде, нигде в мире: ни в синих морях-океанах, ни в голубых озерах Америки, ни в желтых реках Африки — нет лососей, более крупных, чем сибирский таймень.

Вес его достигает восьмидесяти килограммов, а длина — свыше двух метров! Я слышал от оленегонов, что в 1962 году охотники-якуты будто бы застрелили в Эвенкии тайменя тяжелее центнера. Необыкновенный богатырь-лосось «переползал» по мелкой протоке из межгорного озера в реку.

По-нанайски он — «джели», по-эвенкийски — «дели», по-якутски — «биль», у китайцев — «чже-ло-юй», у японцев —«амуро-ито».

А русские зовут тайменя еще красной рыбой, линем и, видимо, за необыкновенный, праздничный наряд нежным, ласковым словом красуля.

НЕВЕРНОЕ СРАВНЕНИЕ

В некоторых солидных книгах написано, что сибиряки называют еще тайменя «красной щукой» якобы за низкое удлиненное тело и плоскую голову.

Нет, ничего подобного! А просто потому сравнивают благородного пресноводного лосося с вездесущей костистой разбойницей, что эти хищники соперничают, да никак не превзойдут друг друга в неразборчивой алчной прожорливости. По внешнему же виду они совершенно, совершенно не похожи.

Таймень, прежде всего,— мощный, упористый лобан. Башка его круглая, короткая, тупорылая. Она действительно сплюснутая, но только не с боков, как у щуки, а сверху вниз как у сома. Даже по глазам их легко отличить. У зеленой разбойницы они глубоко ввалившиеся, живые, выразительные, всегда движутся, косят, как бы следя за рыболовом-мучителем. У красного же подводного хищника — выпуклые, застывшие, будто стеклянные.

РЕКА-ХУДОЖНИЦА

Реки прорезают гранитные хребты, вертят стальные лопасти электротурбин, несут к лесопильным заводам тяжелые караваны плотов. Реки орошают сухие степи и знойные пустыни, соединяют крупные промышленные города с морскими портами. Размывая земные недра, они по мельчайшим крупинкам накапливают в своих отложениях россыпи драгоценных металлов и камней: золота, платины, олова, вольфрама, алмазов, рубинов, изумрудов... О, реки — великие, неутомимые, неугомонные труженицы Природы! Реки — воистину титанические, усердные и кропотливые резчики камней! Именно они, наряду с другими важнейшими, взаимно связанными явлениями, непрерывно обновляют, омолаживают

старческое лицо Земли — рельеф. Эти прописные истины известны каждому человеку.

Но знаете ли вы, как реки рисуют?

...Стояла запоздалая скучная осень. Лиственницы пожелтели от холодных затяжных дождей. Бахта нахмурилась, помутнела, взбеленилась, проглотив песчаные косы-наносы, затопив крутобокие террасы. Кое-как, с большим трудом, нам удалось переправиться на ту сторону. Мы ушли в далекий многодневный маршрут. А когда вернулись назад, не могли узнать знакомого берега, на котором белели наши сиротливые палатки. Таким он стал необыкновенно нарядным, густо полосатым, красочным. Яркие желтые ободки, мерцающие в бликах солнца, волнисто протянулись вдоль скатов. Они ныряли в темные ложбины, струились по зеленому мшанику, обволакивали черные лбы валунов, изгибисто петляли по красным прутьям тальников. Казалось, будто живописец-невидимка опустил мохнатую кисть в золотой лак да и провел твердой рукой по всему противоположному склону долины тонкие узорные линии. Всего я насчитал семь удивительно симметричных, параллельных друг другу волнисто-кружевных ободков. И все переливчато-блестящие, ярко-желтые, как полированное золото. И все резко, четко оттеняли каждый бугорок, каждую ямку-конурку. И все с подчеркнутой ровной строгостью беспрерывно тянулись над светлым пепельно-серым зеркалом воды, словно причудливые пояски в дымчатом халцедоне.

Я накачал резиновую лодку и поплыл к пустынному лагерю. Уж больно не терпелось узнать, из каких неведомых камней-самоцветов появились эти сверкающие параллельные ободки над тихим сливом реки. Приблизился вплотную к берегу и разочаровался: никаких, никаких сказочных чудес...

Это были пожелтевшие иголочки-хвоины обыкновенных лиственниц. Они плотно прижались друг к дружке, как будто приклеились, вытянувшись сплошными ровными лентами. Хвоинки еще не побурели, не потускнели от времени, не обсохли на ветру, и потому блестели, искрились под лучами солнца, подобно отполированным золотым самородкам. Каждый желтый ободочек означал положение былого уровня воды в располневшей Бахте.

Семь дней я скитался по тайге, собирая металлометрические пробы. Семь ободков-поясков протянулось по затопленному склону долины. Значит, семь раз, но поче-

му-то не постепенно, а скачками опускался, падал уровень реки, оставлял на память скопища золотых иголочек.

Вот и все. Ничего особенного — пустяк и только, но почему-то запомнился мне крепко. Наверное потому, что в нашей хлопотливой житейской суете нет-нет да и мелькнет какой-нибудь простенький, но удивительно яркий пустяк. И долго, долго, а может, навсегда он будет храниться в душе. Ведь у каждого свои радости, свои счастливые минуты. Плохое, неприятное, горестное человек всегда старается забыть.

КАК В СКАЗКЕ

Самые незабываемые рыбацкие впечатления остались у меня от речки Майгушаши, где мы занимались металлометрическими поисками в конце августа. Эта извилистая, капризная речка, блуждающая среди таежных болот, впадает в гремучий, бурный Тынеп, который изобилует хариусами, щуками, тайменями. На карте она показана едва заметной прерывистой синей змейкой.

Перед отъездом в экспедицию я очень переживал, что геологическая судьба подарила мне, страстному рыболову, такой паршивенький водоемчик.

Помню, в отряде кончились продукты, и мы были вынуждены питаться ягодами, грибами да глухарями, которых иногда удавалось подстрелить благодаря верной помощнице Найде. Наш лагерь долго прятался в глухих дебрях тайги, у тонюсенького ключевого ручейка, где никакой съедобной живности не водилось. Поэтому все отощавшие полевики с нетерпением ждали, когда же перекочуем на Майгушашу. Может, там повезет выследить рогача-лося или вдоволь наловить рыбы.

И вот наконец перед нами долина заветной речушки, знакомой нам пока только по карте. Что же мы увидели? Низенькую, заваленную гнилым буреломом пойму с вздрагивающими травянистыми кочками, с бесчисленными крутыми ямами-вымоинами, заполненными мутной охристой водой, с хлипкими трясинистыми западинами, которые коварно прятались под буйным моховым покровом. Ступишь на кочку-качалку и, не успеешь оглянуться, как плюхнешься по пояс в желтую кисельную жижу. Само русло неширокое, пережимистое — то с раздувами, то с узенькими бродами. Местами оно

похоже на отвесные торфяные рвы с темными, словно деготь, сумрачно задумчивыми глубинками. А иногда весело и легкомысленно журчит меж высоких голышей — переходи хоть в тапочках, прыгай себе козликом с камня на камень.

Вода в этой речушке была неприятная, некрасивая — какая-то грязная, бурая-пребурая, густо настоянная на болотном перегное, и очень холодная — моментально судорогой сводило пальцы. Одним словом, решили мы, мертвая — даже вездесущие лягушки не могли б тут жить. Все смотрели на Майгушашу с нескрываемым

разочарованием, с досадной злобой. Никто и не пытался ловить в ней рыбу. Впрочем, не до удочек было.

Ну и досталось же нам при переправе! Даже развьюченные лошади то и дело проваливались в тину, храпели, выкатив набухшие кровью глаза. Приходилось издалека таскать бревна, делать зыбучие настилы, выволакивать их из трясинистой хлюпи за хвосты. Какая же это была адская работа!

Когда наконец поднялись на высокую террасу, ставить палатки уже не хватило сил. Расстелили прямо на мокрую землю брезентовые тенты и долго молча лежали, не в силах пошевелить руками, чтоб отогнать с лица кровососов. Только слышались крепкие мужские проклятия в адрес плюгавой речушки.

А Павел, хоть измучился не меньше других, сначала отвел лошадей кормиться на поляну, затем разложил костер. Вскоре зазвенел его голос:

— Робятки! Давайте чаевничать!

Золотисто-зеленый кипяток, заваренный терпкими вяжущими листьями брусничника, пропитанный горьковатым дымком ароматных тальников, разливался по телу горячими живительными струями. Люди воспрянули, приободрились. Началась обычная для геологов лагерная суета, повторяющаяся после каждой кочевки. Одни натягивали крылья палатки, другие заготовляли для походной кухни сушняк, третьи устраивали пышные перины из упругих пихтовых лап и мягких душистых верховинок лиственниц.

Мы раскатывали тугие рулоны спальных мешков, сушили у костра обляпанную болотной грязью одежду, а солнце быстро тускнело. И вот оно уже мутным бледно-оранжевым шаром коснулось шпилистых, резных вершин деревьев. Над низменной долиной Майгушаши поплыл, закурился голубовато-палевый туман. Пропали, сгладились резкие тени, падающие от стволов, разноцветная земля посинела. Из кустов, из травы, из мха вспорхнули тысячи бабочек, затрепетали белыми напудренными крылышками. И молчаливая, сумрачная, безжизненная Майгушаша вдруг шумно вздрогнула, всколыхнулась. «Чле-ек... Чле-ек...» — таинственное неслось с речки. «Бульк» — то там, то тут вскипали пузырчатые круги. «Бух» — заплескались раскатистые бултыхания.

Павел схватил рябиновый нахлыст, лихорадочно стал шарить в карманах, в рюкзаках, отыскивая коро-

бок с искусственными мушками. Но он куда-то пропал. Я тоже не смог найти свою «волшебную шкатулку» с пестрыми жуками.

Тогда Павел, взбудораженный рыболовным азартом, чуть ли не из рук вырвал у меня бамбуковый спиннинг, торопливо пристегнул сияющий никелированный «байкальчик». Едва блесна шлепнулась в воду, как жилка натянулась и по дну заметалась темная рыбина. Павел торжественно выволок ее на берег. Все полевики сбежались рассматривать желанную добычу. Это был хариус килограмма на полтора — густо-фиолетовый горбач с широким зелено-крапчатым веером на спине.

— Впервые такого большого подцепил. Не знал, что хариус на блесну идет,— сказал Павел, и снова сделал заброс, и снова вытащил крупного красавца.

Хариусы мчались за белой зеркальной «железкой» наперегонки, точно осы к вишневому варенью. Они хватали ее прямо с лету. Гладкий жесткий «байкальчик» выскальзывал из их маленькой пасти, но они дергали, трепали его вновь и вновь, даже не чувствуя, что вертучая «рыбка» из металла. Словно опьяненные, они ничего не замечали, кроме яркого сияния никеля. А ведь при ловле на мушку хариус очень осторожен и пуглив. Павлу-спиннингисту не приходилось прятаться в кустах. Он смело стоял на открытой луговине. Только поймает одного горбача, как на тройничке уже «сидит» второй. Вскоре под его сапогами трепыхалась груда исключительно крупных аметистовых рыбин.

Разгоряченный неуемной охотничьей страстью, Павел сделал неудачный бросок — блесна шлепнулась возле прижимистых лопухов водяного вязиля, которые колыхались на длинных лиловых черенках. Он хотел было перезакинуть ее на чистую глубину, но на ней уже успела повиснуть какая-то рыбина. В отличие от хариуса она не металась челноком из стороны в сторону, а вертелась кругами, подобно волчку, плескаясь и будоража водоросли. Павел осторожно, умело подвел ее прямо к палаткам. Рыбина была крупная, не менее трех килограммов, похожая на толстый, плавно обтекаемый брусок. Но такая нарядная, такая пестрая, любая форель могла бы позавидовать! Спина крутобокая, упругая, темно-серая с золотисто-лиловым оттенком. По серебристому телу рассыпались черные круглые крапинки, расплывчатые медно-красные пятна, неуловимые бронзовые подтеки. На маленькой изящной голове, на малиновых и си-

них плавниках — густые смоляные горошины. Зубы слабые, мелкие, едва заметные.

Мы думали сперва, что это таймешонок, но у великанов сибирских рек губы ровные, плотно примыкающие, пасть посредине башки, а клыки длинные, загнутые, как у нерпы. У этой же «пеструшки» верхняя губа была рассечена треугольником, резко выступала вперед. Поэтому рот ее был не в центре головы, а снизу, не продольный, а какой-то странный — поперечный.

Всем стало ясно: Павлу необыкновенно повезло — он добыл хитрого, осторожного ленка.

Глотнув теплого воздуха, золотистый красавец сразу же уснул, и яркая пестрая окраска его начала бледнеть, переливаясь всеми цветами радуги.

Рыба ловилась, как в сказке, — то хариусы, то ленки.

— Вот тебе и плюгавая речушка! — весело потирал руки Николай Панкратович, пеленая трофеи в мокрые простыни-лопухи зеленого вязиля, закапывая свертки в жарко накаленную золу. А что на белом свете может быть вкуснее испеченных на костре только что пойманных нежных хариусов или отборных жирных ленков?! На щук, разумеется, не обращали внимания — отпускали обратно. Павел отошел подальше от лагеря и бросил блесну в черный омуток, где Майгушаша изгибалась круглой заводью.

— Засел! — спокойно сказал он и вдруг весело, звонко засмеялся, глядя, как в алых лучах заката высокими вертящимися свечами запрыгал таймень. Через некоторое время, изрядно умаявшись, он вытащил толстого лосося на берег.

— Добрый поросеночек! — улыбался Павел, еле сдерживая на вытянутых руках огромную тушу, которая была чуть ли не с него ростом. И, распаленный азартом, задорно крикнул: — А ну еще попробую!

На следующий день мы специально отменили все маршруты, чтоб как можно больше наловить рыбы. Ведь нам предстояло идти еще дальше в глубь тайги, где никакие крупные речки не текли. Соль у нас давным-давно кончилась. Поэтому решили рыбу коптить, иначе долго не сохранишь.

Ночь была черная, свежая. Под утро тихо зашелестел дремотный, баюкающий дождь. Мы проспали самую раннюю зорьку, поднялись, когда уже яркое малиновое солнце коснулось вершин деревьев. Всюду, куда

ни взглянешь, блестит роса. На дымчато-зеленых лопухах водяного вязиля она лежит круглыми жемчужными четками. Я не в силах был оторвать глаз от дивной переливчатой игры крупных и мелких капель.

Испокон веков камни-самоцветы радуют взоры людей. Поэты-сказочники сравнивают красоту природы с их немеркнущим сиянием. Весеннюю зелень травы — с изумрудом, чистое голубое небо — с бирюзой, блеск инея на солнце — с алмазами, лесную землянику — с яхонтами, пчелиный мед и пшеницу — с янтарем... Да мало ли всяких чудесных самоцветов! Тут и малахит, и турмалин, и топаз, и азурит, и гранат, и аметист — разве перечислишь все!

Но с чем же, с чем, скажите, сравнить геологу росинки-дождинки на темных листьях черемухи?! Они свернуты длинными лодочками. Дно туфелек-лодочек тусклое, сухое. И в каждом скрученном листе, как в зеленом стручке, сидят капли-горошины, круглые прозрачные льдинки. Вокруг иных сверкающих шариков — тончайшая перламутровая россыпь густого бисера. Смотришь на росинки-дождинки — и волей-неволей чудятся горные хрусталинки. И знаешь, что это не новое, избитое сравнение, а иного, более точного образа, не найти. Да и стоит ли смотреть на родную землю хитро прищуренными глазами? Ведь голубое небо, как ни крути головой, голубое...

Я не спешил вытаскивать блесны из жестяной коробки, выбирал место поудобнее, покрасивее.

Совсем рядом, за белыми палатками, горбились огромные глянцевито-бурые глыбы долеритов. Темная вода билась между ними шумной пенистой струей и медленно расплывалась кружистыми волнами по черной, непроницаемой яме. Правый берег был чистый, пологий, как лесная поляна,— самая благодать размахивать спиннингом, не боясь раздражительных зацепов. На левом борту долины затейливо переплетались кустистые шары красных тальников, сизой ольхи, серых ив, черемухи. Дальше — светло-рыжий, крутобокий уступ ледниковой морены, пламенеющий кудрявыми гроздьями брусники. А еще выше— березы, лиственницы, пихты, кедры, осины...

Вот уже двадцать лет увлекаюсь я рыбной ловлей. Уже мозоли натер удилищем на ладонях, а все никак не могу равнодушно смотреть на воду. Ведь специально не торопился, специально, чтоб умерить пылкий охотничий

зуд, нарочито долго любовался россыпью хрустальных росинок. Но приблизился вплотную к речке, и сладостное, томительное чувство наполнило сердце. И с трепетом стал мечтать о поклевке — о желанном, неведомом сигнале.

И очень хорошо, когда течение быстрое-быстрое, когда молчаливая протока темная-темная, ничего тогда не видно, что там, кто там на дне. И все тебе кажется преувеличенным, таинственным. И хочется поскорее проверить (удочкой, спиннингом, закидушкой, переметом), какая же рыба возьмется первой. Наверное, вот это обостренное чувство нарастающего ожидания, вот это все, все уже давно пережитое, знакомое и в то же время до восторгов новое, особенное, каждый раз неведомое, неповторимое — все это и манит меня так властно, так неодолимо к воде.

Неуклюже забрасываю под каменные лобастые глыбы маленький белый «байкальчик». Робкий толчок по блесне, из густой, дегтевой глубины высунулся оранжевый острый киль тайменьего хвоста.

За утро мы с Павлом добыли трех тайменей, каждый не меньше пуда, штук сорок отменных хариусов, десятка полтора солидных, «колиброванных» ленков-плесовиков и двух метровых щук. Всю эту внушительную груду дорогой, деликатесной рыбы мы «черпали» из одной заводи, которую запросто можно замерить удилищем.

Не думайте, что я восторгаюсь бешеным уловом, хотя в нашем нелепом положении, когда неожиданно погибли почти все продукты, столь щедрый подарок бахтинской тайги был спасением от голода. Я восторгаюсь непуганым, первозданным уголком сибирской реки. Я был ошеломлен, потрясен столь удивительным, редкостным сочетанием прекраснейшей рыбы в захудалом, невзрачном закутке болотистой Майгушаши. Таймень, ленок, щука, хариус — не изумительно ли это?! И всех мы ловили на маленький никелированный самодельный «байкальчик» с маленьким тройничком.

Мы с Павлом наслаждались своеобразным состязанием, кто меньше сделает ошибок, определяя по характеру хватки, какая рыба поймалась. Смею заверить вас — это было интереснейшее соревнование. Держать в руке живой, поющий спиннинг и по его трепету, по голосу жилки, по ворчанию катушки отгадывать, что за «зверь» засел на паукастых крючках,— не увлекательно ли это?

Щука бросалась за вертучей «обманкой», словно кошка за мышью. Поймает и сразу же останавливается, как будто снова приготовилась к засаде. Поэтому начальный рывок ее очень резкий, энергичный.

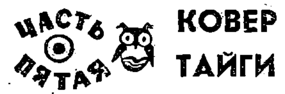
Хватка хариуса напоминала щучью, но, завладев блесной, он не останавливался, а продолжал с такой же неуемной прытью метаться по сторонам, иногда делая с разгону высокие «свечки».

Поклевка тайменя мягкая, тупая, как бы нерешительная, не скоро поймешь, рыба ли это или водоросли. А все потому, что самоуверенный хищник, сдавив клыками «железку», не замирает резко, круто, как щука, а некоторое время, будто не чувствуя занозистых уколов якоря, плывет по инерции, плавно сбавляя разгонную «нападающую» скорость.

Ленок же, как только его подсекут, впадает в буйную истерику: кувыркается, вертится вокруг поводка, хлещет хвостом по блесне, словно пытаясь ее выбить, но очень скоро выдыхается.

Пока мы занимались промыслами, Николай Панкратович выкопал средь пологого песчаного ската траншею глубиной 70 см и сечением 40 на 50 см. От нее он провел коленчатый дымоход к земляной печке, вырытой недалеко, в крутом обрыве. Выпотрошенную рыбу мы разложили на ольховых жердях, постеленных над камерой, и накрыли брезентовым тентом. Коптильню топили сыроватыми тальниковыми гнилушками, ивовым хворостом, которые горят тихим огнем, посылая густо ароматный несмолистый дым. Хариусы (они не бывают жирными, как, например, угри или чиры) получились несколько суховатыми, но тоже были хороши. Зато ленки и таймени вышли на славу — духовитые, нежные, сочные — во рту тают. Мы завернули золотисто-коричневые балыки в берестяные рулоны, чтоб не ломались, не мялись, и осторожно сложили в походные вьючные сумы. Теперь нам не страшен был голод.

Много лет прошло с той поры, но я до сих пор не могу забыть Майгушашу. Я вспоминаю ее не только как нашу спасительницу, но прежде всего как олицетворение необыкновенно сказочных богатств диких таежных речек. Не знал я тогда, что «майга» по-эвенкски — это ленок. Значит, Майгушаша издревле поражала первобытных кочевников-рыболовов обилием вкусной, красивой «майги» — дивной, таинственной форели.



КОВЕР ТАЙГИ

ОГНЕННОЕ ДИВО

За крутым поворотом разливистой реки перед нами открылась широкая пойменная луговина, обрамленная белоснежной опушью терпко благоухающей черемухи. Под буйным изумрудным пологом молодого разнотравья прятался, прижимаясь к земле, длинный, узкий, как сабля, пожухлый пырей-перезимок.

По желто-песчаным крутояристым скатам сонно млел диковатый розовый шиповник. Золотистые лютики, разбуженные шалым ветерком-предрассветником, играли в пятнашки с голубыми незабудками и синими колокольчиками.

И повсюду, куда ни посмотришь, нежными шелковистыми переливами пламенели оранжевые звездчатые шары с причудливо резными пятилапчатыми листьями. Казалось, тысячи раскаленных углей рассыпались вокруг и, неугасные, ярко лучились среди сочной зеленой муравушки. Это распускались махровые кочанистые бутоны сибирской купальницы.

Как прекрасны, как неповторимы они в своем сложном, строгом, точно кристаллы, геометрическом совершенстве!

Представьте, вы сидите черной зябкой ночью у таежного костра. Тихо, плавно, с рассыпчатыми шорохами-вздохами тлеют поленницы из сухих смолянистых кряжей-кедров. Отполыхавшая древесина светится глубоким нутряным сиянием.

Ласковые, игривые всплески-последыши острых синеватых галстуков огня веселят сердце. Тепло, радостно у кедрового костра!

Вот и сибирская купальница такая же теплая и радостная, как живые угли таежного костра. Недаром испокон веков народ называет ее искоркой, цветком-огоньком, пламенницей, жарком!

Смотришь и никак не можешь оторвать восторженных глаз от чутко дремлющего в сиреневом тумане, неугасного, застывшего огненного дива. Груда пылающего жара, а над ним чуть дрожит тонкий, сладостный, едва уловимый аромат, напоминающий нежное дыхание роз.

О, если я б владел кистью художника, я бы сделал это дивное растение, цветущее и в Саянах, и на Алтае, и в промороженной тундре, гербом всей Сибири!

На оранжевых лепестках купальницы я бы нарисовал три круглых росинки: аметистовую, как дымка Путоранских гор, жемчужную, как сияние полярного снега, и прозрачную, хрустальную каплю байкальской воды.

Тайга на сей раз простиралась какая-то муторная, исковерканная: то бугры с путаными-перепутаными джунглями ольховника; то хмурые теснины шершавых деревьев; то колдобины-чертобоины; то плешивые болота с коварными западинами-проглотышами; то частоколы сухих стволов-мертвяков.

И вдруг перед нами открылась дивная поляна. На ней, словно кукуруза-скороспелка, высилась зелено-сизая трава.

Хоть я неоднократно предупреждал своего спутника-коллектора: «Не лезь раньше батьки (то есть раньше геолога) в пекло», Саша все равно вырвался вперед, устремился к буйным зарослям.

— Красиво! Очень красиво! — восторгался он.

Трава эта и вправду была необыкновенно нарядной. Круглые крепкие стебли ее, стройные и упругие, обернуты широкими, точно у лесного ландыша, полосатыми листьями. В их извилистых, скрученных лодочках-пазухах, которые голубели дымчатым налетом, сверкали на солнце скопившиеся, нетающие льдинки-жемчужины крупной росы. Переливчатые, радужно-цветистые капли-шарики почему-то не скатывались на землю по светлым жилкам, наклоненным вниз, а будто бы приклеивались навечно. Пышные длинные метелки на верховинах, усыпанные золотисто-белыми шестилучевыми звездочками, тоже блестели, хрусталились росой. Но роса эта была уже иная: мелкая, как неуловимая россыпь бисеринок. Она густо облепляла каждый овально-вытянутый лепесток звездочки-цветка.

— Красиво! Очень красиво! — повторял Саша.

Не знал он, конечно, что это пленительное творение сибирской тайги, именуемое черемицей, — ядовитейшее создание природы, «зеленый анчар». Корни его способны убить корову, лошадь...

Смотрел я на восторженного парня и думал: «Как часто мы бываем в плену внешней красоты человека! Пока узнаешь, пока проникнешь в душу его, он может любому простаку отравить жизнь, как черемица-ядовитка».

Недаром геологи говорят: «Не все то золото, что блестит!»

А грибники уточнили: «Мухомор красен, да для здоровья опасен!»

Дни мелькали своей извечно торопливой поступью, словно кадры кинофильма, удлиняя геологам бороды, укорачивая полевой сезон. И, покорная неодолимой силе времени, преображалась, до неузнаваемости менялась бахтинская тайга. Прибрежные ольховые кусты превратились в буйные заросли. Покалеченные, исцарапанные половодьем красноствольные тальники — в густую хлобыстучую непролазь. Слюдисто поблескивали широкие листья неспокойных осин-потрясучек. Янтарились светлые верховинки-мутовки синеватых пихт. Среди чистой, веселой белизны берез плели затейливую кружевную кайму круглые, как шары, темно-сизые можжевельники. На розовых широких рукавах матерых кедров, средь встопорщенных стеклисто-зеленых усов ярко поблескивали смолистыми наплывами фиолетовые шишки, похожие на толстых крупночешуйчатых коротышей-хариусов. Из угрюмых еловых чапыжников тянуло рыжиками, белыми грибами, плавленой живицей.

Давным-давно померкли золотые лютики, погасли дивные солнечные цветки — махровые жарки-купальницы. С приречных желто-крапчатых деревьев черемухи свисали, словно растрепанные цыганские бороды, аспидно-черные грозди терпких ягод. Рубиновыми огоньками бисерилась среди мшистой изумрудности осыпучая брусника. Натужно гнулись под тяжестью пурпурных кувшинчиков вееристые кусты шиповника. Кудрявым туманом стыла на сквозистых полянах-прогалинах матовая голубика.

На сухих пригорках уже не краснели раскидистые колонии диких пионов — марьиных кореньев. Уже не разливался на зорях от ясных пушистых лиственниц упоительный аромат зеленой хвойной свежести. Суходольные таежные елани и кромки высоких приречных опушек покрылись новыми цветами — огнистым кипреем и белоснежными зонтиками-парашютами раскидистых купырей.

Палатка наша, прижатая к крутому изгибу обрывистой террасы, окаймлена пышным разнотравьем. Туго натянутая, стройная, ровная, она стоит среди высоких душистых медоносов, точно светло-зеленый улей.

Как только начал распускаться кипрей, Николай Панкратович усаживался на пенечек у костра-дымокура, чтоб не допекали кровососы. Блаженно потягивая,

самокрутку, он, словно зачарованный, смотрел на пестрое таежное разнотравье. И улыбался, и вздыхал, думая, вероятно, о чем-то радостном.

Однажды, когда кипрей заполыхал еще ярче, старик не выдержал. Надев чистый широкополый накомарник, он забрался в тростниковую глушь малинового кипрея — иван-чая.

Он ласково поглаживал метельчатые султанчики, заботливо расправлял острые, загнутые стружками концы длинных матовых темно-зеленых листьев, срывал, рассыпал на ладони шелковистые лепестки.

Вокруг мельтешились бабочки: голубые, белые, красно-крапчатые. Иногда проносились большие синие-пресиние махаоны с острыми коричневыми шпилями на задних опушинах широких мерцающих крыльев. Заунывно гудели басовитыми трубами черно-бархатистые шмели с серебристыми, оранжевыми и золотыми полосами. Трепеща прозрачными перепончатыми крылышками, неподвижно, как вертолетики, зависали над коробочками пыльников какие-то нарядные мушки в пестрых тельняшках. Певуче звенели осы-сладкоежки. Копошились в лепестках красноглазые жучки. Сноровисто, проворно мелькали и вдруг неожиданно садились на белопенные зонтики купырей лазоревые стрекозы.

Николай Панкратович задумчиво расхаживал среди зарослей кипрея, которые были так высоки, что порой щекотали ему лицо. Степенный, молчаливый, с густой седой бородой и могучими усами, он напоминал древнего пасечника-ведуна. Накомарник, похожий на сетку пчеловода, особенно усиливал это сходство.

Сломив под корень несколько цветущих стеблей иван-чая, старик сел на пенечек у палатки и стал молча, внимательно рассматривать это растение. Стебель был длинный с темно-коричневым древесным основанием и пышной бахромчатой макушкой. С маковки-макушки свисали овально вытянутые ворсистые бубенчики-бутылочки, зеленовато-серые с одного бока и фиолетовые с другого. Кончик стебля увенчан ромашковой звездочкой с толстыми мягкими лучами. Узкие вытянутые листья со светлыми желтоватыми прожилками посредине и серповидно изогнутыми, вдавленными ложбинками обрамляли лаковый стволик живописной спиралью. Чем выше, тем они становились короче, и потому кипрей походил на пеструю пирамиду. Хорошо было видно, что он распускался постепенно — по мере того как рос. Бубенчи-

ки-бутылочки лопались на четыре части, загибались темно-лиловыми стружками со светло-зеленым исподом. Между ними выклевывались и ширились по одному лилово-розовому лепестку с волнисто надрезанным краем в центре. Из корзиночки-нектарника вытягивался желтый торчок с четырьмя матово-белыми восковыми пружинками-рожками. Вокруг него на тонких шелковистых ниточках покачивались золотисто-коричневые туфельки с пыльцой. Отполыхав, нижние цветки завязывались в кинжалистые стручки-коробочки, наполненные малютками-семенами с ярко-серебряными пушистыми парашютиками из волосков, а верхние бубенчики выпускали округлые розово-красные крылышки бабочек.

— Сальдо-бульдо! — восторженно воскликнул старик.— До закатной пенсии дожил, а вот сроду не обращал внимания, что эта прозаическая трава, именуемая иван-чаем, обладает такой красотой. Что там говорить, чудеса да и только! Доподлинная новогодняя елка! А какая медоносная! Вон, посмотрите, на венчике, наподобие росы-медвяницы, сочится нектарный сок!

Он протянул нам душистый малиновый султанчик.

— Эх, сальдо-бульдо! — продолжал Николай Панкратович.— Вот вернусь из этой геологической командировки, куплю дачу с садом, клумбу разобью с голландскими тюльпанами, а остальную землю обязательно засею кипреем. Пчел заведу и буду бесплатно угощать всех уличных ребятишек целебно-пользительным сотовым медом. Эх, дожить бы, сальдо-бульдо!

Старик размечтался. А над палатками, как на пасеке, висел крепкий, хмельной аромат кипрейного меда да воздух неумолчно дрожал от звонкого гудения таежных «пчел», то бишь комаров.

В КИПРЕЙНОЙ ПУЩЕ

Как изменился в бахтинской тайге Николай Панкратович! Хоть и отросла у него густая седая борода, но помолодел он до неузнаваемости.

Увлекся цветами, словно влюбленный юноша, рассматривал венчики, тычинки, пестики, лепестки иван-чая с необыкновенной заинтересованностью, будто видел впервые. Покручивая усы, долго наблюдал, как черный плюшевый шмель с золотыми перевязками и оранжевым оплечьем, высунув изогнутый хоботок, шебуршил

мохнатыми ножками в чаще пыльников, выпивая из вазочки нектарника сладкий сок.

— Ух ты проказник! — восхищался Николай Панкратович.— Подлетел с чистой шкуркой, а вылез из цветка весь перепачканный желтой присыпкой. Молодец! Ну и трудяги, погляжу, эти шмели! И все-то копошатся, все-то возятся в траве — от зари до зари. А вон тот так умаялся, бедняга, что ночевать решил в цветке.

— Я в коробок положу его,— сказал Сашка.— Посмотрим, какой хариус клюнет. А может, и ленок возьмется.

— Не надо, Сашок! Не тревожь! Пусть отдыхает! Лови для насадки лучше оводов. А шмелей не трогай.

Саша улыбнулся, решив, по-видимому, что старик шутит, раскрыл спичечный коробок, чтоб положить туда спящего шмеля.

— Цыц, несознательный элемент! — вскипел тот.— Неужели не соображаешь, что шмели совершают в растительном мире весьма нужную опылительную процедуру? Невелик кулик, а, может, куда полезней твоих хариусов. И музыканты эти шмели весьма приятные. Весь день зудят над цветами. Не то что комары-нытики. Эх, Александрий, не сознательный человек ты, а дым пустой от головешки!..

Сашка ничего не ответил, с удивлением посмотрел на Николая Панкратовича, но коробок выбросил.

— Кыш, проклятая! — отчаянно, как ветрокрылая мельница, замахал вдруг старик руками.

Из кипрея бесшумными зигзагами вылетели какие-то крупные серо-крапчатые птицы, вероятно, козодои.

— Я уже давно наблюдаю за этими разбойниками,— сказал Николай Панкратович.— Едва опустятся сумерки, как они собираются к зарослям иван-чая охотиться за всякими красивыми бабочками. А стемнеет погуще, обязательно появятся летучие мыши и еще маленькие кривоклювастые совушки. Интересно все-таки наблюдать за природой! Везде, оказывается, клокочет жизнь! В болотах — болотная, в кедровниках — кедровая, а тут, в медовом царстве, одних насекомых на канцелярскую книгу хватит, чтоб перечислить. Жаль только, нет у меня знаний.

Но тут речь Николая Панкратовича перебил звонкий голос Павла:

— Ча-ев-ни-чать, гос-по-да-а!

И все полевики послушно побрели на ужин у костра.

Пробиваясь сквозь ветви зеленых еловых лап, с рассыпчатым треском дыбились острые языки пламени. Густой дым расползался пластом, кудрявился клоками, редел меж деревьями, паутинился. По долине Тынепа пенился разрозненными ошметками серый туман. В почерневших дремотных елях, увешанных седыми бородищами — лишайниками, дробилась зыбкая алость угасающей зари. Среди синеющей белизны берез расплывчатыми шарами темнели молоденькие лиственницы. Стыли в голубовато-розовой, сумеречной неподвижности матерые, необхватные кедры.

— Добрая погодка обещается,— с удовлетворением произнес Павел.

— Почему так решил? — заинтересовался Сашка.

— Приметы утешительные сложились. Во-первых, кони пасутся спокойно, не норовят за кусты схорониться. Они ведь как? В какую сторону спинами лягут — оттуда и ветра жди. Во-вторых, теплый моросейничек покропил утречком, а пузыри на речке не вздувались, не плясали солдатиками. И еще, посмотри на ту елку, рябчата сидят рядками, как ласточки-касатки на телеграфных проводах, не тревожатся, не хорохорятся. А ведь перед ненастьем все птицы прячутся, где посуше.

— Что же ты в них не стреляешь? — всполошился Саша.

— Ну и охотничек, росомаха тебя напугай! — улыбнулся Павел.— Пускай себе на здоровье порхают, свистунки пестренькие, пускай сидят спокойно, коли сами к палаткам подлетели. Все, глядишь, и нам веселей будет. Убивать, Саша, птиц и диких зверей возле человеческого жилья стыдно, грешно.

Сумерки быстро сгущались. Розовые султаны кипрея налились темно-кровавой краской. Тысячи всевозможных бабочек закружились среди этой душистой травы. Резкими порывистыми зигзагами и крутыми петлями начали носиться проворные летучие мыши, бесшумно замелькали маленькие кудлатые сычики и какие-то более крупные птицы, вероятно, козодои.

Мы зажгли в палатке стеариновую свечку, вытурили полотенцами комаров, плотно застегнули откидную дверку и стали устраиваться — каждый под своим марлевым пологом.

Сашка взглянул на букеты кипрея, которые поставил совсем недавно в консервные банки с водой, и удивленно промычал:

— Хм... Странно! Купальницы неделями стояли в банке, как живые. И ромашки, и незабудки, и марьины коренья тоже увядали не так скоро. А эти неженки сморщились, поникли, точно кипятком их ошпарили.

— О-о, эти розовые ивушки не терпят, когда их ломают,— сказал Павел.— Да и зачем ломать, зачем напрасно живую красоту губить? Цветут они долгохонько, месяца полтора, пожалуй, в самую что ни на есть горячую пору. Потому они такие яркие-прояркие. Жару любят, а вот человеческих рук не выносят. И очень даже правильно, что такими недотрогами уродились! Если б все дикие цветы сразу же блекли, как их сорвут, не оголялись бы леса наши вокруг городов и поселков. Взять, к примеру, мою деревню, где я вырос,— продолжал Павел.— Это от Вологды совсем недалече. Так вот, была там веселая березовая роща. Ранней весной, сразу же после снеготала, такой покрывалась она расчудесной травкой с мохнатыми стебельками, что и рассказать-то невозможно. Всякими-превсякими колокольчиками распускалась: красными, розовыми, синими, голубенькими, беленькими. Мы, ребятишки, бывало, называли эту нарядную травку «вологодскими матрешечками», а учительница ботаники Нина Петровна — медуницей. Хорошая была у нас учительница — добрая, душевная, старалась привить нам, школьникам, любовь к родной природе. Часто она рассказывала о жизни растений всякие интересные истории. Пойдем, бывало, в лес, а возвращаемся с огромными охапками медунчиков. Венки из них вили, толстые гирлянды плели. Каждый год в нашей школе отмечались праздники цветов: и весенних, и летних, и лесных, и луговых, и полевых. Ну и допраздновались! Почти всю медуницу изничтожили! Теперь кукушки оплакивают в березовой роще черную голь. Вот они, Саша, какие веселые экскурсии бывают...

Павел горестно вздохнул.

— Мы не прочь поговорить о любви к природе,— продолжал он, расправляя в консервной банке поникшие лепестки кипрея.— Но разве это любовь, когда человек сызмальства норовит поломать, порезать, вырвать, срубить, спилить, разломать? Надо, чтоб люди и после нас могли любоваться в лесу дикими цветами. А ты ржавые консервные банки украшаешь в палатке всякими букетами. Эх, Сашок, Сашок, дерюжный мешок!..

Даже при тусклом мерцании свечи было заметно,

как Саша смутился, но, поборов нахлынувшую обиду, ответил с нотками заносчивости:

— Морали хороши в меру и к месту. Из нашей тайги всю Европу можно засыпать цветами. А ты крокодиловы слезы льешь над пучком кипрея...

— Ах, ничего, ничегошеньки до тебя не дошло,— возмутился Павел.— И ведь вот горе — не один ты такой самоуверенный бедолага. Вдоволь нагляделся я на молодых туристов с гитарами и транзисторами. Они тоже любят природу. Идут по лесу с песнями да с хохотом, а после них Мамаево побоище остается. А ведь тоже собирают букетики для своих девушек.

ЛАСКОВЫЕ ПОКЛОННИЦЫ

Они беспрерывно дрожат, колеблются, загибаются, будто приветствуют геологов-путешественников, будто кланяются неугомонным землепроходцам своими атласными, трепетными, как бабочки, головками. Потому и прозвали их русские люди ветреницами, но не за девичье легкомыслие прозвали так, а за то, что эти серебряные звездочки-самородочки мерцают и размахивают крылышками-лепестками даже при малейшем дуновении ветра. Ветреницы-анемоны кланялись мне в чисто-белых березовых островках восточных Саянских хребтов.

БАДАН

Сплошные причудливые заросли этой дивной травушки-муравушки я встретил под густым черным пологом пихтовой тайги.

От ее бурых ползущих корней, похожих на кольчатый хвост ондатры, широкими розетками пластаются овальные, вытянутые листья. Толстые, жирно-мясистые, поблескивающие темным изумрудным лоском, они затейливо пронизаны ветвистыми прожилками. Над раскидистыми кружевными розетками высятся голые стебли, увенчанные кудрявой шевелюрой из мельчайших лилово-красных соцветий. Их нежные тонкие лепестки как бы выныривают из глубокой колокольчатой чашечки. Издали кажется, будто под сумрачными пихтовыми лапами неподвижно застыли барашковые облака, опаленные красными сполохами зари.

Эх, бадан, бадан, забодай тебя оленьими рогами! Сколько ж часов я потерял, склонившись в немом оцепенении над пенистым, дремотным кипением твоих рубиновых кудрей! Как мне хотелось перенести эту огненную саянскую красоту в любимый парк Победы, чтоб могли смотреть на тебя все ленинградцы!

Запомнился мне подпихтовый бадан не только своим необыкновенным обликом. Когда мы прилетели в горы, то выяснилось, что забывчивый, рассеянный замначальника снабженец Сидельников вместо душистого индийского чая прислал геологам несколько ящиков хозяйственного вонючего мыла. Взбешенные полевики обещали «промыть этому черту все косточки». Степенный добродушный Иван Иванович, который не терпел ругани, попросил гневных бунтарей «окоротаться», заявив, что он приготовит «аховый, гораздо скусный таежный настой», который «пользителен с устатку» и особенно от «развихляний языка». Взяв штыковую лопату, проводник отправился к ближайшей полянке, придавленной залежалыми зимними сугробами. Вскоре он выкопал из-под снега большую охапку широких округлых листьев, высушил их у костра и мелко-мелко нарезал охотничьим ножом. Потом бросил несколько пригоршней этой буроватой «лапши», похожей на махорку, в эмалированное ведро с кипящей водой. Получился нежно-коричневый напиток, ароматный, освежающий, с приятной горчинкой. Все полевики потягивали «саянское зелье» с нескрываемым удовольствием. Иван Иваныч сказал, что сибиряки зовут бадан «монгольским чаем», что охотники за соболями и росомахами всегда пытаются «оклематься этой травкой», чтоб «утихомирить ноженьки болючие». Еще он поведал, будто старики дубили раньше корнями этого лесного влаголюба звериные шкуры, а сельские ткачихи якобы умудрялись добывать из бадана густую зеленую краску для шерстяных одеял и праздничной одежды.

Осенью опять сложились «непредвиденные обстоятельства»: у всех курильщиков кончился табак. Как они, бедняги, страдали! Снова помог Иван Иваныч. По его совету «великомученики» набивали самокрутки смесью сухой тополиной коры и вяленых листьев бадана. Затягивались глубоко, с блаженством, но потом долго, надрывно кашляли, жалуясь сквозь слезы, что проклятый

бадан «бодает» похлеще самосада. И хоть «саянское зелье пробирало до костей», но все же, по признанию курильщиков, успокаивало нервы.

БОДРЯЩИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

Под весенними разомлевшими кедрами, когда сквозь голубые щетинистые усы проклевываются светленькие желтовато-зеленые хвоины, то и дело встречаются крупные светло-кремовые и золотистые колокольчики. Выскочила из-под земли, из-под бурых листьев-перезимников и коричневых слежавшихся иголок, длинная лиловая стрелочка, круглая, волнистая, опушенная нежными, словно шелк, серебристо-дымчатыми ворсинками. Глядишь, и согнулась она под тяжестью всего лишь одного-единственного цветка с мягкими шерстинками на венчике. Цветок-вазочка, цветок-колокольчик похож на садовый тюльпан. Он беспрерывно покачивается на ветру, словно пытается, да никак не может прозвонить радостную весеннюю побудку: «Просыпайтесь, птицы и звери! Поднимайтесь, медведи, из берлог! Идет весна-красна!»

Человек не слышит бодрой песни мягких колокольчиков. Но звери горные, но птицы таежные спешат, спешат под разомлевшие кедры, благоухающие целительной живицей. Глухари и скрытные рябчики жадно клюют ворсистые султанчики диких «тюльпанов». Косули, маралы, сокжои аппетитно поедают пучки тонких, разрезанных листьев, обрамленные вздыбленными волосками, жуют пышные, бахромчатые стебли, глотают нежные лепестки. Бурые медведи, утомленные долгой зимней спячкой, так и норовят поскорей похрустеть их сочными корешками. Набив брюхо горьковатой, духопряной мякотью, они якобы хмелеют, как от старого меда, бродят, пошатываясь, не замечая ни вкусных бурундуков, ни страшных охотников. От полночного росистого аромата и свежего сока кремовых сибирских тюльпанчиков-колокольчиков (а в Европе они густо-фиолетовые, как аметист, и растут под соснами) будто бы неодолимо пьянеют не только звери, но и люди. Вот за эти удивительные качества, приукрашенные фантастическими домыслами, древние знахарки-травознатницы с благоговейной таинственностью окрестили их сон-травой. Тем, кто страдает бессонницей, они советовали почаще гулять по весенним

фиолетовым лужайкам, пить отвар из душистых лепестков или просто класть пучки сон-травы под голову, и тогда она будет навевать чудесные сны.

...Не одну сотню километров протопал я по кедровой саянской тайге, провожаемый согбенными кивками кремовых султанчиков. Устанешь порою так, что не в силах протянуть ложку к миске с похлебкой. Наешься и сразу повалишься, не чувствуя под боком ни веток колючих, ни шишек ершистых, ни кочек с камнями. Может, от незримых чар сон-травы такой крепкий сон? А утром проснешься на малиновой зорьке радостным, здоровым и снова как ни в чем не бывало пойдешь карабкаться по черным сырым склонам, по хребтам скалистым, по увалам ребристым. Идешь ради того, чтоб нанести на геологическую карту какое-нибудь цветное пятнышко, означающее распространение той или иной горной породы. Не знаю, может быть, на дряхлых старух-знахарок фиолетовая сон-трава и навевает неодолимую дрему. Но нам, искателям земных кладов, подкедровые колокольчики неизменно дарили бодрость. Ведь в Саянах, повторяю, сон-трава не фиолетовая, а кремовая.

ВЛАСТЬ ЗАПАХА

Какая обворожительная картина эти первозданные кедровые гущи Восточных Саян! Кажется, что ты попал в иной, подземный мир.

Распластав по черной, мокрой прели узловатые, взгорбленные корни, стоят неподвижно, будто оцепеневшие, древние сизоволосые великаны, увешанные пышными, седыми прядями бородатого лишайника. Под их густо сомкнутыми кронами мрачно, таинственно, жутко. Тишина, задумчивая, мудро грустная тишина. Замер смолистый, синий воздух, только слышно, как гулко, учащенно колотится в груди сердце. Медленно пробираешься, точно крадешься, между высоченными красноватыми стволами. И чудится, что ты спустился в неоглядную, страшно запутанную пещеру. И нет конца-краю бесчисленным, громадным столбам-сталактитам, будто выточенным природой-ваятельницей из темных железисто-кремовых известняков.

Под кедрами — одноцветно, однотонно, ничто не привлекает взгляда путешественника. Жирный зеленый мох, влажный и зыбкий, безжалостно душит красный

кизильник и синюю жимолость. Даже неистребимый багульник, даже вездесущая бузина и острые стрелочки напористого пырея не в силах пробиться через его топкую, гнетущую тяжесть.

Но вот сквозь щели-редины хвойного свода «пещеры» хлынули лучи солнца, и заиграли на темном сумрачном ковре причудливые кружевные узоры из яркого света и резких дымчатых теней. В солнечном зайчике-кружочке, над унылым моховым бобриком, я увидел два полосатых листа, нежно-зеленых, словно драгоценные камешки-хризолиты.

Скинув тяжелый рюкзак, я сел на корточки, чтобы получше рассмотреть неведомое мне таежное растение. Листья у него были такие же широкие и остроконечные, как у ландыша, но вблизи черенка выемчато-закругленные. Они вверх не тянулись, а висели плашмя на ровном жестком стебле друг против друга. От их распростертых ладошек струился необыкновенно приятный тонкий аромат — затейливая смесь вечернего жасмина, горячей лесной земляники и садовой фиалки. Да разве можно словами передать оттенки запаха?! Я отщипнул краешек листа и растер в пальцах, но ничего, кроме свежей травяной зелени, не почувствовал. Оказывается, нежное благоухание источали крохотные желтоватые кувшинчики, под которыми изгибались всего лишь четыре маленьких белых лепестка.

По мере того как я подымался из крутой седловины к вершине белогорья, кедровая чащоба становилась реже, а темнины хвойного затишка просветлялись. Вскоре невзрачные цветки с двумя противостоящими листиками вытеснили непокорные, топкие мшаги и все вокруг заполнили неподражаемым сладостным благоуханием.

Когда поздно вечером, вернувшись из маршрута, я залез в палатку, Иван Иваныч широко раздул ноздри, зычно крякнул:

— Ух, какое лихое ароматище! Аж в носу засвербило! Вот и майник душистый наконец-то зацвел. Теперь пойдут угревные денечки. Надо торопиться с работой, а то скоро комар-сорвибашка запорхает, как снег в лихозимье.

Я удивленно пожал плечами — ведь в моем рюкзаке ничего, кроме ситцевых мешочков с камнями — образцами горных пород, не было. Но они пахли сыростью, холодной глиной.

А Иван Иваныч совсем обомлел. Ни с того ни с сего он вдруг разговорился, хотя всегда был скуп на слова.

— О сю пору помню, как я, мальчишка-ослушник, специально убегал из дома в укромную глубинку кедрача, чтоб вдоволь нанюхаться майниками. Заберешься в майниковый вертепник и сидишь там скрытно. Стукотню всякую слушаешь, посвист рябчиков, слет глухарей. Ореховки-задиры погорланят, погорланят надо мной да и уберутся восвояси. А я все сижу себе на душистом угорчике. Однажды прикорнул в теплинке да и остался на всю ноченьку в тайге без ружья и спичек. Перепугался в темноте, как горюн-бельчонок. Однако не плакал, не кричал. Правда, чепуха одолевала — боялся, как бы зюбря на голову не наступил. Промаялся я всю ноченьку. А утром едва заря зарделась, побежал домой, чтобы родители не спохватились. Эн где там! Одна моя бабушка сидела и плакала на подоконнике. Все взрослые поселка искать меня отправились. Ну и показал мне потом батя, где таймени бултыхаются. Содрал штаны да так излупцевал ремнем, что и сейчас, как вспомню, мурашки бегут. У нас, бывало, в России боялись отцов, слушали, уважали. Не то что нонче...

Вздохнув глубоко, проводник молча принялся за ремонт порванных вьючных седел.

— Иван Иваныч, а что такое майник? Где вы разглядели этот майник да еще сказали, что он зацвел? Покажите, пожалуйста. Таежные растения меня очень интересуют.

— А я покамест не видел в нынешнем году майника,— ответил проводник.— Да и разглядывать его нечего — красотой не блещет. Майник носом понимают. Ведь ты до последней нитки пропитался его духовитостью. Так чего тут не ясно?

И в подтверждение своей правоты Иван Иваныч удивительно точно описал растение, которое как раз и попадалось мне в кедровых глушинках. Он еще добавил, что к осени стебли душистого майника будут унизаны редкими-редкими красными ягодами: по одной круглой бусинке на каждой веточке.

...А я подумал: наверное, потому редкими и потому яркими, чтоб ни люди, ни звери, ни птицы не забывали о его редкостном ярком весеннем благоухании.

В Саянах мы кочевали на лошадях, которых привел Иван Иваныч из далекого колхоза, расположенного за сотни километров от базы экспедиции. У каждого полевика был свой персональный конь, свое кожаное кавалерийское седло. Но, к сожалению, гарцевать всадниками нам удавалось очень редко, а уж в геологические маршруты всегда ходили пешком. Слишком труден и опасен путь в незнакомой горной тайге. Сколько ж неведомых, коварных препятствий нас подстерегало на каждом шагу, особенно когда мы всей партией перебрасывали лагерь на новую стоянку! Спасибо, нам достался опытнейший, вдумчивый проводник. Иван Иваныч всегда шагал впереди, умело выбирал путь для всего вьючного каравана, растянувшегося длинной цепочкой. И все же, несмотря на его мудрую осторожность и зоркие глаза, мы довольно часто попадали в такие переплеты, что даже страшно вспоминать. Нередко перед нами расстилались хлипкие трясины, замаскированные мягкими, губчатыми наплывами мха, шаткими осоковыми кочками. Стоило только кому-либо отклониться от вихлястой тропы, проложенной Иван Иванычем, и тогда лошадь неминуемо заваливалась в черную вонючую грязь. Вызволять сильное, брыкающееся животное из беды, спасать вьюки с продуктами,— не приведи судьба испытать вам такое!

Но и торные тропы-дороги не всегда приносили радость. Хоть Иван Иваныч строго следил, чтоб лошади были «завьючены уютно», чтоб переметные сумы весили одинаково и не сползали б при подъеме на круп, не шатали б конягу, однако невозможно было все предусмотреть. На узком крутяке, когда караван переваливал через вершину хребта, мы потеряли добротного, могучего мерина, степенного и осторожного, который, оступившись, перевернулся через спину и с грохотом полетел вниз...

Сколько же хитрых ловушек расставляла на пути нашего каравана саянская тайга! Громадные буревальные деревья; стремительные, бурные речки, усыпанные предательскими скользкими валунами; кинжальные заросли облепихи, сквозь которые даже кабаны не протиснутся; щербатые, заклеклые пни, спрятанные от конских копыт прелестными, изумрудными шапками мха; глубокие щелистые распадки, похожие на противотанковые

рвы; кусты гибкого хлестучего ивняка; медвежьи рытвины-ямы, засыпанные трухлявым, прелым валежником, сплошные нагромождения каменных завалов; отвесные стены ущелий — да разве перечислишь все преграды, которые нам приходилось одолевать.

Особенно много тревог доставляли висячие торфяники, умудрившиеся, вопреки законам природы, растянуться поперек крутых склонов. Лошадь, завалившуюся в трясину, мы вытаскивали с большой осторожностью. С этой целью ставили колом защитные бревна, окаймляли склон тяжеленными надолбами. Причем все были начеку — иначе взмыленное животное увлечет за собой в пропасть человека или, потеряй бдительность, намертво собьет ногами, расплющит грудь копытами. Только слышались крики, ругань, бурление пузырей, всплески жижи, липкие шлепанья комков грязи, умоляющие понукания...

Ровные, низменные места тоже таили не очень-то приятные сюрпризы.

Однажды мы прытко двигались по глубокой звериной тропе, которая удачно обнимала неприступные скалы, мудро обходила трепетные, чутко дремлющие россыпи грозных курумников. Настроение у всех полевиков было бодрое, веселое. Но вдруг, спустившись к зеленому частоколу молодых лиственниц, торная звериная тропка-загадка исчезла, как будто нырнула в подземелье. Иван Иваныч остановил караван и долго бродил без успеха вдоль закрайка густой чащобы.

— Ну и листвяг, будь он проклят! — досадливо плюнул проводник.— Все травы заглушил, все двери затянул. Давненько, пожалуй, хаживали зюбры по этой дороженьке, да почему-то забраковали ее. Как пить дать, небось обвалы возникли перед белогорьем али опасные снежные нависи появились. Иначе бы зюбры не изменили своего облюбованного курса. Ох, труднехонько будет без этих дорожных мастеров. А ну, братцы-солдатцы, беритесь за топоры! Да поживее, поторапливаться надо! Вишь, как люто гнусье навалилось,— к дождю, стало быть. Да и тучи распушились, как конские хвосты,— опять-таки к дождю, будь он неладен.

Перед нами сплошным заслоном высились тонкие разгонистые лиственницы. Они столпились так густо, так напористо, что некуда было бросать срубленные молодняки,— мы с трудом засовывали их или вплетали между стволами. Лошади ступали средь ощетинившихся

острых пней-торчков уж очень осторожно, медленно, так что, наверное, черным воронам-пронырам, летающим над нами, караван казался гигантской лохматой гусеницей. Мы ползли словно в глубоченной узкой пропасти. По бокам — прижимистое скопище коричневых «шестов», впереди — метельчатый хвост лошади, судорожно отгоняющий прилипчивых оводов, вверху — сумрачная полоска серенького неба. Шли молча — ни криков, ни упреков, лишь беспрерывная стукотня топоров.

Не знаю, каким чутьем угадывал проводник направление — компасом он не пользовался, да и рискованно было довериться этому помощнику, потому что стрелка истерично вихлялась от намагниченных пород. Все же к вечеру мы пробились к заветной стоянке, намеченной начальником партии. Засветло успели высушить одежду, натянуть палатки.

Густейшие пихтовые заросли тоже доставляли в походах немало мучений.

Иван Иваныч затратил много энергии, терпеливо показывая всем новичкам, как правильно подгонять к седлам вьюки. Во-первых, поучал он, потники должны быть совершенно сухие, абсолютно чистые и чтоб лежали на спине лошади ровно, без складок и заворотов — иначе появятся болезненные, кровавые натертости. Во-вторых, все парные вьюки необходимо строго подбирать одинаковыми по весу, укладывать имущество компактно, туго, чтоб груз не раздавался в ширину. Небрежный вьюк непременно зацепится о торчок сука и сползет. В-третьих, ничто: ни одна веревочка, ни один ремешок — не должно мешать спокойному движению лошади.

И хотя все полевики прекрасно понимали, что от соблюдения этих незыблемых правил зависит успех переходов, а следовательно, поиски полезных ископаемых и геологическая съемка, однако молодые, задорные пихты то и дело задерживали нас в пути. Их широкие, змеистые ветви нависали над землей сплошными пологами, упруго хлестали по вьюкам, которые в конце концов сваливались. Караван останавливался.

Часто лошади застревали между рогульчатыми ветвями, освобождать их из цепких, путаных капканов было не так-то просто.

— Ну и таежка, гром ее расшиби! — ворчал Иван Иваныч.— Как есть форменная удавка. Того и гляди, конягу за брюхо подвесит.

Но самыми опасными, самыми страшными были завалы из могучих древесных стволов, которые когда-то обгорели. Заклеклые, звенящие громадины, поверженные бурными шквалами ветров, лежали в таком фантастическом беспорядке, что невольно казалось, будто рассвирепевший, всесильный хозяин тайги специально загромоздил нам путь неприступными баррикадами. Свинцово-серые и черноугольные необхватные лесины растянулись то в одиночку, то перепутанно скопились высоченными грудами. Они вздымали навстречу каравану острые, костистые ветви-руки, заслоняли проходы корявыми, окаменевшими щупальцами-корнями. Даже человеку порой невозможно было протиснуться сквозь эти мрачные заслоны, ощетинившиеся пиками-копьями, рогулинами.

Путь через горелые буреломы был долог, извилист, мучителен. Опытная лошадь подходит к гладкой колодине, фыркает, тревожно прядает ушами, долго обнюхивает и, успокоившись, осторожно переставляет ногу.

Если это не удастся, она пятится и, напружинившись, перепрыгивает плавным махом. Но не всегда даже привыкший к таежным превратностям конь может безболезненно преодолеть колодину. Потеряв равновесие, он спотыкается и падает мордой о землю. Хорошо, если поблизости чистое место. А ведь кругом торчат крепкие, острые, занозистые проторочины от сломанных суков. Да еще мешают оводы.

Лошади шарахаются от их укусов, теряют осторожность.

Помню молодую, умную, деликатную кобылицу Звездочку. Она была гордостью Иван Иваныча — не ленилась, не артачилась, ходила под вьюками степенно, вдумчиво, как человек. И вот жуткая, роковая судьба: Звездочка упала на кинжальный торчок сушины. Кровь... Душераздирающее предсмертное ржанье... Помутневший жалобный взгляд... Иван Иваныч вскидывает карабин... Выстрел... По волнистой бороде проводника ручейками струятся слезы...

Да, четверть века промелькнуло с той поры, как я работал у стыка двух Саян. Многое теперь забыто. С ранней весны до глубокой осени мы только и знали: торопливо двигались вперед, прорубались через чащобы, спешили. Один раз в неделю шли все вместе — караваном, перевозили палаточный лагерь на новую стоянку.

В остальные дни попарно разбредались среди гор, занимаясь полевыми геологическими делами.

С годами выцветают, затушевываются подробные детали таежных кочевок и маршрутов, но что-то остается, что-то невольно застревает в глубинках поседевшей головы.

Хоть и говорят мудрые старики: хорошему края нет, а плохое маленькое помнится, я не согласен с этим. Впрочем, каждому свое. У меня же почему-то ютятся в памяти лишь самые яркие, самые необыкновенные события, разумеется, с моей точки зрения.

Однажды нам выпал тяжелый день. Мы должны были пересечь верховое болото. Начальник партии долго разглядывал карту, Иван Иваныч задумчиво теребил бороду, пытаясь выбрать удобное направление, но иного, лучшего пути не предвиделось.

Мы благополучно миновали кедровую редину с белокорыми березами. Перед нами расстилалась плоская, прозрачная тайга с уродливыми, тщедушными деревьями, увешанными лохматыми космами мертвенно-тусклого, желтого лишайника. Вдоль медлительных ручейков, средь черных, вспученных осколков породы снежными хлопьями серебрились густые куртинки сибирской камнеломки с рубиново-красными стеблями. Но и они, эти упорные, жизнерадостные цветочки, не могли всколыхнуть угрюмость пейзажа.

А дальше становилось все хуже. Кедры сменились скорчившимися, угнетенными лиственницами. Высохшие, опаленные солнцем и морозом, они торчали средь бурой, кочковатой равнины, как черные призраки. По шатким холмикам пластался цепкий стланик карликовой березы — фиолетовый, жесткий, упругий, перепутавшийся рулонами колючей проволоки. Лошади то и дело спотыкались, вьюки сползали на шею.

Низина постепенно сгладилась, стала плоской, коричневой, словно подгоревшая геологическая лепешка. На буйной, ворсистой поверхности потемневшего древнего мха стелились круглые широкие листья сетчатой ивы, ствол и ветви которой прятались в глубине.

Вооружившись длинным шестом, Иван Иваныч долго бродил по болоту, отыскивая безопасный проход, нащупывая смутные неясные прорехи земли, замаскированные шаткими наплывами сфагнума. Он расставил вешки, строго предупредив всех, чтоб никто не сбивался

с тропинки. Но едва караван тронулся, как одна лошадь по брюхо увязла в хлипких, вязких зарослях.

И началось, и началось...

Липкая жара. Липкие пауты и комары. Липкие, раскиселившиеся провалы... Вскоре весь караван — и лошади, и люди, и вьюки так обляпались прокисшей, вонючей грязью — горько и смешно было смотреть.

Когда молодой рабочий по кличке Чума, выбившийся из сил, вдруг разразился истеричным припадком, начал сыпать чудовищные проклятия, Иван Иваныч гневно положил на его вздрагивающие плечи тяжелые, широченные совки-ладони.

— Утихомирься! Не будоражь болотину черησловьем! Не сей напрасные поклепы! Загубит, вглыбь утянет! — Проводник поправил охотничий карабин и, натужженно высвобождая из хваткой трясины сапоги, вихлясто, с гулким чавканьем пошел искать непровальный брод.

Наступило гнетущее молчание, как будто и вправду коварное болото представлялось каждому живым существом, которое нельзя обижать. Я понял тогда, почему рождаются суеверия. Меня тоже сковал страх, мне казалось, что перед нами дремлет старая гигантская медуза, лохматая, ржаво-бурая, злая. Щупальца спрятала в глубину, вот-вот проснется, намертво сожмет кого-нибудь в тиски-объятия и утащит под воду.

К нашему счастью, верховое болото оказалось мелким, а дно упористым, каменистым.

Измызгавшись с ног до головы плесневой грязью, мы наконец ступили на закраину сухого холма. Исчезли зеленые бусины клюквы, погасли желтые звездочки морошки.

Все вздохнули с облегчением, хотя перед нами выросли настоящие дремучие дебри.

Иван Иваныч с топором и карабином исчез в ветвистой чащобе отыскивать пролазы для каравана. Вернулся он довольно скоро. Его черное лицо, заляпанное ошметками тины, щерилось белозубой улыбкой.

— Ну, братцы-солдатцы, теперь можем передохнуть малость! К вечеру кашу есть будем али уху из хариусов. Тут недалече такая тропа тянется — широкая, торная, материковая. Форменный саянский тракт! Зюбры специально протоптали прямо к нашей реке.

Тропа действительно оказалась на славу — чистая, разгонистая, без каверзных препятствий. Огибая крутые

скальные выходы, лавируя между толстенными стволами вековых кедров, она змеисто петляла средь горной тайги. Но идти по ней было приятно, легко. Звери не ломились наобум, учитывали каждую пологую ложбину, каждый удобный откос, как будто направление трассы прокладывал опытнейший топограф-изыскатель, вооруженный теодолитом и нивелиром. Сколько ж сотен, нет, десятков тысяч маралов, сокжоев, лосей, косуль поднялось по этой дорожке к снежным хребтам, на привольные альпийские луга!

Лошади весело потряхивали головами. На все лады звенели, дребезжали, динькали железные погремушки — ботала, привязанные к их шеям. Любопытные кедровки-жемчужницы порхали над караваном, дополняя ритмичную походную музыку восторженным «крэканьем». А вдоль звериной магистрали, по ее высоким обочинам, устеленным коричневым одеялом опавшей хвои, вразбежку стояли могучие, буйные кусты, полыхающие крупными красными цветами.

Я предоставил своей кобыле полную свободу, а сам поспешил к неведомым растениям саянской тайги.

Эти кусты ярко зеленели между медно-розовыми колоннами необхватных кедров, выбирая широкие прогалины, куда струился призрачный, тусклый свет. Влажные, синие потемки чащобы им не нравились. Они упрямо тянулись к голубому небу, к солнечным лучам.

Каждый куст походил на скопище тонких, длинных прутьев. Гладкие, круглые, густо-фиолетовые, они напоминали остров эвенкийского чума, вершина которого упиралась в землю. «Опрокинутый чум» был увенчан пышными, необыкновенно эффектными куполами крупных перисто-рассеченных листьев. Узкие, остроконечные перья-листья срастались между собой, свешивались вниз резными сизовато-изумрудными веерами. А среди них, на макушке каждой рогульчатой ветки, широкой пятилепестковой короной рдели большие пурпуровые «розы».

Я стоял под громадным шаром цветущего куста, не в силах оторвать взгляда от его магической, притягательной красоты. Тонкий, своеобразный аромат, смесь луговой ромашки с чабером, приятно щекотал ноздри.

Опомнившись, я поднял над головой длинный геологический молоток и несколько раз обошел вокруг дикого саянского пиона. Высота его была два с половиной мет-

ра, а размах круглого купола полтора метра! Где, в каком парке мира можно было б любоваться таким чудом?!

Не чувствуя усталости, забыв про мучительный болотный брод, я подбегал к каждой нарядной душистой колонии, напоминающей ажурный парашют. Иногда мне попадались кусты-альбиносы, с чистейшими белоснежными бутонами.

Растянувшись гуськом, торопливо шагали по звериной тропе мокрые, грязные лошади. Шагали по узкой аллее из дымчато-розовых кедров и огненно-красных пионов. Спешили к чистой речной воде, к сочным луговым травам.

А мне не хотелось уходить из этого дивного закутка безбрежного зеленого моря. Но задерживаться, отставать я не имел права — таков закон геологической жизни.

Среди буйных, размашистых кедров появились тонкошпилистые конусные пихты, вклинились пушистые лиственницы, запестрели длиннокосые березы. Аллея из диких пионов кончилась...

Я присел на каменистый взгорок и долго смотрел в сторону пройденного пути. В голубоватом смолистом тумане цветущие кусты диких пионов казались мне неугасными застывшими ракетами торжественного праздничного салюта.

В темной чащобе разнолесья скрылся караван, заглохла походная, бубенцовая музыка.

Прощай, непуганая, первозданная сказка!

Когда мы устроили лагерь, вымыли лошадей и вьючные сумы, когда все уселись вблизи костра под защитным навесом дыма, блаженно потягивая чай, я подал Иван Иванычу всего лишь один цветок, засунутый на память меж листами полевого дневника.

— Так это же марьин корень! — ответил проводник.— Он завсегда растет по закрайкам торных стежек. Любит сопровождать зюбрей, как репейник — человека. Зюбр — гордый, красивый зверь. И безобидный к тому ж. От него тайге вреда нету. Потому и спутница у него такая красивая — Марья-дикарушка. А наш брат человек — тьфу, прости меня господи!.. Вот мы кочуем и только одно делаем — рубим, ломаем, жжем. Человек — уничтожитель природы. К человеку сама по себе липнет покамест одна дурнина — крапива, лопухи, лебеда, чертополох...

КОЧЕВНИЦА СКЕРДА

Когда начальник партии Владимир Гаврилович Богомолов принимал меня в Саянскую экспедицию, он сказал:

— Самое главное для геолога — крепкие, выносливые ноги и, разумеется, хорошая голова. Конечно, хорошая, умная голова нужна всем специалистам, но это не зависит от желания человека. Чем природа наградила, на том и спасибо. А вот с больными, слабыми ногами в горах делать нечего. Самое серьезное внимание обратите на обувь. Для маршрутов и переходов получите у Сидельникова резиновые сапоги с длинными голенищами. И обязательно три пары шерстяных портянок. Одной парой укутайте ноги, только не забудьте купить простые носки. Вторую непременно таскайте в рюкзаке — на всякий непредвиденный случай. А запасные храните в лагере. Ноги всегда беречь нужно от сырости и холода. Получите еще новые кирзовые или кожаные сапоги. Вернувшись из маршрута, скидывайте резиновые, хорошенько мойте ноги, чтобы раскупорились от пота все клетки, и переобувайтесь. Тапочки можете не брать. В саянской тайге полным-полно гадюк. Не забывайте об этом. Береженого бог бережет.

Все дружеские советы Владимира Гавриловича — опытнейшего геолога-полевика — были мною учтены.

И вот я хожу в тяжелых резиновых сапогах. Они просто незаменимы. Утром буйные саянские травы покрываются обильной студеной росой, которая долго держится под деревьями. Часто приходится переходить через гремучие горные речки, а вода в них ой-ой какая — из-под ледников течет. Резина то накаляется от горячего полуденного солнца, как металл, то делается от болотной хлюпи нестерпимо стылой. Но я не чувствую резкой смены температуры — мои ноги заботливо укутаны в теплые, шерстяные лоскуты.

Знать, недаром кутается в «портянки» и сибирская кочевница скерда.

Обычно наши опорные лагеря в Саянах располагались на приметных местах — у больших речек, чтоб легче найти палатки, чтоб никто не заблудился. Ведь почти каждый день мы подымались к вершинам хребтов, изучая выходы коренных пород, промывая до серых шлихов песчано-галечные отложения встреченных водотоков.

И всюду нас приветствовали крупные корзинки ярко-желтых язычковых цветов скерды. Если, например, мно-

гие травы поселяются лишь в своих избранных угодьях — на сухих скалистых выступах, по моховым болотам или только в теплых низких поймах, то смелая путешественница скерда карабкается по каменистым склонам гор до буйных альпийских лугов, до самой кромки вечных снежников. Чтоб не перегреться на горячем солнцепеке, чтоб не простудиться от колючей росы-студеницы, от сердитых буранов и жгучих, подледных струй, она обмотала золотую корзинку соцветий двумя рядами пушистых черноволосых «портянок».

Кто знает, быть может, наши неугомонные предки-кочевники позаимствовали портянку у смелой травушки-муравушки?! И потому те геологи, которые следят за своими ногами, не стонут от ревматизма, не корчатся от радикулита. Для геологов, работающих в Сибири, как и для сибирской скерды, портянки — незаменимая принадлежность.

ВОДОСБОРЫ

Всюду — и на влажных долинах рек, и на сухих закрайках тайги, но особенно в пестрых лугах Саянских гольцов нам встречались водосборы. Долговязые, стройные, они всегда подобострастно изгибали вершинки тонких лиловых стеблей, увешанных крупными цветками, И потому напоминали таинственные вопросительные знаки, смысл которых был понятен только им. Может, они по-своему интересовались: «Зачем вы пришли? С добрыми или злыми намерениями?»

Ножка водосбора прочная, с нарядными узорными веерами: три «дубовых» листка, прижатых друг к другу. А выше листья уже иные: длинные, ровные, округлые.

Чтоб посмотреть водосбор в лицо, надо распрямить его лебединую шею. И тогда вы увидите пятилучевую звезду с темно-голубыми лучами, настолько яркую, что даже чистое горное небо кажется по сравнению с ней тусклым, невзрачным. К голубой остроконечной звезде припаян аккуратный голубенький цветок, похожий на алтайский лютик. В центре его лепестков золотятся пушистые тычинки. Ну, а когда он согнется вопросительным знаком, то перед вами появятся пять голубых уточек. Подняв белые шеи, они уставятся друг на дружку желтыми носиками.

Сибиряки зовут водосборы лазурниками, голубынь-

цветками, а за птичью осанку вытянутых шпорцев — орликами. Ботаники же окрестили водосбор аквилегией. Оказывается, у этой аквилегии по сравнению со многими травами есть особая привилегия: она собирает в лепестки-воронки град, снег, росу, дождевые капли и потому гнется под тяжестью воды. Одним словом, настоящий водосбор!

Настоящий-то настоящий, но, увы, не самый главный. В царстве водосборов саянской тайги имеется непревзойденный чемпион — орел средь орликов! — синяя жимолость.

Полевой сезон оказался гнилым: нас доконали, замучили дожди. А что такое дождь в лесу, когда волей-неволей обязан выполнить маршрут, заданный начальником партии,— и вспоминать-то противно. Это — тройное бедствие. Сперва ливень хлещет с косматых черных туч, затем попадаешь под душ мохнатых сибирских елей и щетинистых кедров, а тут еще трава при каждом шаге обдает густым каскадом холодных брызг. Бррр... Мурашки прыгают по телу!..

Но выглянет солнышко — любо, мило идти. Обсохнут деревья, кусты, травы, не липнет к спине заклеклая брезентовая «роба».

Потеряв от радости бдительность, пересекаешь упругие заросли твердоломкой синей жимолости. И все: пропало благодушное настроение! На ее сизых пушистых листьях всегда скапливаются крупные четки дождевой воды. Спрятавшись от солнечных лучей в густые шерстинки, они терпеливо подкарауливают геологов, чтоб мгновенно с ног до головы окатить веселым, радужным фонтаном. От этих красивых, искристых фонтанов мы ежедневно возвращались к биваку промокшими до нитки.

ПОКОРИТЕЛИ СКАЛ

Разве знал я перед поступлением в горный институт, что геологу-съемщику, геологу-поисковику суждено работать не только ногами, но и спиной? Ну что ж: не умеешь вышивать золотом — ворочай молотом. Каждому на земле свое: космонавтам — заслуженные, почетные награды; артистам — букеты живых цветов; геологам — обширные брезентовые рюкзаки, набитые всякими каменьями.

Маршруты в саянской тайге были особенно муторными. Сложное строение рельефа, путаное разнообразие всевозможных горных пород. Да что там говорить — мы всегда возвращались с работы согнувшись в три погибели от непомерной клади, пропотевшие, взмыленные, как вьючные лошади.

Начальник партии Богомолов требовал при составлении карты веских, проверенных доказательств. Беспощадно отметая красивые, логично построенные, но голословные гипотезы опытных инженеров-геологов, он радостно соглашался с любым коллектором, если тот подкреплял свои робкие, неумелые выводы строгими фактами. Вот почему я старался документировать коренные обнажения как можно детальнее; вот почему скрупулезно отбирал образцы горных пород. Но спине от этого было мало удовольствия. Она корчилась под тяжестью пузатого рюкзака, ныла, протестовала.

Однажды вокруг небольшой гранитной интрузии мне попалась интересная зона измененных пород. Среди тускло-серых, плитчатых сланцев яркой майской травушкой зеленели кристаллические щетки эпидота, медово-желтыми каплями сверкали граненые шарики гроссуляра. То и дело золотыми искорками вспыхивали под молотком хрупкие кубики пирита. Я очень увлекся работой, набивая рюкзак мешочками с красивыми минералами. Вся эта коллекция, несомненно, пригодится для познания геологических закономерностей.

Распалившись от азарта, я сперва не чувствовал особой тяжести рюкзака. Но проклятые горы оказались очень крутыми. Из-под сапог предательски вывертывались шаткие, скользкие камни. Кое-как мне удалось спуститься в пологую котловину. Идти стало безопаснее. Однако с каждым шагом спина клонилась все ниже и ниже. Мягкие лямки рюкзака въедливо резали плечи, ноги гудели.

Иногда я останавливался, раздумывая, что бы лишнее вышвырнуть вон. Перебирал, взвешивал мешочки с образцами, заново перечитывал в собственном полевом дневнике описание интрузии. Нужно непременно освободиться от лишней клади. Но, увы, каждый отобранный монолит был строго «привязан» к определенному поясу приконтактового, зонального метаморфизма. Нет, я не имел права выкинуть ни единого камешка! А спина требовала. Не по силам была ей такая тяжесть.

Так что же делать? Эх, запутался ты, геолог, как ветер среди деревьев...

Наконец созрело спасительное решение: надо выбрать в тайге приметную, высокую скалу и оставить часть груза, чтобы потом за ним вернуться.

Кстати, впереди замаячил темный конус — наверное, останец круто падающего штока очень крепкой изверженной породы. Спина облегченно выпрямилась, ноги засеменили быстрее.

Подойдя к скале-отшельнице, я скинул рюкзак и принялся колотить молотком по ее ребристому выступу. Да, действительно, это был останец зеленовато-серой кристаллической породы, похожей на диорит. Пришлось отбить несколько образцов для петрографических исследований. Рюкзак заметно потяжелел.

Чтоб расшифровать геологическую историю одинокой скалы, торчащей среди кедров, я принялся замерять горным компасом азимуты отдельностей, направление ориентировки крупных минералов, шлировых скоплений и так далее и тому подобное. Короче говоря, занимался обычной полевой документацией коренного обнажения.

Вздыбленный палец интрузивного останца, отполированный в течение многих веков морозом, солнцем и ветром, был совершенно голым, вызывающе мрачным. Он утопал в путаных лохмотьях какого-то странного папоротника с рыжим, войлистым исподом резных листьев. А дальше, в темноте сырой, хвойной подстилки, скупо пестрели хилые цветки заячьей капусты.

Обходя мертвый, стылый утес, я вдруг невольно остановился, пораженный необыкновенным зрелищем. Вся южная крутобокая сторона его была увешана ярким, контрастно-эффектным, сетчатым ковром из крученых ветвистых петель, густо усыпанных круглыми, рассеченными листьями. Эти лохматые тройчатые листья напоминали куропачьи лапки. Цепляясь за шероховатые выступы, ныряя в узкие трещины, зеленые пушистые лапки-листья упрямо карабкались к вершине скалы. А над ними, на тонких ворсистых стебельках, покачивались красно-фиолетовые колокольчики в черноволосых кувшинистых обрамлениях. Цветки-малютки, цветки-звездочки даже на тупых отпрысках ползущих побегов сжимались метельчатыми скоплениями. В середине же глубоких трещин они сливались сплошными ручейками.

Бесшумно текли, причудливо извивались дрожащие фиолетовые ручейки, резко сворачивали ломаными зиг-

загами и вдруг хлынули белокипенным водопадом на черную землю. Казалось, чистейший пухлый снег устелил подножье одинокой скалы. Это были те же колокольчатые цветы, столпившиеся куртинками среди бархатных, смолистых подушек мха, те же — только белые.

Долго я разглядывал слабенькую саянскую травку, которая посмела бросить дерзкий вызов крепчайшим камням. Без отбойных молотков, без детонаторов и взрывчатки она сумела одолеть неприступную отвесную твердыню. Сколько ж гордого упорства, неистощимого терпения и настойчивости в этом растении!

Название пришло само собой — ведь я часто слышал от геологов рассказы о камнеломках. Слышал, но не верил. Теперь же увидел ее героический подвиг собственными глазами.

Да, это — чудо! Занесет ветер крохотное семечко в тончайшую трещинку гранитного или базальтового надолба, выпустит желтенькую ниточку-буравинку — такую нежную, такую хиленькую — пальцем расплющишь. Но трепетная, пульсирующая жилка-паутинка неутомимо разъедает, неумолимо ломает даже кремнистые камни. Потому и цветет камнеломка густо, ярко, словно торжествует победу над холодными, мертвыми творениями природы.

Я сорвал несколько фиолетовых колокольчиков, положил их в спичечный коробок, бережно запрятал в карман полевой сумки, чтоб не помялись, и, взвалив на спину тяжелый рюкзак, медленно побрел к лагерю. Нет, я не имел права оставлять образцы возле скалы. Возвращаться за ними — это значит потерять день работы.

Когда Иван Иваныч помогал мне снять рюкзак, добродушное, «апостольское» лицо его сделалось сердитым.

— Да ты што? Аль кашкары объелся? Совсем одурел от своих булыжников! Этак хребтину можно переломить, живот надорвать! Ах ты дьяволенок кургузый! И откуда такая сила взялась?

Подошел Владимир Гаврилович, хотел поднять рюкзак и не смог.

— Ну и ну! — промолвил он. Затем вынул несколько мешочков, стал придирчиво разглядывать мои образцы.

— Интересно! Очень интересно! — повторял начальник.— Да, да, очень интересно! Иван Иванович, сделай-

те на сей раз одолжение — перестаньте ругаться. Придется на завтра освободить его от работы. Пусть отдыхает, хариусов ловит. Он заслужил это. А мне впредь наука: больше не позволю ему ходить в маршруты без напарника. Ишь ты, Бова-силач нашелся! И как только доволок такую тяжесть! Уму непостижимо.

ОРХИДЕИ

Я всегда мечтал о тропических джунглях Африки и Южной Америки. Мне хотелось повидать не диковинных животных, а необыкновенные чудо-цветы — орхидеи. Но не довелось, к сожалению, мне там побывать и уж, пожалуй, никогда не доведется.

И все-таки я видел их, видел в саянской тайге.

Вот уже четверть века прошло с тех пор, как я любовался ими, но они все еще стоят перед моими глазами — незабываемые творения природы. И описать-то человеческими словами их невозможно.

На тонком, атласном стебельке-соломине, обернутом широкими листьями, покачивались золотые с коричневым кантом царские черевички кузнеца Викулы.

Прямо в грудь мне упирались прозрачно-белые, хрустальные туфельки Золушки, усыпанные густо-багровым, узорчатым крапом.

Сгибаясь от ветра, как будто шлепали по земле бархатисто-пурпурные лапотки-самотопы.

При виде этих необыкновенных цветов мне хотелось сбросить жесткие, литые из тяжелой резины сапоги, надеть эти живые сказочные ботиночки-скороходы и лететь, лететь по Саянским хребтам. Ведь каждая сибирская орхидея широко развевала над уютным, глубоким носком своей «обувки» длинные, волнистые крылья, разукрашенные тончайшими сеточками.

Вот и все. И нечего больше добавить. Разве назвать подлинное имя саянских орхидей? Ну так знайте: зовут их «венериными башмачками».

ХИЩНОЕ РАСТЕНИЕ

Владимир Гаврилович прикрепил ко мне в качестве маршрутного рабочего огненно-рыжего парня, имени которого я не запомнил. Да и никто в партии не величал его по имени, а звали Чумой,

Высокий, стройный, широкоплечий, Чума обладал непревзойденным аппетитом и богатырской силой. Круглое, губастое лицо; большой редкозубый рот, просмоленный никотином; массивный подбородок, выдвинутый вперед; толстый нос, похожий на картофелину, и маленькие, как у медведя, глубоко скрытые глазки. Вот броские штрихи его портрета. А волосы были роскошные: густые, кудрявые. Они напоминали буйное скопище сибирской купальницы.

Чума неотлучно носил за спиной двуствольное ружье, а на боку — громадный самодельный кинжал в кожаном футляре. Как только наш караван прибывал на новое место, он бросал свою лошадь и убегал в тайгу. То и дело раздавались азартные выстрелы. Но или ружье у него было кривое, или глаза косые, Чума, как правило, всегда «мазал». А палил он без разбора — в белок, бурундуков, соболей, дятлов. Чума не мог спокойно смотреть на живность. Все, что бегало, плавало, летало,— все вызывало в нем лишь одно радостное желание — убить...

Владимир Гаврилович пытался было деликатно пристыдить парня, чтоб он «образумился», но тот лишь смеялся.

Однажды он торжественно бросил у костра изрешеченную дробью глухарку.

— Да что ж ты, гадина, делаешь? — вскипел Иван Иваныч.— Глупость свою тешишь — и только. Разве можно летом стрелять копалух? Ведь они с выводком ходят. Пошевели мозгами, подсчитай, сколько цыплят ты загубил? А-а?

— Го-го-го!..— ответил Чума.

И вот мне предстояло идти с Чумой в многодневный маршрут.

Мой спутник готовился к походу основательно: до блеска вычистил двустволку, патронташ набил медными гильзами с пулями (для медведей), во все карманы рассовал «дробовые гостинцы» (для птиц и зверушек). Глядя, как он хлопочет, Иван Иваныч с ухмылкой поглаживал бороду.

Мы благополучно миновали пойменное буйнотравье, пересекли густую, корявую чащобу прибрежной закрайки тайги. На горбатых склонах вздыбились голубые конусы пихт, перемешанные с бронзовыми стволами кедров. И сразу же к нам подлетели три белокрапчатые птицы, закаркали нудно, истошно.

Чума вскинул ружье.

— Ух, не терплю этих проклятых горлодранок! — выругался он.

— Почему? — спросил я. — Ореховки никому зла не делают. Наоборот, помогают расселяться кедрам.

— Стервы они отъявленные! Косуль, кабаргу, маралов — всех зверей предупреждают, как увидят человека с ружьем. Сволочная птица — охотиться мешает.

Чума прицелился, однако выстрела не последовало. Видимо, что-то заело в курках.

Нахмурившись, парень сел на буревалину, вынул из футляра остро наточенный кинжал-тесак, молча принялся разбирать механизм. Шурупчики, гайки, пружинки он складывал в накомарник. Но как-то неуклюже повернулся, зацепил вуаль и все части разлетелись, рассыпались горохом.

Долго мы ползали по мшистым подушкам, собирая железную мелочь, — да разве можно отыскать иголки в стогу сена?

Побагровев от ярости так, что цвет его лица слился с рыжим фоном волос, Чума шмякнул прикладом о ствол дерева. Погнутые стволы и обломки ружья он запустил в бурундука, который вылез из норки, чтоб посмотреть на неведомых двуногих таежников.

Из-за этого глупого происшествия мы потеряли часа три. Правда, достигли предгольцовой кромки леса к полудню, однако подыматься в горы я не решился, иначе нас могла бы застигнуть холодная темнота где-нибудь среди голых скал. Без костра в Саянах не выспишься — закоченеешь. Обнаженность пошла хорошая, непрерывная, скомкать геологическую документацию я не имел права.

Часа через два, к великому удовольствию моего мрачного напарника, я объявил привал. Мы постелили себе мягкую перину из свежих пушистых веток лиственницы, натянули тент от росы и дождя, заготовили для надьи жарких, смолистых бревен. И все равно до вечерней зари свободного времени оставалось много.

Увидев средь курумника пищуху, Чума вырубил толстый дрын и побежал «охотиться».

Я был очень рад, что ружье у него сломалось. Может, и не сломалось, может, устроил это Иван Иваныч. Его лукавая ухмылка почему-то запомнилась мне. Но я затаил свою догадку. Когда-нибудь при случае спрошу проводника.

От нечего делать я решил прогуляться вдоль шумливой речушки. Ее холодные прозрачные воды спадали с каменных карнизов белыми каскадами. Чем выше я подымался, тем приятнее, веселее было идти. Вскоре крутые берега речушки-светлянки, речушки-попрыгуньи запылали такой дивной россыпью цветов, что я невольно зажмурился от их яркой, праздничной пестроты. Повеяло доброй, умиротворенной беззаботностью, словно я был не геолог, пришедший стучать молотком по горным обнажениям. Вспомнилось босоногое детство. Вспомнился тучный, майский луг близ Еремеевой дубравы, куда мы бегали собирать сочные ароматные побеги дикого аниса, лакомиться медовыми головками белого клевера, кислыми листьями щавеля.

Повсюду, куда ни бросишь взор, будто мохнатые ночные бабочки, кудрявились темно-голубые и синие-пресиние гофрированные колокольчики алтайской горечавки. Средь желтых бутонов махровых лютиков пластались фиолетово-бархатные лепестки душистой фиалки. На плюшевых лоскутах оливково-зеленого мха, облекающего каменные плиты, краснели, белели, розовели крупные метельчатые колоски мытника. Попадались и малиновые, и сиреневые, и золотистые кисти мытника, и нежно-пунцовые, и лилово-алые. Даже не верилось, что одно и то же растение способно рядиться, как влюбленная девушка. Чудилось, будто веселая речка вымыла, вынесла из подземных хоромов Саянки-волшебницы все радужные сокровища-самоцветы. Вымыла, выплеснула щедро на тугой, ворсистый ковер мха, чтоб сверкали, как в малахитовой шкатулке.

Привычная, календарная весна уже давно кончилась, а тут, в преддверьях мрачных гольцов, вовсю полыхали, празднично хороводились яркие травы. Даже не верилось собственным глазам — ведь на своей родине, под Ельцом, я таких див не видывал в июне.

Ну, а что за цветы растут выше, вдоль речной террасы?

Я поднялся на пологую, ступенчатую площадку. Здесь картина была уже иная. Мощные, рыжие наносы глинистой почвы были покрыты корявыми лохмотьями блеклых лишайников, бурыми плешинами мха, хилыми стрелочками болезненно-желтой осоки.

Возле охристой лужи застойной, болотной воды мне попалось невероятнейшее чудо-юдо природы — альпийская жирянка. Длинные грязно-зеленые листья ее, гру-

бые, мясистые, с круто загнутыми вверх краями, походили на желоба, корыта, лодки. Они пластались на чахлой, мшистой подстилке тугими, компактными розетками. Собранные близ корня в лучистый пук, листья-корыта, листья-лодки лежали спокойно, не шелохнувшись, как щупальца утомленных морских звезд. Их поверхность лоснилась кичливо броско, точно была намазана густым слоем потемневшего сливочного масла. Круглые капли прозрачной липкой жидкости поблескивали на солнце красивыми, жемчужными росинками. Над дремлющими звездами-розетками игриво мотылились от ветра белые растрепанные колокольчики, одиноко возвышающиеся на длинном лиловом стебельке. Среди чистых овальных лепестков в глубине зева приветливо золотилось яркое желтое пятно. От каждого колокольчика топорщилась клювастая шпора. Это было хищное насекомоядное растение.

Я присел возле лучистой розетки с цветками-приманками и терпеливо стал ждать, как трава-жирянка будет расправляться с пойманной добычей.

Вот над вздрагивающим колокольчиком закружилась бабочка с лазоревыми крылышками. Сунула хоботок в желтую сердцевину белого цветка, не понравилось, улетела к островкам полярных маков.

Вот появилась дородная сизая муха — любительница мяса. Покачалась на тонком гибком стебельке, заметила скопище «жира», который соблазнительно блестел на дне листа-лодочки,— и сразу же юркнула туда. Хотела полакомиться духопряной слизью, да не удалось: все лапки-мохнатки увязли в густой клейкой приманке. Судорожно забилась плененная цокотуха, пытаясь вырваться из цепкой трясинистой ловушки. Заныла печально, гнусаво, истерично принялась размахивать крыльями, чтоб взлететь. Но и крылья вскоре намертво прилипли.

А листок встрепенулся, точно живое создание. Медленно-медленно сжимал он свои борта, загибаясь трубкой. К бедной мухе, подобно хоботам слонов, потянулись головчатые щетины-волоски. Они источали прозрачные бисерины вязкой жидкости.

Все! Теперь зеленый лист превратился в... желудок. Теперь болотное растение будет выделять уже иной сок, жгучий, разрушительный, как едкая щелочь, способный за несколько часов переварить насекомое, оставив лишь «рожки да ножки» — тугие чешуйки хитина.

Соседние листья-вампиры по-прежнему лежали спокойно, как будто никакой трагедии не случилось. Они сочно, аппетитно, словно масленые оладушки, лоснились янтарным клеем, терпеливо поджидали новую жертву. На их лаковой поверхности пестрели остатки былого пиршества: серые носы комаров, красные панцири божьих коровок, коричневые челюсти двухвосток-уховерток, тонкие кривые ходули пауков. Не знали эти насекомые, что под миловидным, беленьким цветочком таится фантастический гибрид зеленой травы и страшного, хищного зверя.

Наблюдать за жирянкой больше не хотелось, да и пропало желание бродить среди горечавок, майников, лютиков.

Когда я вернулся к привалу, мой спутник мелкими глоточками потягивал из кружки какую-то густую черно-коричневую жидкость.

— А-а, дорогой начальничек, давай почифирим. Я сварил кашу с консервами, ждал, ждал, да все и умял с горя. Теперь вот поминки по милому дробовичку справляю. Жалко все-таки. Сколько денег коту под хвост бросил. Лучше б старую, проверенную тулку купил. Скрипучее дерево два века живет. Да вам-то что! Чужую беду — рукой разведу. Вот хлебните, дорогой начальничек, свеженького чифирку.

От чифира я отказался, но когда хотел вскипятить себе нормального чаю, то пришел в ужас: парень пустил на «фирменный напиток» всю заварку, которую мы взяли в многодневный маршрут. Вдобавок он съел четыре большие банки тушенки, оставив мне только гречневую кашу, сахар и немного сухарей.

Запланированная работа срывалась. Как же идти без продуктов?

Я молча сварил постной каши, выпил сладенького кипятка и лег спать. Возмущаться было бесполезно и упрекать тоже. Нахал есть нахал. А утро вечера мудренее.

Чума всю ночь сидел у костра, разговаривал сам с собой, время от времени потягивая «стимулирующий напиток». Он так и не лег.

Возвращаться в лагерь я передумал: засмеют зубоскалы да и Богомолов не одобрит. Ведь геологи не отступают перед трудностями, не бросают намеченных маршрутов.

Наш путь лежал через безымянное горное озеро. А в

моем походном рюкзаке всегда хранилась железная коробка с лесками, блеснами, свинцовыми грузилами и всякими крючками. Придется надеяться на рыбу — авось что-нибудь поймаю.

Чума следовал за мной покорно, как нитка за иголкой, был весел, бодр, подчеркнуто вежлив. Словно старался загладить вчерашнюю провинность.

ЦИРК

Документируя встречные обнажения, отбивая необходимые образцы, мы постепенно пересекли голую, скалистую холку хребта и, протиснувшись через густой пихтовый лес, оказались в тихой котловине. На дне этой впадины ярко голубело озеро, окаймленное желтой песчаной подковой. За озером кудрявились кедры, над ними разноцветными огнями сверкали влажные массивы цветущих лугов. Это был огромный цирк, несомненно выпаханный ледниками. Они, как плотиной, преградили крутой мореной путь талой воде, которая постепенно заполнила каменистую чашу. Из озера вытекала только одна речка, бесновато перепрыгивавшая через хаотическое скопище громадных валунов.

Полукруглую чашу ледникового цирка обступали с северной стороны обрывистые стены, глубоко пропиленные гудящими потоками и водопадами, покрытые близ оснований валами осыпи. А выше громоздились вычурные, зубчатые пики хребта. Под этими развалинами готических трущоб серебрились на уступах лоскуты вечных снежников, прилизанные солнцем.

Мы благополучно спустились к озеру и вдруг увидели на берегу, совсем близко, широкого кудлатого медведя ростом с доброго конягу. Подпально-бурая шерсть висла мокрыми куделями, как у сарлыка. Вдоль хребта — светлая оранжевая полоска. Уши круглые, короткие. Башка мохнатая, с покатым узким лбом и черным зернистым хрюком. Низко опустив морду, зверь увлеченно разгребал широкими лапами землю. Громадные кривые когти поблескивали синеватым лаком. Он подобрал отвислой губой корешок, зачавкал, захрустел, переминаясь на толстых, коротких ногах.

Крепко обняв пальцами рукоятку обнаженного кинжала, Чума стоял не шелохнувшись, словно вздыбленный кряж кедра. По носу катился пот. Настороженные

глазки-щелочки выглядывали из-под нависшего лба с дерзким вызовом.

Но медведь не обращал на нас ни малейшего внимания. Он продолжал деловито копаться в путаных корневищах травы.

И вдруг сердито вытянул морду, засопел, покачиваясь из стороны в сторону. Знать, едко шибануло человечьим духом — хрюк его сморщился, на горбу ощетинилась оранжевая грива. Зверь повернулся, маленькие глазки его вспыхнули злобной яростью. Увидев нас, он фыркнул и огромными прыжками помчался прочь вдоль берега. Он летел на широких махах так быстро, так вертко — даже не верилось, что эта круглая, толстая «бочка» способна катиться с такой стремительной скоростью.

Чума, облегченно вздохнув, разразился хохотом:

— Вернусь домой, в пух-прах разнесу продавца, век будет помнить, как обманывать покупателей. Такую добычу упустил!

Глядя на лютовавшего напарника, я понял: нет, Чума не рисуется, не лицемерит. Если б у него была двустволка, он, не дрогнув, пустил бы в медведя заряд. Но сумел ли бы сразить наповал, это вопрос. А раненый медведь смел, быстр, ловок. Защищаясь, лезет напролом, и натиск его, как рассказывали бывалые путешественники-зверобои, дерзок, стремителен. От мирного человека он старается улизнуть по-хорошему. Этот грубый, неповоротливый с виду громадина, оказывается, умеет отступать в густой, корявой тайге или при надобности подкрадываться к животному абсолютно бесшумно.

Мне снова припомнилась непростая ухмылка Иван Иваныча, когда он поглядывал, с какой жадностью набивает Чума патронами свои карманы. И еще проводник почему-то расспрашивал Богомолова, куда, в какую «степь» мы направляемся.

— Я бывал там с батей,— сказал Иван Иваныч.— Веселые места: зюбры ватагами ходят. И мишки со всей тайги сбегаются под ледники — от гнуса прячутся. Но вы не палите зря — берегите порох, для осени пригодится. Ишь ты, наш охотник даже порозовел от радости. Ну, ни пуха тебе, ни пера!

— К черту! — зарокотал Чума.

И вот Чума проклинает бедного продавца, который совершенно не виноват, что двустволка отказалась вдруг стрелять...

Лицемерно посмеявшись над позорной трусливостью «хозяина тайги», я напомнил своему помощнику, что надо быстрей наловить рыбы. Маршрут не ждет, а ступени ледникового цирка крутехонькие. Надо засветло выполнить все исследования, составить детальный разрез метаморфизованной толщи да еще успеть спуститься. Не ночевать же на голой вершине. Там разгуливают такие холодные шквальные ветры — до костей проберут. Чума ответил, что удочки он презирает (это, мол, детское занятие), что любит ловить только сетями или, на худой конец, глушить взрывчаткой.

Озеро почему-то не навевало трепетного азарта — оно было слишком глубоким и тихим-тихим, как могила. Поэтому я выбрал исток бесноватой речки, вытекающей из него. Уж если водится в этой каменной чаше рыба, то самое лучшее место для удильщика — граница темной, таинственной ямы и шумного потока.

Вырубил тонкую разгонистую лиственницу, привязал длинную капроновую леску с кудлатой рыжей мушкой, сделанной Иваном Иванычем из собственной бороды, и привычным взмахом бросил обманку перед скопищем русловых валунов. Гулкое чмоканье. Рывок. Взбалмошный плеск сильной, вертучей рыбы.

За каких-то полчаса я натягал килограммов двадцать крупных хариусов-горбачей. Чума азартно вспарывал им животы, натирал солью. Все! Проблема с продуктами была решена.

Несколько упитанных толстяков мы зажарили у костра на тальниковых рогатинах и с аппетитом позавтракали, несколько печеных рыбин оставили для полуденного «перекуса». Соленых горбачей уложили в непромокаемые брезентовые мешки из-под геологических проб. Наши рюкзаки заметно потяжелели, но своя ноша не тянет.

Карабкались вверх по ступенчатым уступам цирка. На мокром, глинистом грунте глубокими спаренными лодками вдавились огромные следы быка-марала, а рядом четко отпечатались остренькие копытца теленочка. Каждая ступенька искрилась радужными фонариками всевозможных цветов. Сказочное полыхание красок!

Из-под фирновых снежников падали пенистые ручьи, с гулом ныряли в глубокие кары-воронки, заполненные густо-зеленой водой и, вырвавшись через щели, каскадами обрушивались в озеро, где мы ловили хариусов. Незабываемое зрелище!

ВЕЧНЫЕ ТРЕВОГИ

СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ

Как только наступил выходной день, свободный от изнурительных поисковых маршрутов, я решил проверить, прав ли в своих «охотничьих» выводах техник-геолог Кубышкин. Он авторитетно утверждал, будто самцы-рябчики после весенних свадебных игр не нужны больше ни рябушке-матушке, ни рябчаткам-ребяткам. И по-

тому даже летом норовил пострелять хохлатых петушков-свистунков.

Итак, иду по мрачной хвойной глухомани. Ох уж и муторно пробираться через корявый частокол елей. Беспрерывно хлещут по лицу суховатые дерябистые ветви-игольники. Прилипчатым репейником цепляются за одежду острые крючкастые сухоломины. Того и гляди, пропорешь резиновые сапоги о занозистые столбцы малюток-пихтят, закоченевших в суровых морозах.

Под ногами — ни одной живой травинки, ни одного блеклого цветочка, только черная прель слежавшегося пластами валежника да сырой настил плесневой гнилой хвои.

Вдруг вблизи толстой кривобокой лиственницы как будто что-то шелохнулось. Пригляделся внимательнее, но ничего особенного не заметил. Осторожно, бесшумно сделал шаг, второй и замер: на меня росистой ягодкой-черничкой уставился не мигая чей-то пугливый, напряженный глаз. Долго смотрел я, тоже не шевелясь, не мигая. И понял наконец, что это рябенькая-прерябенькая курочка. Изогнутые крылья широко распростерла, точно млеющая от материнства наседка. Голову прислонила, будто приклеила, к мохнатой травянистой кочке. Не шелохнется, не вздрогнет, лишь глаз-черничинка пристально, выжидательно косится на меня.

Тут, откуда ни возьмись, ко мне с шумным фырканьем подскочил краснобровый хохлатый петушок с широким черно-сажистым галстуком. Да так близко подскочил — прямо под ноги бросился. Взъерошился, напыжился, готовый вот-вот ринуться в бой.

«А-а, здравствуй, здравствуй! Не бойся, маленький забияка, не бойся! Летай себе на вольной волюшке! Хоть и родился ты в черной рубашке-манишке, но твое счастье, что попался не к «охотнику»... Нет в моем сердце места кровавым потехам-забавам. Не радуют мой слух азартные выстрелы».

Напрасно мысленно уговариваю рябца-свистунка. Он и в самом деле ничуточки меня не боится! Потом беспомощно затрепыхался, захлопал по бурой прели болезненно растопыренными, будто поломанными крыльями. Припадочно захромал, завихлялся — не ленись да хватай голыми руками за хохолок.

Но я не бросился ловить хитрого притворщика, а стал внимательно его рассматривать.

У бахтинского рябчика — дымчато-синеватый миниатюрный «куриный» клюв, круто загнутый вниз острым кончиком. Черные овальные кружки глаз с коричневыми ободками. Тонкие оранжево-красные брови-полудуги. На затылке пышная корона. Под бородой густо-смоляная взъерошенная манишка. Спина — серенькая, словно летняя заячья шкура, только вблизи крыльев вклиниваются редкие коричневые полосы. Белая грудь густо испещрена бурыми, черными и пепельно-рыжеватыми поперечными пятнышками, изогнутыми, как месяц. На веерherистом округлом хвосте — широкая траурная кайма с белоснежным обрамлением. Одним словом, ярмарочный щеголек — как метко окрестили рябчика сибирские охотники...

Я было протянул к петушку руку. Однако, заметив опасность, он проворно отскочил в кусты и затрепыхался среди веток, словно окончательно запутался. Я — к нему. Он — от меня, засеменил, засеменил мелкими шажками по траве-путанке, да так быстро, юрко — не угонишься.

«Э-э, обманчивый проказник! Да ты, оказывается, не так уж равнодушен, безразличен к своему потомству! А вот Кубышкин утверждает, что вы, петушки — пушистые гребешки, никудышные отцы, что нет у вас никакой заботушки о своих детишках-птенчиках. А ты, хохластик-модник, эвон какой верный, преданный рыцарь! Собственным клювом не дорожишь, чтоб только прогнать, заманить подальше в чащобу страшного врага от хозяюшки-домоседки. Ну погоди, лукавик этакий, все-таки я попробую тебя поймать!..»

Да не тут-то было. Рябчик шустро продолжал удирать от меня. То низко пригибал к земле вытянутую по-утиному шею, чтоб его не увидели, то подымал голову вверх настороженным столбиком, как суслик, чтоб проверить, далеко ли отвел опасного пришельца от гнезда. И вдруг он рассыпчато, гулко рассек воздух крыльями: «Фрр-ра-а... Фрр-рра-аа...». Как будто ликующе кричал: «Урр-а... Урра-а-а!.. Обманул!»

Усевшись на шпилистую верховинку пихты, довольный петушок звонко, серебристо запел: «Тиу-воо... Тиуу... вооо...»

«Да, да, мой маленький краснобровый рыцарь,— думал я.— Ты тысячу раз прав. Это в самом деле великое диво-дивное так горячо любить жизнь и смело, беззаветно защищать свое потомство от врагов».

Пугать «спасенную» рябушку я, конечно, не стал. Но мне захотелось посмотреть: неужели она весь день сидит на яйцах, в одной позе, как будто прилепленная?

Вынув из полевой сумки бинокль, я лег за буревальной лесиной и терпеливо принялся наблюдать.

Вот наседка встрепенулась, суетливо заерзала. Поднялась, повертелась, видимо перекатывая лапами яйца на середину и наоборот — от центра гнезда к его краям. Постояла немного и снова, широко оттопырив крылья, уселась на прежнее место. Однако глаза настороженно косили по сторонам.

Я нарочно громко зашебуршил ветвями, закашлял, захлопал в ладони. Курочка вздрогнула и, вытянув пестро-крапчатую шею, осторожно, бочком вывалилась из гнезда, бесшумно скрылась в траве. Лишь далеко-далеко раздалось ее неестественно суетливое трепыханье. Она настойчиво подманивала меня, дразня притворной доступностью.

Гнездо рябчиков было устроено очень просто, я бы сказал, совсем примитивно. Пологая земляная лунка небрежно выстлана грубыми сучколоминами, плесневелой травой и бурыми вялеными листьями. Ни тебе мягких перьев, ни теплого нежного пуха. В нем было тринадцать яиц.

Как же она, такая тщедушная птаха, умудряется выводить и согревать столько птенцов?! А может, ее сменяет во время кормежки неразлучный петушок? Нет, ученые говорят, что самцы-рябчики несут только сторожевую службу, отвлекая хищных зверей и птиц-разбойниц от притаившейся наседки, от малых, неразумных ребятишек-рябчиков. Знать, недаром они носят на голове вихрастый хохолок, как раньше, бывало, носили на своих стальных шлемах нарядные кисти-украшения древние рыцари.

АТАКА

Наш отряд работал недалеко от полярной реки Хантайки. Мы устало карабкались по крутому склону, усыпанному скользкими базальтовыми камнями, и вовсе не обращали внимания на тонкий, пискливый голосок, жалобно звучавший в небе. Мы лезли все выше и выше, как вдруг услышали заунывный визг сирены. В тот же миг кто-то резко толкнул меня в голову. Через черную вуаль накомарника я увидел птицу величиной с ястреба.

Быстро набирая высоту, она сжимала в когтях обрывок моей соломенной шляпы.

— Это что за хулиганское создание? — спросил коллектор.

Я промолчал, потому что сам не знал.

Только мы тронулись, как снова взвизгнула сирена. Мы грозно замахали геологическими молотками.

Не желая испытать остроту кривых когтей, свернули вдоль склона и увидели на камнях гнездо с тремя птенцами.

Хищники запищали еще жалостливее и возбужденнее. Они уже не набирали высоту, как раньше, а бросались в атаку без разгона.

Птенцы выстроились, точно солдаты, по стойке «смирно», угрожающе раскрыли желтые горбатые клювы. Огромные, злобно воспаленные глаза их с красными ободками смотрели на нас гневно, немигаючи. Белый жиденький пух на острых горбатых спинах встопорщился, черные перышки-стопылки вздыбились. Шлепая широко раскинутыми кургузыми крыльями, щелкая клювами, они грозно выставили перед собой по толстой крючкастой лапе, сжатой в боксерский кулак: «А ну, попробуйте суньтесь!»

Долго, пока мы не скрылись за поворотом, стояли эти смелые гордые головастики в боевой готовности.

Когда нам наконец удалось забраться на крутобокую вершину, коллектор толкнул плечом отторженец базальтовой скалы. Тяжелая глыба покатилась мимо гнезда, увлекая за собой лавину камней и пыли. Поднялся гулкий, несмолкаемый грохот, напоминающий канонаду артиллерийских орудий.

— Да ты с ума спятил? — возмутился я.

— Давай еще вон тот валун спихнем. Он слишком тяжелый, одному не справиться,— предложил коллектор.— Единым махом раздавим в лепешку всех этих стервятников.

Я оглядел его с ног до головы.

— Что ж — дави! Только дави честно: один на один, голыми руками.

— Э, нет! Спасибо! Без глаз не хочу остаться.

— А разве они есть у тебя? Неужели ты не видишь, как доступно это гнездо всем зверям? К нему запросто могут подняться песцы, росомахи, волки, медведи. А вот не поднялись и наверняка не поднимутся. Дикие звери и те уважают смелость этих птиц, а ты... Эх ты!

— Да я просто пошутил,— покраснел коллектор.

Только потом мы узнали, что нашли в горах, высоко над поясом полярной лиственничной тайги, выводок канюков-зимняков — довольно редкостной птицы.

НЕОБЫЧНАЯ ДРУЖБА

Трясогузка прыгала по берегу, клевала комаров. Там из-под листика вытащит долговязого, тут под травинкой найдет худоногого. Клевала, клевала — уморилась, села отдохнуть. Сидит, коленки подгибаются, хвост дрожит. Вот как устала! В комарах-то что проку! Одни тощие ходули да волосяной хобот. Разве наешься ими, собирая по штучке?

Сидит трясогузка, и я рядом притаился, на серый камень похож. Только вот накомарник меня выдает, как снег на голове. Заметит птичка белый накомарник и непременно улетит. А мне не хотелось, чтобы она улетала. Я люблю смотреть, как покачиваются длинные трясогузкины перья.

Увидела птаха меня — и так растерялась, что даже хвостом перестала дергать. Вспорхнула да прямо на шляпу опустилась. И давай клювом барабанить. Я сижу, дышать боюсь. Понял, что птичка не растерялась, а, наоборот, очень обрадовалась, потому что увидела целую гору комаров. Они шелестели, как муравьи в разворошенной кочке.

Наклевалась трясогузка вдоволь, стала кругленькой, будто колобочек. Села на валун, хвост задрала. Даже не шевельнет им. Вот как объелась комарами!

С той поры каждый вечер я шел после работы к реке. Трясогузка радостно скакала мне навстречу. Хвостик ее мелькал, словно был подвешен на пружинке. Она садилась мне на голову и начинала тыкать клювом, расправляясь с комарами. Тыкала, тыкала, как будто спрашивала: «Ты? Ты?.. Ты?..»

И я отвечал:

— Ну, конечно, конечно, это я, моя маленькая глупышка...

И трясогузка ни капельки не боялась голоса. И рук не боялась.

Вот как мы подружились!

Вспомнилась мне удивительно доверчивая трясогузка, и я подумал: «Вот если бы ребята никогда не разо-

ряли птичьих гнезд, а взрослые не забавлялись бы ружьями, все, все на земле было б по-иному. Тогда соловьи безбоязненно прилетали бы под окна человеческих жилищ, чтоб порадовать своих больших, умных братьев заливистыми, веселыми трелями».

Хочется верить, что так будет, непременно будет! Ведь все мы — дети одной, единой Природы...

СЛЕПАЯ МЕСТЬ

Всем известно, что сорок зовут воровками, а ворон — разбойницами. Но водится в сибирских хвойных лесах птица, которая по своим разбойничьим и воровским наклонностям превосходит и сорок, и ворон, а уж бедным воробьям тягаться с нею нечего. Зовут эту птицу кукшей. Она всегда первой наносит визит геологам. Стоит только разбить лагерь — глядишь, а уж она, кумушка-голубушка, тут как тут. Попищит, потанцует на палатке — и вот уже целая стая порхает над лагерем. Увидят кукши мясо — начнут клевать, увидят рыбу — и от нее не откажутся. Все им по душе — сыр, хлеб, консервы. Однажды они съели у нас даже кусок хозяйственного мыла...

Кукша — меньше голубя, крупнее скворца, размером почти с галку, да и, говорят, самая ближняя ее родственница. На вид она смешная-пресмешная. Шея короткая, голова крутолобая. Нос черный, прямой, тонкий. На затылке у нее жидкий, растрепанный хохолок. Над клювом — козырек из белых перышек. Крылья темно-серые, с редкими оранжевыми перышками. Брюхо желтоватое. Хвост рыжий, длинный, почти как у сороки. Летает бесшумно, короткими порывистыми волнами. И очень непоседливая, беспокойная — одним словом, вертушка. Прыгает по деревьям не хуже кедровок-ореховок и бегает по земле проворнее куропатки. Любит копаться под старыми трухлявыми пнями, средь кухонных отбросов и... в рюкзаках геологов. Нахальная и пугливая, смелая и осторожная. Да что там говорить — хитрей вороны: увидит в руке ружье — мигом спрячется в кустах.

Ох и обозлился я однажды на этих кукш!

Наш лагерь стоял под плоской вершиной полярной горы, где росли только карликовые лиственницы да кро-

шечные скрюченные березки, стелющиеся средь ягеля; но внизу, по берегам реки, тянулась настоящая тайга.

Невдалеке от палаток мирно жила колония веселых курочек. Не знаю, как точно называют этих птиц ученые, но, по-моему, мы правильно окрестили их «курочками». Очень похожи они на домашних курочек — стройные, миниатюрные, а бегают — не угонишься. Пробегут шажков двадцать, остановятся, вытянут шею, посмотрят внимательно вокруг — и опять семенят дальше. Я узнал по справочнику, что имя наших соседушек-домоседушек — камнешарки. Но не буду точно утверждать, так это или нет. Для правильного определения научная, академическая книга требовала непременно поймать или убить птицу, чтоб скрупулезно замерить и описать. А мне не хотелось пугать, тем более напрасно губить красивую, доверчивую пеструшку ради пустого любопытства.

Безымянные горные «курочки» спокойно сидели на яйцах и так привыкли к людям, что даже подпускали вплотную — хоть протягивай руку и гладь. Мы все их очень любили и с нетерпением ждали, когда же они выведут цыплят. Ждали, да не дождались. Проклятые кукши, прилетевшие к нам в гости из хвойной низменной тайги, нашли поселение курочек и расклевали все их яйца. Весь день я гонялся за рыжими разбойницами с мелкокалиберной винтовкой. Одну все-таки удалось убить.

Увидев в моих руках мертвую птицу, старый каюр-эвенк укоризненно покачал головой:

— Худой ты человек, дюже худой! Зачем напрасно стрелял? Куропатку стрелял — кушать можно, гуся стрелял — тоже кушать можно. Кукшу даже псы голодные кушать не будут. Ай-ай! Нельзя губить птицу напрасно...

Я объяснил, что кукши разорили поселение горных курочек, потому и отомстил им. Но эвенк ответил, что птицы сами разберутся в своих птичьих делах, нечего человеку вмешиваться в их жизнь. И я согласился. Ведь мы знаем только одно: кукши — воровки и разбойницы. А может, пользы природе они приносят куда больше, чем вреда? Это надо проверить. Хорошенько проверить! А уж потом делать выводы. Срубить дерево проще, чем вырастить.

ЗЯТЬ И ТЕЩА

— Гляди-кось! Гляди-кось! Теща с зятем появились! — засмеялся Павел. — В дупле отсиживались, дожидаясь, когда ливень сникнет. А теперь на гулянку пожаловали. Значит, погодушка наладится. Вот и оса-шаманка из колдовского монастыря вылетела. Тоже к вёдру! Ух, тварюга докучливая! Так и норовит под накомарник забраться, будто лицо медом намазано. Не терплю я этих назойливых проныр! — Павел сердито замахал кисетом, отгоняя глянцевито-черное с оранжевыми перемычками насекомое.

— Постой, Павел! Брось возиться со своей осой! Не бойся — не ужалит.

— Не выношу этих наглых злюк! — усердно продолжал охотиться конюх за полосатой шаманкой. И лишь когда прогнал неотвязчивую прилипалку, успокоился.

— Павел! Растолкуй, пожалуйста, какого зятя ты увидел, какую тещу заметил?

Конюх улыбнулся.

— А вон сидят, друг на дружку любуются! Зятек разнаряжен, расфуфырен, будто щеголь на ярмарке. А теща, как и положено, — мрачнее черной ночи.

— Кого ты имеешь в виду?

— Обыкновенного дрыгуна-остроготника!

— Ну что ты опять мучаешь меня загадками! Я никого не вижу, кроме пестрого дятла.

По гладко-серой сухостойной осине кружился, бегал рывками «доктор леса», разрисованный, как божья коровка. Берет — красный, штаны — ярко-розовые, костюм — в черных и белых узорах. Вот он отскочил пружинистым прыжком — два крючкастых пальца вперед, два пальца назад, — забарабанил, забарабанил по стволу прямым острым носом. И долго, усердно долбил дерево, опершись на жесткий, упругий хвост с потрепанным измочаленным концом. Вот он трепетно выбросил в конурку-пробуравинку тонкий длинный язык-клеевик, похожий на малинового червяка, ловко вытащил оттуда желтоватую толстую личинку короеда. И опять заскользил по осине, скособочив крутолобую, блестящую, как атлас, голову, прищурив маленькие глазки. Казалось, проверял, не высунулся ли наружу, сквозь лунку-продолбину, его синеватый, занозистый кончик клюва.

И довольный-предовольный удачной хирургической операцией, «доктор леса» издал отрывистый, пронзительный клич: «Кик-кик-кик!» Словно спрашивал о результатах своей работы: «Как? Как? Как?»

— Павел, а Павел! Почему ты назвал дятла остроготником?

— Почему, почему? Нужто не знаете? Ведь у дятла-пестреца на языке зазубринки-крючки, наподобие рыболовной остроги. Чтоб жуки да гусеницы не сорвались в темной глубинке.

Еще сибирские охотники дразнят дятла «хороводником», «запевалой», потому что зимой вокруг этого франта всегда табунятся невесты-синички, чтоб на дармовщину поживиться оброненными жучками да червячками. А может, дятел специально и для них старается побольше долбить. Ведь синичкам зимой труднехонько корм добывать...

— Ну ладно, хватит сочинять сказки про дятла. Ты мне лучше покажи, где твоя теща скрывается.

— Не моя, а дятлова! — засмеялся Павел.— Посмотрите внимательней: вон там, на компасе, сидит черная-пречерная, в красной косынке.

Зная, что мой спутник порой устраивал насмешливые подвохи, я нарочито придирчиво стал вертеть кожаный футляр горного компаса. Может, он разглядел на нем какое-нибудь интересное насекомое?

Павел заливисто расхохотался:

— Да что вы свой прибор, как игрушку, крутите! На лиственницу, на лиственницу смотрите! На ту, у которой ведьмины метлы куделятся!

И уже спокойным, деловитым тоном пояснил:

— Понимаете ли, один бывалый промысловик сказал, что лиственница — живой компас. Макушкой она показывает на юг, потому что сбрасывает зимой хвою, как все южные лиственные деревья. Корнями же тянется к северу, потому что растет даже за полярным кругом, не боится ни вечной мерзлоты-ледовки, ни лютых морозов-трескунов.

В самом деле, на высокой лиственнице, где промеж суков темнели плотно сросшиеся кучерявые ветви (так называемые «ведьмины метлы»), сидела странная птица величиной с ворону. Она была толстая, дородная, в черно-траурном одеянии, которое отливало жирным, сизым блеском. Лишь на высокой, неуклюжей голове ярко краснела пышная, хохластая шаль. Я, конечно, сразу

узнал, что это желна — самая крупная представительница знаменитого славного семейства дятлов — верных, надежных защитников-хранителей леса. По сравнению с холеной «тещей» пестрец-щеголек казался жалким, тщедушным юнцом.

Желна, как и юркий «зятек», проворно скользила, припрыгивала, кружилась винтом по лиственнице, словно плясала на праздничной гулянке. Потом бесшумно опустилась на бурый пень и давай, давай долбить его мощным желтовато-серым клювом, который здорово походил на граненый штык. Она глубоко засунула клюв-штык в пробивину и, будто рычагом, отломила большущий кусок трухлявой древесины. Не спеша черная «теща» принялась подбирать длинным клейким языком каких-то козявок.

— Дюже пользительные птицы эти дятлы-трудяги! — сказал Павел.— Никто, кроме них, не может достать короедов из невидимых лазеек-проходов. А вот желна все-таки как злая теща и вред порой приносит строевому лесу. Нравится ей почему-то долбить совершенно здоровые, рослые пихты, ели, кедры. То ли клюв свой ехидный оттачивает, то ли массаж на языке наводит, чтоб подлинней вытянулся.

Недолго мы любовались «хирургами» сибирской тайги.

Черная желна вскоре затерялась в темной чащобе. Франт-пестрец перелетел на сухую смолистую лиственницу и начал выбивать чечетку. То есть специально, ради проказливой потехи, он бесперебойно стучал и стучал могучим клювом по гибкому, пружинистому суку. Только слышалось: «Дрр-р-р-р... дрр-рр...»

Казалось, этими гулкими барабанными трелями гостеприимный «зятек» снова зазывал хмурую «тещу» к себе в гости — полакомиться толстыми, жирными личинками короедов.

Кто знает, почему дятлы с таким усердием, с таким упоением барабанят иногда по звучным сушинам?

Кто правильно объяснит, почему бурые медведи любят теребить лапами расщепленные стволы кедров? Чтоб послушать протяжные, дребезжащие «арии»? Да?..

Выходит, не только среди людей рождаются музыканты.

ВОДОЛАЗ ПОНЕВОЛЕ

Шагаю по дикому берегу ключевой речушки-воркушки, то и дело спотыкаюсь о круглые ядра валунов. Внимательно смотрю себе под ноги: не блеснет ли средь темных илистых камней матово-свинцовым сиянием или золотисто-бронзовым отливом обломок какой-нибудь полиметаллической руды; не засверкает ли среди унылого песка солнечный кристаллик редкостного самоцвета. Безбожно колочу геологическим молотком гальку, чтоб узнать, какие коренные породы размывала эта журчливая речушка. Ведь за свою долгую, многовековую жизнь она десятки тысяч раз превращалась в грозную силу — особенно при бурных весенних разливищах и дождевых паводках. Не могли устоять перед ее всесокрушающим натиском ни береговые обрывы-кручи, ни кремнистые скалы. Медленно, зато верно и неутомимо грызет, пилит, истирает в песок все горные породы жиденькая коварная тихоня-водичка.

Иду, занимаюсь обычной, рядовой работой поисковика-исследователя.

Упоительно благоухают купальницы-неувядки, лютики-желтокудряники, незабудки-голубоглазки, шиповник-дикороз, духовито-терпкая лесная смородина.

И вдруг из-под резиновых сапог с резким плаксивым писком вылетел пестрокрапчатый кулик-побережник. Судорожно затрепыхался, тяжело захромал, волоча по земле безжизненно болтающееся, будто подбитое, отвислое крыло.

«Ишь ты, притворник этакий, ишь ты, хитруля-пеструля — от детишек отводит!» — догадался я.

Смотрю, и вправду, в серых-пресерых камнях лежит серенький-пресеренький пушистый птенчик. Притаился, прижался к земле. Клювастую голову под гальку схоронил. Голенастые ноги под живот запрятал. И не различишь-то сразу — то ли сухая заиленная трава, то ли круглый камешек в лишайниковой коросте.

Бесцеремонно поднимаю плутоватого крохотулю и сажаю на ладонь. Он не вырывается, даже не барахтается. Видимо, не понял еще, куда попал. Распластался себе смирнехонько, а нос длиннущий засунул между пальцами. Этакий пухленький презабавный несмышленыш!

Опустил я бережно смиренного пленника на мох. Куличонок встрепенулся и... мгновенно юркнул под вор-

систую кочку-гущинку. Сжался, точно ежик, в неподвижный комочек. Трогаю, щекочу хворостинкой — не шевелится, будто умер. И глаза-смородинки закрыл. Потом как вскочит да как побежит на черных кольчатых ходулях, высоко и гордо вскинув желтоклювую голову. Ну прямо ни дать ни взять — игрушечный кудлатый страусенок. Не останавливаясь, бросился в речушку. Его сбило течением, перевернуло кверху беленьким, плюшевым брюхом...

И вдруг птенец исчез с глаз долой. Исчез — и все, будто сквозь воду провалился. Смотрю, а он и правда провалился под воду. Сидит на дне, за большим слизистым валуном. Сидит, дрожит, бедняга, от холода. Лишь острый кончик клюва да дырочки-сопелки ноздрей торчат из-под веера падающей струи.

Я затаился в густой черемухе. Близ речушки опустилась встревоженная, озабоченная куличиха, быстро-быстро запищала. На ее требовательный, призывный клич со всех сторон покатились шустрые серенькие шарики — братья и сестры моего пленника. (И как только они умудрились ловко спрятаться средь голых камней? Ведь ходил вокруг, а не заметил.)

Смелый, находчивый водолаз тоже послушно вынырнул из своей необычной ухоронки, встряхнулся, приосанился и бесцеремонно забился греться под крыло важенки-наседушки.

Осторожно, стараясь не шуршать, я выбрался из кустарника. Чтоб снова не помешать выводку, пошел к темному ельнику.

Зачем тревожить пугливых крохотуль? Бегать за комариками-вертолетиками, отыскивать хитрых червячков-прятунков, сидеть, нежиться под мягкими теплыми перьями родной матери куда приятней, чем от страха лежать на жестких камнях или мокнуть в ледяной воде.

А вы как думаете? Да что спрашивать, все-таки забавно, весело, интересно поймать дикого птенца! Ну, а птенцу-то как — весело ли в наших руках? А?

ВЕЧНЫЕ ТРЕВОГИ

Под сумрачным пологом пышных пихт, по зеленой-зеленой лужайке, выстланной коротким кукушкиным мхом, чинно и важно вышагивала тетерка. То высоко поднимая голову, то горбато пригибаясь с напряженно вытя-

нутой шеей, она пыталась строго, дисциплинированно вести стайку своих цыпляток. Птенцы были желто-коричневые, густо усыпанные черно-бурыми пестринками. Тихо поквохтывая, озабоченная старка часто останавливалась, настороженно оглядывалась, точно уговаривала ребяток-тетеревяток не очень-то разбегаться. Но юркие кругленькие пуховички, не слушаясь, врассыпную катились по мягкой, шелковистой лужайке. Они беспрерывно клевали, схватывали ползущих гусениц, ловили быстроногих жучков, подпрыгивали за летающими комарами и бабочками. Издали казалось, будто под пихтами катились упругие плюшевые колобки. Только не молчали, а тихонько посвистывали, точно пели: «Фить-фить-фить...»

Один нерасторопный пуховичок приотстал от веселого хоровода, чересчур увлекся охотой. Схватив дождевого червя за острый кончик хвоста куцым клювом, он упрямо пытался вытащить его из норки. Но красный кольчатый вертун, упираясь, все растягивался и растягивался, точно резинка, и вдруг лопнул. Тетеревенок с извивающимся обрывком добычи повалился на спину, беспомощно задрыгал желтыми лапками. Кое-как перевернулся, проглотил червяка целиком, будто макаронину, скорей побежал догонять веселую компанию.

Ан глядь — ни матери-путеводки, ни братишек-резвунчиков. Они уже пробирались под игольчатым навесом ползучих пихтовых гирлянд.

Заметался одинокий птенчик, совсем растерялся, бедный. Над ним заманчиво порхала бабочка с белыми горошинами, а он даже и не посмотрел на нее.

Карапуз испуганно завопил: «Пик-пик... Пиа! Пиа!..»

«Ква-ах!.. Ква-ах!» — хрипло отозвалась нахохлившаяся старка.

Цыпленок обрадованно побежал на призывный клич.

Спрятавшись понадежней, я с интересом наблюдал за тетеревиным выводком.

У бахтинской косачихи — миниатюрная голова в коричнево-рябчатой шапочке, маленький «куриный» нос. Над глазами — тонкие брови из коротких пестрых перышек и яркая оранжевая дуга. Под носом-синюшником — бело-крапчатая салфетка. На светло-бурой шее — ниточки дымчато-халцедоновых бус. Спина покрыта красноватой накидкой с черными округлыми узо-

рами. Пепельно-серая грудь разрисована меловыми и желтыми зигзагами.

Одним словом, не так просто заметить средь пестрого лесного наряда эту осторожную пальнушку-хитрушку. Врагов у нее уж слишком много — по перьям не пересчитаешь. Вот и приходится волей-неволей таиться, маскироваться.

Делу — время, потехе — час: пора и мне маршрут продолжать. Я поднялся во весь рост. Тетерка часто-часто заквохтала, закудахтала. Птенчики-шалунки вздрогнули и моментально рассыпались в стороны. Кто с разбегу юркнул под лохматую кочку, кто мышонком забился между спутанными корнями, кто лягушкой распластался средь пожухлых листьев. И так неподвижно они сидели,— хоть руками бери, хоть наступай сапогом — не вздрогнут, не шелохнутся. Будто приросли к пестрой лесной подстилке.

Попробуй, ястреб-тетеревятник, разгляди! Попытайся, соболь-кровожадник, обнаружить! Рыскай, лиса-вертихвостка! Вынюхивай, енот! Выслеживай, куница! Нет под пихтами игривых птенчиков! Нет — и все!

А старка, раскатисто хлопая крыльями, оттопырив хвост широким веером, медленно пролетела мимо меня. Только слышалась гулкая дробь: «Фрр-фррр-фррр!..»

Я не стал пугать прятунков, снова лег незаметно под куст.

Мамаша появилась на бархатной мшаге-лужайке минут через десять. Она долго стояла, неподвижно вытянув шею. Убедившись, что опасности нет, заквохтала, но уже иным тоном — мягким, спокойным, ласково рассыпчатым. И сразу же, я даже не успел заметить, откуда они вынырнули, вокруг наседки засновали пушистые шарики.

...И я подумал, как же трудно тетерке-важенке в шумных грибных местах, где беспрерывно кричат, аукаются, хрустят валежником суетливые искатели. А малышам, которым надо расти, набираться сил, еще труднее. Ведь пережидая, пока минует опасность, они всякий раз вынуждены прерывать кормежку на двадцать — тридцать минут.

Вот почему этим птицам не так страшны хищные звери, как бесцеремонное вторжение людей в их скрытую жизнь. Вот почему с каждым годом все меньше и меньше становится тетеревов, глухарей, вальдшнепов, куропаток. Как помочь птицам? Наверное, лучше всего

не мешать, не беспокоить. Как это мало для нас, людей, и как это много для тех, кто живет под пологом дикого леса!

НАСМЕШЛИВЫЕ БОРОДАЧИ

Реки размывают залесенные холмы и голые скалистые горы, в которых прячутся месторождения золота, платины, олова, ртути и многих-многих других полезных ископаемых. Реки истирают крепкие камни и всякую руду в мелкие частички.

Ходят, бродят геологи-поисковики по диким берегам с широкими деревянными лотками, похожими на долбленые корыта. Настойчиво, терпеливо черпают они грязный речной песок и промывают в лотке до тех пор, пока на донышке не останется серая или черная масса. Этот чистый рыхлый материал, куда попадают и блестящие увесистые зернышки истертой руды, называется шлихом.

У каждой руды — свои особенности, свой неповторимый цвет. Золотые крупинки, например,— желтые, платиновые — белые, свинцовые — серые, ртутные — густо-красные, как перезрелые вишни.

Найдет геолог желтую сверкающую крупинку — идет дальше вверх по течению реки. И снова черпает из русла, из кос, из высоких террас грязный песок. И снова кропотливо промывает его, проверяя, не блеснет ли золотинка-расчудинка — благородный нержавеющий металл.

Под корнями спрятанного месторождения геолог увидит в лотке уже не чернявый шлих, а яркую, пеструю смесь, густо насыщенную желтыми блестками, среди которых могут попасть и крохотные червонные самородочки. А выше по течению шлих окажется совершенно пустым — без единой золотинки. Потому что, всем известно, вода течет и несет всякую муть только вниз.

Так постепенно маленькие частички-путешественницы сами приводят умелых наблюдательных поисковиков к большим промышленным залежам.

К каждому потайному, скрытому от глаз человеческих месторождению тянется своя потайная тропинка, усыпанная крупицами разрушенной руды. К золотым кладам-невидимкам тянутся желтые тропки, к платиновым — белые, к свинцовым — серые, к ртутным — красные. Одним словом, по какой тропке пойдешь — к таким

подземным сокровищам и придешь. Все просто, ясно, понятно!

Ясно-то ясно, да не очень просто...

Водятся в сибирских лесах красиво хмурые бородатые глухари. Птица эта крупная (до семи килограммов), с могучим голубоватым клювом. Над черными блестящими глазами — широкие круги пылающих малиново-алых бровей. На груди — сверкающе-сизая «кольчуга». На пепельных плечах — ярко-белые пятна — погоны. По темно-коричневым крыльям-опахалам густо рассеяны пильчатые штрихи из светленьких серых пестрин. Ниже переливчатой кольчуги, по смолисто-бархатной мантии, волнисто протянулись поперечные серебряные шнуры-дуги. Не птица, а строгий, бравый генерал пернатого царства! Высокий, стройный, голенастый. Пятки толстые, внушительные, как у страуса. На пальцах — мягкие подушки из бугристой чешуйчатой кожи, чтоб бесшумно отыскивать голубику, бруснику, клюкву. А хвост — какой у него дивный, роскошный хвост! Густо-черный, с тонкими мраморно-белыми разводами-блестками, и такой широченный, что не уступит любому королевскому вееру из павлиньих перьев.

Только вот название у лесного «генерала» очень обидное: «глухарь». А все потому, что весной, на свадебных токах-игрищах, когда эти воинственные птицы начинают упоительно исполнять неподражаемые дремучие арии «скирканья» и «скжиканья»,— они совсем, ну совсем глохнут. Теряют осторожные, недоверчивые «генералы», обезумевшие от любви к пестреньким рыженьким дамочкам-копалухам, и бдительность, и слух. Глохнут тогда глухари, на беду свою смертельную, на радость восторженных, пылких поклонников природы, вооруженных дробовиками и карабинами.

Охотникам первобытные, лесные «генералы» дают вкусное дикое мясо, пух-перо да великолепные шкурки для красивых чучел-сувениров, чтоб хвастаться перед друзьями. Геологам же они порой подбрасывают мудрейшие загадки.

Найдет геолог алмаз — плясать готов от радости. Еще бы! Ведь алмаз — самый дорогой самоцвет земного шара!

Начнет геолог мыть, ворошить речной песок. Все проверит, все перепробует. И в большие, и в маленькие ручейки заглянет, чтоб только нащупать верную алмазную тропинку. Знает геолог, что алмаз — очень, очень

редкий камень. Но зато у него есть неразлучные сторожа, верные спутники — красно-розовый гранат и зеленый хризолит.

Мозоли кровавые набьет геолог от резиновых сапог, ревматизм заработает от ледяной воды, ан нет, никак не даются в руки ни сверкающие алмазные, ни розовые гранатовые, ни зеленые хризолитовые тропинки! Не хочет вести один-одинешенький алмаз к богатой кимберлитовой, то есть к коренной алмазной трубке.

Ломает геолог голову — откуда же взялось это заблудившееся алмазное зернышко, убежавшее от своих верных, разноцветных адъютантов-хранителей? Уж не с неба ли свалилось?

А старый сизый глухарище сидит где-нибудь на кедре да посмеивается себе в косматую растрепанную бороду: «Га-га-га!.. Конечно, с неба! Конечно, звездочкой мерцающей упало!»

Уж кто-кто, а он-то, старый колдун, знает тайну алмазной крупинки. Совсем недавно летал он со своими приятелями-одноягодниками на берег далекой реки. Специально летал, чтоб поклевать твердых камешков. Вот и принес оттуда загадочную алмазинку.

Известно, глухари, тетерева, рябчики, куропатки, кулики да и гуси тоже всегда набивают осенью свои желудки-пупки всякими бисерными камешками. Эти камешки-песчинки помогают им перетирать жесткий зимний корм: костистые семена, сухие раковистые почки, древесную кору, мороженую хвою, вяленые листья.

Выбирают глухари-путаники самые твердые да самые красивые камешки: аметисты — фиолетовые хрусталики, топазы — разноцветные льдинки, дымчатые халцедоны, голубые опалы, зеленые хризолиты, красные огоньки-рубинчики. И уж, конечно, не пропустят мимо клюва, не протопают равнодушно, если вдруг блеснет в грязном песке желтая золотинка-расчудинка или дивной семицветной радугой брызнет граненый редкостный — алмаз.

Путают птицы-камнеглотатели искателей дармовых кладов, глумятся, издеваются над разведчиками земных недр. Там замысловатую изумрудинку подбросят, тут — алмаз-неугасник потеряют... А геологам-первопроходцам приходится ломать головы, чтобы правильно ответить на вопросы: «Откуда? Как? Почему? Где?»

Такая уж беспокойная профессия у геологов — по зернышкам искать будущие города.

ПЕЧАЛЬНЫЙ МУЗЫКАНТ

В ночной тишине, когда все таежные птицы, кроме сов, давно уже спали, неожиданно раздались глухие, бухающие звуки. Какие-то грустные, заунывные, они пугали меня недоброй таинственностью. Казалось, будто рассерженный леший дудел в свою колдовскую трубу. Эти нудные голоса, приглушенно-утробные, неземные, походили на раскатистый шум, который мог вырываться из большой стеклянной бутыли, если сильно дуть в ее широкое горло.

Никто из бывалых путешественников-геологов не знал, кто же так печально кричит, словно жалуется на свою невыносимо горькую судьбу.

Только и слышалась в черной, трепетной ночи тяжкая, монотонная скорбь: «Ду-ду, ду-ду, ду-ду...»

Впервые попав в горную тувинскую тайгу, я сначала долго не мог заснуть из-за этих непонятных жутких звуков, тревожно ворочался в спальном мешке.

Меня мучил не суеверный страх. Нет, я давно уже не боялся ни коварных ведьм, ни хитрых чертей, которыми нас, деревенских ребятишек, пугали в детстве старушки. Мне покоя не давала эта лесная загадка. Кто же так жалобно стонет по ночам? Какой неведомый дикий зверь? Какая невидимая залетная птица?

И вот однажды нам повезло — мы увидели таинственного музыканта так близко, что могли сколько угодно любоваться его необыкновенным нарядом.

Из-за буревальной тайги, в которой и лошади, и люди окончательно измучились, отряд не смог пробиться к намеченной стоянке. Поэтому мы раскинули лагерь на берегу шумливой горной речки, вблизи глубокого ущелья. Проснулся я от громких, уже надоевших мне грустных звуков.

Рассветало. Через трещины зеленых скал розовыми снопами струились лучи невидимого солнца. Они освещали птицу сказочной красоты. На ее оранжевой голове с маленькими круглыми глазами-горошинками, блестящими и выразительными, пышно, как у венценосного журавля, возвышалась яркая зубчатая корона. Дыбились торчком длинные лоснящиеся перья, разрисованные белыми, желтыми и черными полосами. Такие нарядные уборы надевали у торжественных костров вожди американских индейцев-охотников. Пестрые трехцветные узоры сияли и на ее прижатых крыльях, и на

широком хвосте. Лишь изящно выгнутая, крутая грудь отливала однотонным розовато-охристым шелком. Птица была некрупная — чуть побольше дрозда. Она сидела на уступе крутой стены и беспрерывно бубнила свою заунывную, хрипловатую песенку: «Ду-ду, ду-ду». Этот старческий, глухой стон очень напоминал брюзгливое ворчание: «Худо тут, худо тут».

Мы шумно плескались в холодной речке, с аппетитом уплетали подгоревшую на костре перловую кашу. А хохлатая птица-красавка надоедливо твердила одно и то же: «Худо тут, худо тут». И вовсе не пыталась улететь с каменного уступа — лишь нервно топталась возле расщелины. Там, в темной глубине, тревожно пищали ее птенцы. Убедившись, что мы не собираемся трогать и разорять гнездо, ворчунья опустилась на цветущую луговину и принялась бегать в высокой траве. Она то семенила куропаткой, то подпрыгивала журавлем, то взлетала жаворонком, гоняясь за шустрыми кузнечиками-трескунками. Вскоре ее длиннущий изогнутый клюв сделался мохнатым от пойманных насекомых. Птица сунула нос в расщелину, принялась кормить детишек. Потом почистила когтями черный, лакированный клюв и снова задудела: «Худо тут, худо тут».

Но мы не согласны были с пернатой плакальщицей. Веселая, гремучая речка изобиловала вкусными хариусами. В светлом ущелье разгуливал прохладный ветерок, отгоняя комаров. По крутым склонам, растопырив зеленые кроны, браво карабкались толстоногие, меднокорые кедры. Вдали, среди тусклой бирюзовой голубизны, сверкали белоснежные вершины Саянских гор.

А птица-зануда не давала нам спать, жаловалась, стонала: «Худо тут, худо тут».

Только я ей не верил, и ее тоскливый крик больше не пугал в ночи. Да, может, и не жаловалась она, а выкрикивала свое имя: «Удод! Удод!»

Чего только не послышится в ночном лесу?! И может, в темноте кричал вовсе не удод, а иная птица. Кто знает?

СТРАШНЕЕ МЕДВЕДЯ

Кочевала с нами по бахтинской тайге старая сибирская лайка Найда, черная-черная, с белым, как у гималайского медвежонка, фартучком. На боках — белые накидки. И передние лапы в белых чулках.

Хвост она всегда держала гордо: круто свернутой баранкой. Оно и вправду было чем гордиться — смело, дерзко бросалась собака даже на коварных росомах. Однажды, рассказывал Павел, она задушила около поселка матерую рысь, пришедшую отведать индюшатинки.

Найда помогала нам осенью добывать свежее мясо: охотиться на тетеревов и глухарей, выслеживать куропаток и рябчиков. Кроме того, она надежно охраняла ночью наш «транспорт», то есть лошадей, от нападений хищников.

Как-то раз в начале лета из прибрежной чащобы раздался ее горячий призывный лай.

Уж не Топтыгин ли пожаловал к нам в гости?

Схватив ружья, мы бросились в тайгу.

На толстом размашистом суку лиственницы — совсем низко, рукой можно было достать — сидела чернявая, куцехвостая глухарка-копалуха. Вытянув по-гусиному рябенькую шею, она истошно кудахтала, как охрипшая наседка. Казалось, птица презрительно хохотала над собакой. А Найда захлебывалась неистовым лаем, прыгала на ствол, пытаясь зубами схватить недосягаемую добычу.

Вокруг дерева беспорядочно валялись длинные перья, которые выдрала из хвоста пеструшки наша лайка.

Мы равнодушно вскинули карабины на спину. Оскорбленная таким предательским поведением людей, собака даже заскулила от обиды.

В конце концов Найде надоело уговаривать нас, чтобы мы стреляли. Бросив безнадежную попытку поймать общипанную птицу, она вдруг нырнула под сизый куст можжевельника и вытащила оттуда крохотного пушистого птенчика. И как только сумела обнаружить его! Ведь цыпленок был совершенно невидим среди пестрой лесной подстилки. Какой-то зеленоватый и одновременно желтенький, точно пожухлая трава, он был густо разрисован черными точками, черточками, пятнышками — под цвет сухих палочек и соринок. На толстых лапках — длинные лохматые штаны из светло-коричневого пуха.

Цыпленок отчаянно закричал в зубах Найды: «Пиа! Пиа! Пиа!»

В тот же миг бесхвостая копалуха орлицей ринулась на собаку, ударила по морде упругими крыльями, дол-

банула в мягкий пупырчатый нос могучим острым клювом. И, вероятно, сильно долбанула, потому что лайка, оторопевшая от неожиданного, дерзкого нападения и боли, испуганно взвизгнула и выронила цыпленка.

К счастью, длинноногий пуховичок оказался невредимым.

С воплем собака бросилась в лагерь. А за ней, басовито, раскатисто гогоча, летела, подпрыгивая, копалуха, стегала по голове крыльями, выдергивала из спины клочья шерсти.

Павел упал на траву и расхохотался, — казалось, он вот-вот надорвется, лопнет.

Еле избавившись от рассвирепевшей птицы, Найда пугливо забилась под ворох потных вьючных седел и тихо скулила там, будто всхлипывала.

— Ишь ты, бедняга, как переживает! Опозорилась — вот и спряталась от стыда,— хитровато подмигнул Павел.— Все отлично понимает, будто человек. Только говорить не умеет. В другой раз умней будешь — не станешь больше гоняться за птенцами. Еще повезло — на полярную сову не напоролась. Уж она бы тебя за своих ненаглядных головастиков наверняка без глаз оставила.

Найда не показывалась довольно долго. Но в конце концов все же вылезла из-под седел — знать, комары допекли.

Она нерешительно заползла под белый марлевый полог и виновато, заискивающе, словно оправдывала свою трусость, словно раскаивалась в недобром поступке, тыкалась мордой в колено Павла.

ПОЧЕТНЫЙ ЭСКОРТ

Эти птицы — родные сестры умного, хитрого, плутоватого семейства вороновых. И ростом почти одинаковы, и вертлявы не в меру, и страсть как любопытны. Но щеголяют в разных нарядах.

У сойки-балаболки на крыльях яркие белые пряжки-бляхи с голубыми и черными ремешками.

У кукши... да вы уже про этих разбойниц читали.

Сойки всегда шныряют по дубовым и смешанным лесам, растущим вблизи человеческих селений. Так и норовят они, сварливые, скандальные истерички, испортить лирическое настроение пылким, восторженным лю-

бителям природы, которые смотрят на земную красоту лишь через стволы дробовиков. Резким, тревожным криком сойки предупреждают всех птиц и зверей о близкой двуногой опасности. Потому и ненавидят охотники бдительных, неусыпных дозорниц. Потому и пишут про нее презрительно, будто она «орет, как кошка с защемленным хвостом», будто визжит «душераздирающим воплем», будто «сует нос в чужие дела».

А дела-то у нее самые добрые, самые расчудесные: жертвуя своими лазоревыми перьями, спасти от свинцовых шквалов рябчиков, глухарей, тетеревов...

Рыжие кукши, в отличие от голубых сестриц, избегают лесов, где бухают, палят охотники, аукаются грибники, шляются ягодники. Не терпят они ни пыльных городов, ни чистых деревень. Вряд ли кто из юных натуралистов повстречает эту дикую птицу на обочине шумных проезжих дорог. Прячется она от глаз любопытных в самую что ни на есть первозданную хвойную тайгу.

Но вот что интересно: любит она все-таки человека, так и льнет к нему, тихо, доверчиво.

Идешь, бывало, по неведомой тропке-загадке с неразлучным проклятым рюкзаком-заплечником. Вокруг непролазные завалы, корявые колодины, сучковатые скелеты деревьев, щербатые пни, трухлявые буреломины, мшистое, косматое сыролесье. Обернешься назад и улыбнешься — следом летят проворные рыжульки. Летят себе непринужденно, спокойно, не трещат противно, не вопят истошно, как сойки. Легко, плавно порхают кукши с ветки на ветку, ну ни капельки не боятся человека. А присядешь отдохнуть, и они тоже присядут на дерево за компанию, да порой так близко, хоть геологическим молотком доставай. Крутят весело острыми клювами, сверкают лукавыми черными глазами, точно приветствуют. Или вдруг начнут тихо щебетать незнакомую приятную песенку. И следят, следят за каждым твоим движением, но не от подозрительности, не от страха, а просто с каким-то беспечным детским любопытством.

Сколько же десятков, сотен километров я прошел по дикой сибирской тайге? Бывал и в голубой Туве, где рождается великий Енисей, и под Норильском — самым северным городом земного шара. И всюду, всюду нас сопровождали в нелегких геологических маршрутах яркие оранжевые птицы. Довольно часто они веселили, забавляли меня, разгоняя гнетущую печаль одиночества своими милыми проказами.

ПОГОРЕЛЬЦЫ

Однажды мы раскинули палатки возле громадной столетней лиственницы. Ее черно-коричневый рассохшийся, морщинистый ствол высился над красными прибрежными тальниками и серыми зарослями ольхи, как закоптелая фабричная труба. На самой куцей вершине этого старого дерева белохвостые орланы свили гнездо. Могучие, ширококрылые птицы сперва нервничали, боялись подлетать к лагерю, кружились над нами с печальным клекотом. Но, убедившись, что никто не пытается лезть в гнездо, постепенно успокоились и стали доверчивы, словно аисты.

Мы часто любовались, как они ловко схватывали лапами-крючками хариусов и тайменей средь перекатов, как волокли тяжелую рыбу, чтоб накормить своего единственного детеныша. Крупный толстый птенец, покрытый редким белым пушком, был похож на общипанного гусака. Он молча раскрывал горбатый желтый клюв и прямо кусками глотал растерзанную добычу.

— Вот смотрю я на орлов и думаю: каждую пташку узнаешь по замашке,— сказал Павел.— У каждой пернатки свой строительный талант. Сороки-мороки, например, боятся замочить под дождем красоту ненаглядную — хвост вертлявый, поэтому рубят из палок-бревен добротные купеческие хоромы с крышей. Ласточки-касаточки, ласточки-щебетушки лепят себе уютные крепости-конурки из грязи. Кулики-лентяи — так те небрежно бросают яйца на голую землю, сызмальства приучают детишек своих к болотам и лужам. У орлов, как и полагается, гнезда солидные, широкие, словно боярские палаты. Утки всякие любят понежиться на теплой мягкой перине из собственного пуха. Горлинки накидают между сучьями десяток палочек — и довольны-предовольны, воркуют себе, захлебываясь от радости. А иволги-золотогрудки — так те умудряются привязывать домики к самым кончикам висячих веток, чтоб детишки баюкались, качались на ветру не хуже, чем в люльке.

В общем, покажите мне любое гнездо, и я наверняка сразу скажу, кто его хозяин.

— Что верно, то верно,— согласился я.— У каждой пташки — свои замашки. Однако и ошибиться довольно просто. Птицы, они тоже любят загадывать загадки...

И тогда мне вспомнилась давнишняя история.

В конце 1941 года, удирая от натиска наших войск, фашисты дотла сожгли в Елецком округе многие деревни. А зима была страшно лютая: пуржливая, морозная. Люди спасались кто где: в черных сырых погребах-землянках, под скирдами сена. Многие, как эскимосы, выпиливали из твердого, спрессованного снега кирпичи и строили белые круглые хижины. Как вспомнишь те времена, даже у костра тело покрывается холодными мурашками.

Воробьи тоже отсиживались в копнах и стогах. Только изредка, в солнечные дни прилетали они с полей, усаживались на высокие лозины и, глядя на мрачное, черное пепелище, молча ерошили перья, как будто хмурились.

А весной принялись метаться средь бездомной деревни с каким-то необычным, паническим верещанием. Раньше, как только серебрились ручьи, воробьи всегда были веселыми, говорливыми, деловито шныряли по улице, подбирая клочки овечьей шерсти, куриные перышки, конский волос. Только раздавались игривые переклички: «Чип! Чип! Чив! Чив!» Раньше они любили с важной напыщенностью чистить, прихорашивать свои серенькие кафтаны и часто устраивали под окнами смешные, драчливые представления. Но теперь их словно подменили, они сделались раздраженными, бестолковыми, чересчур суетливыми. Даже мы, дети, поняли, почему носились воробьи с тревожным писком: им негде было вить гнезда. Испокон веков устраивались они под соломенными крышами крестьянских жилищ,— и вот тена — вместо хат остались груды черных углей да закоптелые скелеты русских кирпичных печек.

— Бедные воробышки!..— вздыхали женщины.— И вам досталось от проклятых фашистов! И вас, маленьких, сделали бездомными эти поганые, лютые звери!

Но воробьи не стали ждать, когда люди обзаведутся новыми хатами. Они, словно грачи, разбились на отдельные стайки, и дружно принялись таскать на самые ветвистые деревья все, что могли поднять: палочки, тряпки, мочалину, сено. Они складывали этот пестрый материал в широкие неуклюжие кучки. Чтоб кучки-ворошки не рассыпались, не растрепались ветром, опутывали их длинными стеблями повилики и вьюн-травы. Вскоре почти все лозины и тополя усеялись неуклюжими, развалистыми сооружениями. По замыслу главных

пернатых архитекторов, это были, вероятно, заменители сгоревших соломенных крыш. В каждом клокастом висячем клубке находчивые погорельцы свили несколько уютных пуховых гнездышек, в которые самочки снесли по пять — семь рябеньких яичек.

Седые старики только бороды от удивления поскребывали: отродясь не знали они подобного дива. Ну кто бы мог ожидать от маленьких сереньких пташек-букашек такой невероятной мудрости?!

Зато теперь, когда воробьи выхаживали своих пузатых, прожорливых детишек почти что на виду, все деревенские жители по достоинству оценили их настоящую незаменимую роль в природе. Оказывается, эти докучливые мошенники-дармоеды, эти завзятые презренные воры, которых везде гонят, всюду клянут, приносят человеку очень, очень много пользы. Чтоб напичкать своих ненасытных, пискливых ребяток-желторотиков, они от зари до зари усердно добывают только мягкий, сочный корм: червяков, гусениц, жучков, тлю. А это значит, наглые, настырные плутишки-воришки надежно, верно охраняют сады и огороды от вредных насекомых.

Но я немного уклонился в сторону от рассказа. Следующей весной, когда крестьяне построили на месте пожарища, учиненного фашистами, новые глиняные мазанки, воробьи поселились под соломенными крышами, в теплых пышных застрехах. И опять, как испокон веков, они вили обычные, без всяких подсобных навесов, одиночные гнезда.

...Вспомнил я этот пустяковый случай из грозных лет второй мировой войны, а сам подумал: ведь и сейчас, в тихое мирное время, и зверям диким, и птицам вольным не так-то легко, не так-то просто выхаживать детишек своих. Осушаются болота, вырубаются леса, навсегда исчезает под натиском новых городов и поселков непуганая тайга.

Хочешь выжить — хитри, изворачивайся, приспосабливайся. Даже галки теперь умудряются вить гнезда под стрелами высоченных строительных кранов! Даже дикие филины-тихолюбы, эти осторожные, пугливые философы-глухоманники, стали якобы выбирать вместо дуплянок теплые чердаки шумных небоскребов!

Что поделаешь? И птицам глупым, и зверям неразумным волей-неволей приходится крепко задумываться над последствиями бурной технической революции.

КТО КОГО ОХРАНЯЕТ

Геологи-поисковики в маршрутах всегда смотрят только себе под ноги, на матушку-землю, стараясь по мельчайшим признакам угадать, какие сокровища таятся в глубине. Некогда им в походах праздно глазеть по сторонам — на птичек и букашек. Всем свое: летчикам — небо, морякам — вода, горнякам — недра.

Я люблю свою профессию. Неправду говорят, что геологи возятся лишь с мертвыми камнями. Нет! Камни тоже живут: растут, цветут, умирают, рассыпаются в прах. Но жизнь их течет по особым законам: то почти мгновенным, как извержение вулкана, то долгим-долгим, настолько долгим, что время приходится измерять миллионами и миллиардами лет.

Я горжусь своей профессией. И все же порой очень сожалею, что не стал еще орнитологом — знатоком пернатого царства. Сожалею, когда встречаю на геологических тропинках неведомых мне птиц.

Хоть в маршруте я тоже всегда смотрю только себе под ноги, только на выходы коренных и рыхлых пород, стараясь не отвлекаться от главной работы, но невозможно, невозможно искусственно, отметать, отбрасывать все, что не относится к предметам специальности. Таковы уж глаза человеческие — они видят многое.

Однажды в горной тувинской тайге я задрал голову к небу, посягая на владения летчиков, на мир астрономов и метеорологов. Задрал и... забыл про свой длинный геологический молоток.

На белой кремнистой скале росла корявая необхватная пихта, все этажи которой были заняты поселениями птиц. Выше всех расстилалось широченное орлиное гнездо, построенное из толстых ветвей, устланное посредине обрывком темной пышной шкуры. Под ним, в коричневом дупле, обитала важная пучеглазая толстушка, похожая на совушку — мудрую головушку. Ниже, средь развилистых суков, желтело еще одно гнездо, свитое из пожухлой травы. А на земле, вблизи ствола, не таясь, не скрываясь, спокойно высиживала яйца какая-то серенькая невеличка.

Только я добрался до пихты, невеличка взвилась, как полевой жаворонок, и затьвинькала, зазвенела бронзовым колокольчиком. Орел беспокойно заерзал, взъерошился, покосился на меня суровым круглым оком и, нехотя подпрыгнув, улетел в горы. Из дупла

выскочила растрепанная рыжая совушка, камнем упала в кусты.

Повторяю, я не орнитолог, а геолог, точнее, петрограф — специалист по камням. Но тайна птичьих этажей мне понятна. Конечно, орел мог бы разорить гнездо серенькой невелички. Однако не трогал, хоть оно и лежало у него под боком, на виду. Не трогал, вероятно, потому, что «бронзовый колокольчик» зорко стерег его покой, предупреждая о приближении грабителей: медведей, росомах, соболей. Когда угрожала опасность, орел пускал в ход страшное, неотразимое оружие: когти-

крючки и острый, рвущий клюв. Он защищал не только свое потомство, но и гнездышко невелички.

Что же касается совушки, то она была просто хигрушкой, живя под охраной двух часовых. Беркут, наверное, даже и не подозревал, что рядом с ним обитает такая умная, деликатная тихоня. Разве увидишь ее? Ведь она охотится только в голубых сумерках да черной ночью. Разве услышишь ее? Ведь она порхает бесшумно, как летучая мышь.

А может, орел подозревал, да смотрел на это тайное соседство сквозь когти: пусть себе живет — и совятам и орлятам на здоровье! Совушка — ночной страж, невеличка — дневной. Чем не царская круглосуточная охрана у царя птиц?

Вот и вся история. Прав я или, возможно, ошибаюсь в домыслах — не буду спорить. Каждый, кто дружит с природой, понимает звериные и птичьи тайны по-своему.

КУРОПАЧИЙ ТОК

Весна в полярной тундре начинается с пения куропаток. Еще не растаял спрессованный морозами снег, не проснулись закованные льдом реки, не прилетели с далекого юга звонкие гуси-лебеди, а куропачи, белые черноголовые куропачи с огненно-красными бровями, уже носятся над кустами с громким ликующим хохотом: «Э-эк-э-эк-эк...» Самки отзываются на их крик тихим жалостливым стоном: «Ню... ню... нюю». Услышав призывный голос, нетерпеливые куропачи забывают про всякую опасность: про песцов и медведей, про сов и охотников. Они подлетают к самкам и, косо раскидывая крылья, бороздя ими по снегу, начинают кружиться и приплясывать, стараясь завоевать красотой своего танца благосклонность подруг.

Куропатка улетает с тем самцом, который ей больше понравится. Парочка покидает родную стаю и ждет прихода теплой зеленой весны.

ХОРОШИЙ СТАРИК

Все мое детство было окутано таинственностью и нечистыми духами, о которых полушепотом рассказывали на утренних сходках бабы, пригонявшие свой скот

к общему стаду. Только и слышалось: того-то «сглазили», «опутали», «присушили», тому-то «подсыпали наговорной травы», у тех-то, мол, «изнеможили корову заклятой чернокнижной ворожбой».

В сумрачные лунные ночи над нашей деревней будто бы летала на косматом березовом помеле бесноватая ведьма Лукерья. В каждой избе отсиживались под тараканьей печкой вместе с бородатыми жабами-полуночницами рогатые черти и до ужаса капризные, мстительные домовые. Все односельчане знали, в какой хате жила потрясучая колдунья и в какой соломенной риге собирались перед восходом солнца белые-пребелые переметки с петлями-душегубками. На заливном лугу прятался в густой траве от знойной жарыни развеселый мужичок-луговичок с зелеными волосами. Детям не полагалось бегать туда, иначе луговичок до смерти защекочет колючей татарниковой бородой (пугали, чтоб не топтали, играя в перегонялки, буйные, стоящие стеной покосы). В глубоких тинистых омутах речушки плясал с длиннокосыми русалками цепкорукий водяной (нагоняли страху, чтоб не купались мы в опасных коряжистых местах, где и вправду судорогами сводило ноги от ледяной воды). В жаркий, мерцающий полдень по высоким, колосистым полям расхаживал на ходулях ласковый, хитрущий оборотень (чтоб не играли мы в прятки средь ломких хлебов). А в ночь под Купалу разъезжала в дубовой ступе и нюхала «волчий табак» (перезрелый гриб-дождевик) жуткая-прежуткая баба-яга. Даже в крещенские морозы по деревне расхаживала визгливая, паклебородая Каляда с тумаковой скалкой (пугали, чтоб проказники не убегали б с печки босиком на улицу, а обуви у многих ребятишек никакой не было).

Страшно тогда жилось мальчикам и девочкам. Очень страшно! Особенно мы боялись конопатой да рябой бабки Шестерки. Взрослые внушали нам, что шепелявка Шестерка стала такой некрасивой за «великий грех» — за то, что разорила в лесу птичкино гнездышко. Вот и поймал ее разъяренный горбун леший, опрокинул на разоренное гнездышко и давай топтать по ее лицу своими острыми козлиными копытами. Он так обезобразил глупую Шестерку, что на нее противно стало смотреть.

Мы очень боялись сердитого лешего, боялись сделаться конопатыми и рябыми, поэтому никто из ребятишек не разорял птичьих гнезд. И в нашей маленькой

березовой рощице, в наших крохотных ленточных дубравах, прятавшихся в сырых оврагах, наперебой звенели-заливались всякие птахи. Крикливые дрозды-недотроги лепили свои илистые домики прямо у проезжих дорог. Даже нахальные ястребы-курощипы и вертлявые сороки-разбойницы — похитительницы заблудившихся цыплят — и те не страшились человека.

А ныне все мальчики и девочки с пеленок знают, что нет ни ведьм, ни чертей, что против оспы делают специальные прививки. Ныне все дети видят, как взрослые беспощадно стреляют ястребов, сорок, ворон. Правда, родители пугают ребятишек, чтоб они не ходили в лес, медведями да волками («Серый волк, зубами щелк»). Но медведей под Ельцом сроду никто не видывал, а волков давным-давно перебили.

Приехал я как-то весной, после окончания Ленинградского горного института в родную деревушку, смотрю — у мальчишки в руке воробьиное яичко.

— Где взял? — спрашиваю.

— В сарае под крышей,— отвечает с гордостью.

— Как же тебе не стыдно?! Разве можно разорять птичьи гнезда?

— Можно! Можно! — категорично заявил карапуз.— Мамка говорит — воробьи очень вредные: подсолнухи и просо клюют. Потому и зовут их — «вора бей!».

Пошел я в любимую березовую рощу. Гнетущая тишина встретила меня. И жалко, до боли в сердце стало жалко бедного лешего. Напрасно выгнали его из леса. Хороший, добрый был старик. Птиц певчих и зверей диких охранял надежно.

К чему все это? Ведь разоренных гнезд не воскресишь, да и кое-кто вдруг подумает, будто я преклоняюсь перед чертовщиной.

ГОЛУБЫНЬ-ПТИЦА

Над елочкой склонился папоротник, как веером накрыл ее узорчатыми опахалами, чтоб не спалило горячее солнце. Под елочкой что-то голубеет, словно куртинка незабудок. Чудеса — незабудки в сентябре!

Не пройдет геолог мимо самоцветов, грибник — мимо цветов. Приятно положить в полное лукошко осенний букет.

Раздвинул я рябиновой палочкой-выручалочкой папоротники, а «незабудки» как загорланят: «Кээ... кээ... кээ!..» Как побегут! А сами то щенком заскулят, то заплачут.

Я глаза протер — голубынь-птица!

Охотник бы задрожал, ружье вскинул, а я выручалочкой помахиваю.

Успокоилась птица, поняла: не разбойник с дробью.

Тут и я рассмотрел ее поближе. Крылья лазоревые с бирюзовыми подпалинами, с синими стрелами. На груди и вокруг глаз тоже голубые перышки.

Желторотый сайчонок — горлан весь в родителей.

Никогда не забуду голубынь-сайчонка.

Интересный был букет «незабудок»!

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

ПОХИТИТЕЛЬНИЦА КРЫЖОВНИКА

Тува! Дивный, сказочный край! Голубая, таинственная чаша земли!

Там все смешалось, переплелось в живописные ковры. Дремучие медвежьи дебри величаво зеленеют над желтыми, песчаными пустынями, где гордые философы-верблюды любуются тушканчиками, ящерицами и змея-

ми. Голые громады причудливых самоцветных скал — обитель беркутов и орланов — безмолвно смотрят в сиреневые глади озер, кишащих рыбой. Пышные березовые перелески, куда прячутся от жары тонконогие косули, весело холмятся над широкими ковыльными степями. По буйным, травянистым равнинам быстрее монгольских скакунов удирают от машин крупные пестрые птицы — дрофы. Сверкающие белоснежные вершины хребтов исчирканы следами барсов, маралов и горных козлов. Из-под сумрачных синих ледников падают гремящие каскады. Тихие плесы неожиданно сменяются клокастыми ревунами-порогами, среди которых носятся за хариусами краснохвостые таймени.

Тува! Колыбель Енисея — великой сибирской реки!

А сколько в Туве всяких диких вкусных ягод! Брусника, голубика, черника, земляника, клубника, морошка, клюква, шикша! Там тебе и жимолость, и шиповник, и черемуха, и рябина, и дремучие малинники!

В сырых прибрежных низинах рубиновыми фонариками полыхает кислица — красная смородина. По руслам таежных ключевых речушек хоть ведрами черпай уже иную, не красную смородину — сладкую, сочную, духовитую. Ее густые прохладные заросли, обрамленные широкими листьями-лопастями, можно искать с закрытыми глазами... носом. Уж так она ароматна! Крупная, увесистая, обильная, эта ягода напоминает виноград. Смолисто поблескивает она в голубом росистом сумраке. Кажется, будто выточена из самого темного хрусталя — мориона. Недаром сибирские охотники зовут ее «вороникой», а все люди попросту — черной смородиной. Среди скал и голых сплошных развалов угловатых камней — курумников — гнутся под тяжестью плодов высокие, хлобыстучие кусты горной смородины. Она гораздо мельче прибрежных сестер — «цыганок», да и цвет светлей — то синеватый, то с лиловым налетом. Зато благоухает настолько сильно, упоительно, что даже пищухи-сеноставки — жители «каменных рек» — предпочитают селиться подальше от зарослей этой ягоды. Бегут они прочь из-под диких плантаций горной смородины-чернушки, чтоб не отвлекала своей пленительной духопряностью от главной работы — заготовки зеленого сена на зиму.

В таежных долинах Восточных и Западных Саян можно встретить непроходимые, непролазные заслоны облепихи. Что за диво-дивное эта облепиха! Стоит куд-

рявый куст, увенчанный узкими серпами серебристо-серых листьев, и сплошь, буквально сплошь облеплен крупными ярко-золотыми бусинами. Эти сочные ягоды, напоминающие по вкусу смесь мандарина и ананаса, то обрамляют шелковистые развилки ветвей, то свешиваются тяжелыми ядреными початками, похожими на кукурузу. Но попробуй подступиться к ним! Протянешь восторженно руку за лакомой, красивой приманкой и отскочишь, словно от крапивы-жгучки, ужаленный упругими кинжалистыми колючками. А как чудесна облепиха зимой! И нарочно-то не придумаешь такую сказку! Белый, искристый снег и дымчатые льдистые ветки, густо-густо усеянные блестящей россыпью желтого полированного янтаря. Смотришь — никак не насмотришься. Если же вас неодолимо потянет отведать этих целебных ароматных даров тайги сибирской, надевайте толстые, дубленые рукавицы.

Вот уж загадка так загадка: не ежик, а колется, не змея, а жалит, не лекарство, а лечит, не бетон, а ползучий щебень останавливает. Да-да, корни облепихи, оказывается, лучше цемента скрепляют от размыва песчаные и галечные берега.

Но пока золотыми ягодами тайги лакомятся только птицы да белки.

Однако, пожалуй, больше всего в центральной Туве крыжовника. Никто его не сажал, не разводил — сам вырос на крутых скалистых склонах. Зеленеют себе, всем на диво, среди мертвых горячих камней пушистые круглые шары кустов. Листья, как и положено настоящему крыжовнику, широкие, выемчато-резные,— то трех-, то пятилапчатые. Побеги тоже густо утыканы занозистыми иглами. А вот ягоды попадаются всякие-превсякие: и зеленые, похожие на полосатые арбузы, и темно-красные, и лиловые, и пурпуровые. Одним словом, раздолье для ботаников-селекционеров. Скрещивай, разводи новые сорта, устойчивые против насекомых-вредителей, против грибковых болезней!

Мы очень любили пить после жарких изнурительных маршрутов холодный крыжовниковый сок, часто варили компот и кисель.

Как-то раз нарвал я полный рюкзак особо крупного и сладкого крыжовника. Он был пушистый, темно-фиолетовый, исполосованный тонкими продольными жилками. В этом маршруте геологических образцов отбивать не требовалось, потому я спрятал увесистую ношу под

приметным обнажением, чтоб на обратном пути забрать. Как же я огорчился, когда увидел вместо ягод прогрызенные дыры да несколько чьих-то рыжеватых волосков.

Кто же похитил мой крыжовник? Мыши? Что-то я не встречал рыжих мышей в Туве. Да и как эти малютки смогли разорвать такое количество довольно крупных «мячиков»? Может быть, косули-верхолазки? Едва ли эти пугливые звери способны на подобное хулиганство. А медведи-сладкоежки здесь, на скалистых склонах тайги, не водились. Берегут они свои мягкие топталки, боятся острых камней. Кто же тогда? Дело, конечно, было не в пропаже ягод, а в загадке. Все-таки интересно, чьи это недобрые шутки.

Оказывается, поморочила мне голову Лиза-Лизаветушка, Лиса Хитрикеевна. Я потом случайно подглядел в маршруте. Рыжая плутовка сидела у колючего куста, с которого свешивался крупный лиловый крыжовник, и смотрела на него, как на виноград в басне Крылова. Так хотелось ей свеженьких ягод, что бедняга даже облизывалась от предвкушаемого удовольствия. Но они были недосягаемы, надежно защищены торчками острых шипов. Лиса нашла лазейку, согнулась и осторожно стала выгребать лапой из-под куста свалившиеся, перезрелые шарики. Она так увлеклась пиршеством, что даже не обращала внимания на мышей, которые пищали и возились средь щебня. Вот тебе и мышатница! Тоже понимает, что для здоровья нужны витамины.

Охотники же про лис говорят, будто они только мясом питаются. Слушать-то слушай охотников, да процеживай байки, как через сито! Верить-то верь им, да при случае проверяй! Смотри на все — оглядывайся! Читай книги — задумывайся!

ПРЕМУДРАЯ ГОЛОВА

Неверно говорят старики про ночную невидимку, осторожную, бесшумную пучеглазку: «Совушка-сова — премудрая голова...»

В хвойных, сумрачных лесах Сибири водится более умная, более хитрая птица, чем эта страшная когтистая хищница.

...Составляли мы геологическую карту в верховьях

Курейки, по окрестностям загадочного, «провального» озера Дюпкун. Строго выражаясь, оно было не простым озером, а необыкновенно широким и длинным, удивительно глубоким и тихим руслом шумной, каменистой реки, очень опасной для туристов-лодочников.

7 августа. Идем всей партией в далекие-далекие горы. Их смутные синевато-коричневые плоские вершины окаймлены сверкающими ожерельями вечного, не тающего снега.

На пути нашего растянутого аргиша оленей появилась довольно серьезная преграда — река Тесная. Обрывистые узкие берега, бурливые пороги, ревущие водопады, сплошные предательские скопища скользких валунов, через которые с бешеной скоростью мчались белопенистые гряды. Неистовое течение всюду сбивало геологов с ног, опрокидывало завьюченных оленей. В поисках необходимого брода пришлось сделать порядочный крюк по тайге и забраться почти в самое верховье Тесной, где русло разбрелось в спокойные рукава-плесы.

8 августа. Из шести сухих пористых лиственниц мы сделали надежный плот, протянули поперек тихих проток тугие хребтины из крепкого капронового фала и стали дружно, торопливо переправляться на ту сторону. Когда перевезли все снаряжение, каюры-эвенки связали цепочкой оленей и силком потащили их в воду. Животные сперва дико артачились, пугливо храпели. Но как только поплыл белогрудый вожак-самец, все рогачи послушно устремились за ним.

И вот наконец шумный, хлопотливый аргиш подготовлен, выстроен к походу. Начальник партии всем поставил на карте треугольник с флажком, что означало место будущего лагеря, намеченного в двенадцати километрах от переправы. Я попросил разрешения идти своей дорогой, чтоб насобирать попутно грибов к ужину. Да и, признаться, не терплю крикливых суетливых аргишей.

Медленно шагаю по мрачной лиственничной тайге. Деревья заскорузлые, скорченные, с серыми корявыми сушинами-торчками, с черными лохматыми космами лишайника.

И вдруг стало светло, солнечно. Как будто попал в иной мир. Передо мной раскинулись белые холмы, покрытые кудрявым оленьим мхом-плясуном и веселыми рощами чистеньких, картинных берез. Даже хмурые лиственницы тут были другие — вишневого цвета с ро-

зовыми шкурками-кожурками. Среди пепельно-седого ягеля яркими оранжевыми фонариками горели подосиновики. Только геологи называют их иначе — красными полярными грибами, полярниками.

Вот ведь — ну точь-в-точь подосиновики: и ножки в чешуйках, и шляпки броские, нарядные, и мякоть на изломе синеет, как василек. А растут даже в тундре, где хоть сотни километров протопай, так и не встретишь ни одной зеленокожей осины.

Я сперва собирал полярники целиком, а потом убедился, что запросто можно наполнить рубашку под завязку одними тугими шляпками.

Неожиданно к тому месту, где я отбивал «красным шапочкам» низкие земные поклоны, бесшумно подлетела какая-то серая неряшливая птица с рыжим хвостом. Даже слабенький ветер шаловливо трепал ее пышное, но рыхлое оперение, не задирая лишь плотные, оранжевые концы крыльев. Она схватила тонким коротким клювом довольно тяжелый кувшинистый пенек гриба, сунула его в развилку березовых суков и, придерживая когтями, отодрала острым носом длинную ленту. Затем спрятала эту ленту между закраинами коры, снова отодрала от ножки волокнистый шнур и насадила на сухой занозистый торчок. Издав хриплое, гортанное «крэ-э... крэ-ээ», птица плавно опустилась возле рюкзака и, окинув меня зверьково-любопытным взглядом, чуть ли не из-под рук вырвала пестик полярника. Я оторопел. Это была ронжа, то есть кукша, неподражаемая в своей бесцеремонной наглости.

Я видел в бинокль, как она развешивала на сучках плоские дольки — пластинки грибов, совала их в трещины, прятала между берестинками. При этом спиралями кружилась по облупленному стволу, повисала вниз темно-бурой шапочкой-береточкой, словно проказливый попугай, и тихонько верещала, захлебываясь от восторга.

Я любовался проделками неугомонной вертушки и даже не обратил внимания на зеленые сигнальные ракеты, которыми геологи звали меня в новый лагерь.

Вот это да! Птица заготовляла таежные «дары» впрок! Сушила, вялила их! Прятала от дождя! Подумать только — не белка, не барсук, не бурундук, а всего-навсего птица — родная сестра обыкновенных ворон. Кто бы мог ожидать от ее маленькой головы такой большой хозяйственной премудрости?!

Колпаки кукшу не интересовали. Они ломались на

толстые куски и, вероятно, быстро портились, загнивали, а ножки легко расщеплялись на суховатые нити.

Зачем же ронжа лезла на рожон ради грибов? Для чего понадобилось ей сушить подосиновики?

Ученые-орнитологи утверждают, что кукши, которые клюют всякие семена и ягоды, ловят насекомых, терзают мышей, нападают на малых птенцов, якобы откочевывают зимой с морозного севера к приветливому югу. Так ли это? Кто надевал на их черные лапки меченые кольца с номерами? Ведь придумал какой-то мудрец, будто коростели-дергачи пешком удирают осенью с милых крапивных пустырей и мокрых лугов в пыльные страны. И так путешествуют бедные дергачи из книги в книгу на своих двоих, словно у них выдернуты крылья.

Может, кукши не улетают из родной тайги? А может, и улетают. Кто знает их скрытную жизнь? Вполне возможно, они сушат грибы (кстати, сушат и мясо, и рыбу), чтоб вернуться ранней весной из теплого края к готовым запасам продуктов. Но как проверить их память и необыкновенные хозяйственные способности?

Я читал, что кукши, подобно дроздам, строят свои гнезда невысоко над землей и всегда вблизи стволов. Мастерят они домики детишкам из сухих веточек, длинных травинок, бородатых лишайников, а середины лунок выстилают мягкими перышками, шерстью, пухом. Откладывают по тройке — пятку беловато-зеленых с темными пестринами яиц. Насиживают, не чета глухарям, оба родителя попеременке.

И хоть кукши так и льнут к геологическим палаткам, совершенно не дичатся людей, мне и до сих пор еще не удалось выследить, как и где они вьют гнезда, с какой заботой ухаживают за птенцами. Что и говорить, удивительное, интересное создание! Но... хватит орнитологических отступлений.

На белых березовых холмах я протоптался до голубых сумерек. Мы добросовестно, честно поделили между собой подарки заполярной тайги: я брал «вершки», кукша — «корешки». И все остались довольны. Особенно геологи, которые устроили полночный грибной пир.

«СИБИРСКИЕ РАЗГОВОРЫ»

В разноцветной бахтинской тайге, где вечнозеленые хвойные деревья перемешаны с лиственницами, мы

вдруг увидели круглый островок. Шли, шли по надоедливой корявой глухомани и как-то неожиданно уперлись в светлую стену. Мне даже почудилось, что перед нами предстали высокие каменные столбы, рельефно вырезанные, бороздчато обточенные из нежно-розового минерала — орлеца. Оказывается, так неприступно теснились ровные, толстые кедры.

Ученые-лесоводы называют их сибирской сосной. Однако в отличие от европейской сестрицы-«краснозорницы» хвоины у кедра тонкозубчатые, голубоватые и собраны в пучок не по две штуки, а по пять. Эти жесткие, щетинистые кисточки облекают каждую ветку так, что получаются своеобразные пирамиды. Снизу они длиннущие-предлиннущие, а к верховинам постепенно укорачиваются, выклиниваются.

Мы отыскали между шершавыми стволами свободные пролазы и торжественно вступили под своды розового храма. Заслоняя небо, над нами густо смыкались причудливо перепутанные, переплетенные косматые кроны. Потому внутри кедрового островка было сумрачно, призрачно. Ноги до колен погружались в мягкий бархатисто-зеленый мох, в буйные кудри брусничника. По лицу иногда задевали крылья широкоперистых папоротников. Кое-где дыбились шпилистые стрелочки бледных злаков. Пахло какой-то непонятной тонкой, возбуждающей смесью живицы, свежих грибов и влажной земли.

Смотреть под ноги, боясь споткнуться, не требовалось — мы словно плыли по бесшумным, баюкающим волнам. Плыли себе спокойно, колыхались радостно, любуясь дивной россыпью шишек, которые то свешивались вниз резными бочонками, то стояли торчком, как дутые пузыри. Средь зеленых и темно-фиолетовых шишек, подернутых мутным сизым налетом, лоснились коричневой лазурью задубевшие, перезрелые «прошлогодники». Их не сбил пока ветер, не тронули почему-то вездесущие «кукары».

— Ну что, побеседуем? — хитровато улыбаясь, сказал Павел.

— Давай! — охотно согласился я и, скинув тяжелый рюкзак, уютно сел на желтый горб выступающего из-под земли оголенного корня.

Однако, по всему было видно, Павел и не собирался разговаривать. Он молча снял с плеча мелкокалиберную винтовку, неторопливо прицелился. Раздался тупой щелчок выстрела. На мох шлепнулась косматая ветка,

густо унизанная туголитыми блестящими бурыми «кубариками».

Павел расплющил прикладом заклеклую шишку и с явным удовольствием принялся грызть орехи. Он так увлекся этим занятием, будто совершенно забыл о недавнем предложении побеседовать.

— Что же ты молчишь?

Мой спутник засмеялся:

— Неужели вы хотите, чтобы я подавился? Ай, ай, не ожидал такого злого пожелания...

Вынув изо рта гладкий темно-коричневый граненый комочек, он уже серьезным тоном пояснил:

— Это и есть «сибирские беседы», «сибирские разговоры». Так в Сибири издавна величают кедровые орехи. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Слушайте на здоровье! — И конюх весело защелкал скорлупой.

Он расправлялся с орехами быстро, виртуозно — не сдавливал, не кромсал на дольки, как я. Ровно, аккуратно откусывал угловатый краешек, словно открывал колпачок глиняного кувшинчика. Ядрышки извлекались целехонькими, и жевал он их с явным наслаждением.

Самую красивую верховину ветки, унизанную особо эффектными, скульптурными «кубанчиками», я спрятал в рюкзак, чтобы подарить ленинградским друзьям. Эти лаковые бурые шишки, отполированные солнечными лучами, были прелестны. Из-под их широких, округлых чешуек-трапеций, тесно прижатых, как у рыбы, застенчиво выглядывали острые, желтенькие уголки-подвертыши.

Я молча «беседовал» с Павлом, сидя на горбатом корневище, жадно вдыхал свежий смолистый воздух и смотрел, смотрел как зачарованный на розовые колонны призрачно-туманистого голубоватого «храма» бахтинской тайги.

Да, необыкновенно пленительное, таинственно мудрое, сказочно щедрое это дерево — кедр! Если зрелые шишки европейской сосны раскрываются сами, щетинясь округлыми, тупыми стружками, чтоб выпустить на волю семена, то у кедра они всегда крепко сомкнуты. Впрочем, этим великанам нет необходимости рассчитывать на случайную прихоть ветра. Им охотно помогают расселяться по долинам холмистым, по кручам каменистым дикие звери и птицы.

В пору обильного, или, как выразился Павел, «ломовенного» урожая, который повторяется лишь один раз в пять-шесть лет, от благодатных кедровых даров жи-

реют медведи и лоси, плодятся белки, бурундуки, соболи.

Шелушат шишки якобы не только всякие грызуны, но и хищники-мясоеды: рыси, росомахи, куницы. А где добрый, царский пир — там крох не поднимают. Обронит какой-нибудь зверь тугой орешек, да еще в землю нечаянно придавит, глядишь — и на смену столетнему деду выклюнулся из-под теплой мшистой перины усатенький младенчик.

Павел дробил задубевшие шишки прикладом винтовки, а я — неразлучным геологическим молотком. На внутренней поверхности каждой чешуйки-покрышки темнели по две гладкие, вдавленные лунки-колыбельки, в которых свободно покоились кедровые семена — орехи.

Желтовато-белые ядрышки, необыкновенно душистые, нежные и в то же время рассыпчато хрупкие, казалось, просвечивали густым янтарем. Да это и понятно: ведь в кедровых орехах около 65 процентов золотистого масла. Оно и ароматнее, и более целительное, чем прославленное прованское. Сибиряки не только мастерски умеют заниматься «сибирскими разговорами», то есть с беличьей ловкостью грызть орехи. Они готовят из них пенистое таежное молоко, душистые сливки и много всяких диковинных сладостей. Кондитеры, например, с удовольствием добавляют тающий во рту ореховый жмых в конфеты, за которыми охотятся и дети, и старушки.

Не случайно на добычу кедровых орехов отправлялись в давние времена торжественно, как на ярмарку, как на осеннюю уборку полей,— всей семьей. Плодоносная тайга вблизи станов и поселков была поделена между артелями на участки. Суровые прадеды строго следили, чтоб никто не посмел выйти на промысел раньше положенного срока, не сбивал бы жиденькую «озимь», то есть еще зеленые, незрелые шишки. Крутые на расправу, они беспощадно карали воров и неслухов-браконьеров, дерзнувших забраться в их «узаконенные» владения.

Наслаждаясь приятными «сибирскими разговорами», мы с Павлом гордо лавировали между лабиринтами красно-розовых стволов. Нам казалось, что еще никто из людей не заглядывал в этот чудный островок, благоухающий бодрой свежестью.

ПОПРАВКА К УЧЕНОЙ МОНОГРАФИИ

В одном серьезном ботаническом труде, который написал крупнейший советский миколог, я вычитал, что «в глухой, нетронутой тайге белый гриб почти не встречается».

Что такое микология? Это обширная наука о грибах, которые представляют собой «один из любопытнейших и вместе с тем важнейших отделов мира растений». Микологами, следовательно, называют ботаников, занимающихся только изучением грибов. А грибов всяких-превсяких на земном шаре очень-очень много. Годы потребуются, чтобы запомнить их латинские имена. Тут и высшие, то есть шляпочные, которые все искатели с радостью кладут в плетенки. Тут и низшие, микроскопические грибы, например, противная тусклая плесень и болезненные наросты-коросты на фруктах, овощах, ягодах. Грибы играют настолько значительную роль в жизни человечества, что о них можно было бы написать удивительнейшую книгу...

Узких специалистов-микологов в нашей стране, к сожалению,— считанные единицы. А вот любителей побродить на зорьке с лукошком в росистом лесу, поискать боровичков да рыжичков — десятки миллионов наберется — куда больше, чем охотников и рыболовов. Однако почти все искатели относятся к добрым, славным «трошкам» одинаково: сперва полюбуются ими, затем, озираясь по сторонам, торопливо сорвут: ну, а возвращаясь домой, обязательно покажут с хвастливой гордостью свою необыкновенную находку и друзьям-приятелям, и случайным соседям. А уж в заключение... съедят, непременно съедят. И сфотографировать забудут.

Но я, кажется, отвлекся, ушел в сторону.

...Так вот, в 1954 году геологическая судьба забросила меня, студента-дипломника, на стык Западных Саян с Восточными к самым кинжалистым пикам, самым неприступным гребням изгибистого хребта Эргак-Торгак-Тайга. (Кстати, севернее этого хребта путешествовал неутомимый первопроходчик-геодезист, талантливейший русский писатель-романтик Григорий Анисимович Федосеев.) Места вокруг простирались, в полном смысле этих слов, дичайшие, непуганые, первозданные. Всюду темнели густые, синие пихты, похожие на вздыбленные остроносые ракеты космодромов, то чистые, свежие, сия-

ющие, то безобразно увешанные растрепанными куделями чёрного, бурого и седого лишайника-бородача. Средь мрачных пихт и нежно-зеленых лиственниц-пухлянок ярко краснели могучие стволы кедров, таких высоченных, таких широченных, что и корабельных канатов не хватит, чтоб замерить их необъятные, раскидистые кроны. И лишь в низинах-чащах, куда не в силах был пробиться с блестящих снежных вершин беляков студеный ветер, весело пестрели березы. Одним словом, настоящие звериные дебри — с маралами-пантачами, с косулями-цветками, с рысями-скрытницами, с медведями-разгильдяями, с дерзкими, самодержавными царями заоблачных высот — горными барсами! И в этой глухомани, где, по прогнозам ученых-микологов, не должны водиться белые грибы, мы собирали мешками тугие, ядреные боровички-кедрачки. У них были низкие широкие каски, то светлые буровато-бронзовые, то какие-то загаристые, шоколадно-каштановые. На вздутых пеньках еле проглядывались тонкие водянисто-халцедоновые сеточки. Попадались и кудлатые коротыши-приземники, и стройные, раскидистые верзилы. Мы жарили их на костре в глубоких чугунных сковородках, тушили с консервированными сливками в эмалированных ведрах, солили в необхватных кастрюлях, добавляя туда для пряности дикий чеснок — черемшу, листья горной смородины, томленые коренья зверобоя. И никто, никто из нас не догадался привезти в Ленинградский ботанический сад хотя бы один засушенный экземпляр «белого полковника» Восточных Саян. Представляю, как бы обрадовались ученые этому бесценному подарку!

Ведь микологов, еще раз подчеркиваю, в Советском Союзе — считанные единицы. А поклонников «смиренной охоты» — свыше 80 миллионов!

Так не повторим досадной ошибки саянских путешественников! Давайте по мере возможности будем вместе помогать микологам!

Экое диво — съесть гриб!.. Еще меньше ума требуется, чтобы сбить его хворостинкой, растоптать каблуками. А ведь и «ваньки-встаньки», и «антошки-гармошки» привлекательны не только для кухонного стола. Грибы — еще нетронутые сокровища для медицины, пищевой промышленности, органической химии и просто для науки.

А разве не интересно знать, как правильно называется неведомый вам безмолвный «мальчик-с-пальчик»? Не

проходите мимо лесных чудинок-расчудинок. Собирайте гербарий незнакомых грибов! Он пригодится и вам, и ученым.

СЛАДКОЕЖКА

Мы вошли в нарядную трехцветную тайгу. Здесь росли только одни березы. Вверху — зеленым-зелено, посредине — белым-бело, а на землю будто опрокинулось густо-лазурное небо. То синела, плескалась, кудрявилась облаками волнистая россыпь крупной зрелой голубики. Издали она казалась темным виноградом, покрытым матовым росистым налетом. Кое-где жирными чернильными кляксами свисали продолговатые капли-ягодины жимолости. На взгорках рубиновым огнем полыхали веристые кусты шиповника.

Голубынь-ковер местами был сильно помят, истоптан, словно тут паслись коровы. Черно-синие и фиолетовые медвежьи «лепешки» заставили нас идти медленней, осторожней, останавливаться при каждом подозрительном шорохе.

Вскоре мы увидели, как по еле приметной звериной тропинке невозмутимо ковылял толстый темно-бурый мишка. Он брел себе спокойно, вразвалочку, лениво переваливаясь с боку на бок. Тучные сборчатые складки на его круглом широком теле переливались холеным лоском, как грудь селезня. Растопырив черные когти-вилы, похожие на гребенчатый совок-поддеватель, он засовывал правую переднюю лапу в кудри голубичника. Левой же лапой-громадиной деликатно придерживал потрясучие кусты, чтобы они не растрепывались. Только слышалось восторженное посапывание и аппетитное чавканье.

Сладкоежка был так увлечен вечерней трапезой, что совершенно не обращал внимания на нас, хотя мы стояли в каких-то тридцати — сорока метрах от него. Впрочем, ветер дул в нашу сторону, поэтому зверь, естественно, не мог учуять незваных пришельцев, которые затаились, как мыши.

Что же делать? Свернуть с азимута — направления маршрута — мы не могли. Да и некуда было, потому что кругом чернели предательские трясинистые топи, зловеще поблескивали средь унылого бурого мшаника водяные колодцы-провалы. Дожидаться, когда его лес-

ное величество соизволит наесться — этак можно проторчать на ягодной плантации до темноты.

Так что же делать?

Я вытащил из кармана рюкзака несколько спиралей сухой бересты, которую всегда носил с собой, чтобы разжечь костер во время затянувшегося дождя. Приготовил спички. Если хозяин тайги не пожелает нам добровольно уступить дорогу по березовому перешейку (а иного пути не было), мы постараемся напугать его огненными факелами. Саша зарядил сигнальную ракетницу. (Карабина, к сожалению, мы не взяли — слишком тяжел в походе.)

На всякий случай мы решили немного подождать — спрятались за скопище прижимистых стволов.

Но владыка сладкой плантации все же нас услышал. Он поднялся на дыбы и, опустив лапы-руки к коленям, вытянув длинный пупырчатый нос, с настороженным удивлением стал озираться по сторонам. Маленькие глазки прищурились зло, ехидно.

Саша старался не дышать, хотя и не показывал признаков страха. Он лишь крепче сжал пластмассовую рукоятку ракетницы да стиснул зубы. Увидев, что я тоже не паникую, он нарочито веселым тоном прошептал:

— Эх, жаль, поленился взять фотоаппарат. Какой бы чудесный снимок получился!

Медведь подозрительно осматривался вокруг. Что-то его не устраивало, тревожило. Раздраженно раздувая ноздри, принюхиваясь, он вдруг потопал на своих двоих ну прямо как человек. Подойдя к ближайшей березе, зверь начал остервенело сдирать кору лоскутами. Он подымал вилы-лапы как можно выше, временами даже пританцовывая на цыпочках, точно балерина. Слышалось яростное, жесткое царапанье, треск сухих сучьев. Тонкие папиросные чешуйки бересты кружились белыми лепестками черемухи. Желто-коричневые стружки и мучнистые опилки сыпались прямо на раздраженную крутокудлатую башку здоровенного матерого самца.

Волынов напрягся пружиной. Казалось, не выдержит — вот-вот пустит огненный шар ракеты. Фуганет в сердитую морду зверя, измазанную голубикой. Юноша наверняка думал, что медведь точит когти поострей, чтоб разделаться с нами.

Но я-то понимал причины странного поведения владыки таежного «виноградника». Подобные изодранные, измочаленные деревья, на которых, как на облюбован-

ной сладкоежкой березе, болтались лохмотья лыка, встречались мне и раньше. Павел объяснил, что таким способом самцы якобы показывают во время свадеб невидимым соперникам свою грозную силу. Если выше метинки — значит, опасно связываться с хозяином той или иной глухомани. Лучше подобру-поздорову улизнуть в иную чащобу, чтоб отыскать себе свободную невесту-медведиху. И еще сладкоежки якобы так метят свои заветные малинники да кедровники.

— Саша,— тихо прошептал я.— Вставай ко мне на плечи и тоже царапай ногтями березу. Пусть посмотрит, кто выше — он или мы?!

— Ты с ума спятил!

— Не бойся! Он принял нас за конкурента, за воров-расхитителей своей любимой ягодной плантации. Посмотри, как всполошится сейчас!..

На всякий случай я зажег факел. Сухая береза, плавясь и корчась, затрещала весело, огнисто, пуская черные языки копоти. Затем я выскочил из-за стволов, под которыми мы спрятались, замахал дымным горящим факелом, истошно, на всю тайгу, заулюлюкал. Бурый зверина-бычина аж присел, поджав к лапам голову. Подпрыгнув, он бросился удирать к болоту с такой прытью — только из-под черных пяток летели фиолетовые брызги от раздавленной голубики.

Дорога в маршрут была свободна, безопасна. Но что ждет нас впереди? Какие неведомые, неожиданные встречи? Какие приключения?

Геологи в походах никогда не могут заранее предсказать, что они увидят. Да и все люди, наверное, не всегда точно знают, что будет завтра. И в этом тоже особый интерес жизни.

КАК ДОМ РОДНОЙ

Опять я нарушил правила «техники безопасности»: вынужден идти в маршрут один, потому что мой напарник Саша Волынов до крови натер ноги.

Шагаю медленно, чтоб не заблудиться,— ведь кругом первобытная тайга. Однако заветных коренных обнажений, которые мне очень нужны для геологической карты, по-прежнему нет. Но я не скучаю, не проклинаю унылость великого сибирского леса.

Подобно тому как люди, живущие в городах, не име-

ют права равнодушно проходить мимо театров, музеев, цирков, стадионов, так и разведчики земных недр не должны закрывать глаза на природу, средь которой они работают. Иначе суровый полевой быт превратится в невыносимое, утомительное существование.

Но попробуй любоваться непуганой красотой диких пейзажей, когда перед твоим взором черным клубящимся заслоном крутится жгучий сухобрюхий комар — свирепая долгоносая бестия. Попробуй насладиться пением таежных птиц, если все звуки заглушает занудливый металлический гул этой злобной твари.

Вот сквозь облако толкущихся насекомых я увидел на зеленой пойменной лужайке яркую золотую россыпь девятильника — любимых цветов Павла. Останавливаюсь, глажу их круглые копеечные головки, напоминающие луговые ромашки. Над тугими желтыми кистями этой лекарственной травы льется густой духмяный аромат. (Павел уже насушил несколько снопиков девятильника. Он искренне верит, что девятильник якобы способен избавить человека от девяти болезней: от кашля, от насморка, от «грудной жабы»... Да еще от всяких потертостей и ссадин. Поэтому Павел заявил всем полевикам, что после девятильниковых примочек Саша Волынов будет бегать по тайге в девять раз быстрее, чем прежде...)

На прибрежной опушке горелого леса мне встретились буйные заросли малинового кипрея. Цветы — словно крылья бабочек, тычинки — крохотные туфельки Золушки. Стоило мне только притронуться к серебристым стручкам кипрея, как они с треском лопнули и, загибаясь кольцами, выбросили на ветер бесчисленное множество пушистых парашютиков-семян. (Павел всегда охотно собирает молоденькие нежные листья иван-чая, «колдует» над ними в уединении — томит, режет, сушит, а утром угощает нас душистым янтарно-зеленым напитком.)

Среди черных медвежьих раскопок снежными островками забелели кисти лабазника, которым Павел врачует «желудочные недомогания» Николая Панкратовича, когда тот чересчур объедается жареными глухарями.

Осторожно пробираюсь все дальше и дальше в глубь тайги. По-прежнему свирепствует хищный гнус. Но я не замечаю прилипчивой твари, не чувствую гнетущего одиночества. Каждый цветок мне кажется родным, одухотворенным существом. Каждое дерево удивляет неповторимой красотой. Подобно Павлу, этому «лесному че-

ловеку», и я, уроженец степного елецкого края, тоже стал понимать первозданную, дикую прелесть дремучих глухоманей, тоже, мне думается, научился разгадывать хитрые, запутанные тайны птиц и зверей.

Вот среди блескучих кедров стоит осина — стройная, ровная, словно корабельная мачта. Тускло-серый ствол ее изрезан черными глубокими шрамами — видимо, потрескался от жгучих сибирских морозов. Выше он густо испещрен выпуклыми серебристыми ромбиками. А еще выше... Вот это диво так диво! Почти под самым круглым куполом трепетной листвы глянцевитый, золотисто-зеленый ствол осины был окольцован широкой поперечиной. Кто-то жадно обглодал всю кору, и она шероховато желтела на темном фоне. Какой же зверь умудрился забраться туда? И почему он занимался странным «художеством», когда корой легко можно было бы полакомиться средь молоденьких осинок? Смешно, неужели из Африки прискакали долгоногие, длинношеие жирафы? А может, проказничал бурый медведь? Вряд ли! Эти толстые бирюки предпочитают питаться сладкими крахмалистыми корешками, ягодами, орехами. Может, косуля-попрыгунья? Может, лось или северный олень? Но ведь у них нет цепких кошачьих когтей. Правда, лосиные копыта острые, глубоко рассеченные. Хоть и соединены они перепонками с роговыми наростами, однако помогают лишь безбоязненно переходить болотистые топи да рыхлые сугробы. По деревьям, всем известно, сохатые не лазают.

И все же так высоко забрался именно он, грузный богатырь леса. Только не летом, а зимой, когда тайгу занесло снегом, который спрятал от животных молодые осинки, тальниковые кусты, сухую траву.

Я подхожу к громадной лиственнице, пытаюсь определить толщину ее морщинистого черного ствола. Мажу ладони сырой глиной, обнимаю великаншу. Сколько же веков стоит она, если даже нескольких меченых обхватов оказалось мало?! И как же умудряется жить эта дряхлая старушка, когда на ее куцей вершине зеленело всего лишь несколько кривых сучков? Жесткая, пропитанная окаменевшей смолою кора лиственницы превратилась в звенящие многослойные черепицы.

Под ее вспученными горбатыми корнями я увидел остатки какой-то растерзанной птицы: пестрые крылья, обглоданные лапки, крутолобую голову с красными перышками. Несомненно, это был дятел.

Бедный, неутомимый трудяга! Ты всем делаешь только добро: избавляешь больные деревья от паразитических точильщиков, строишь теплые, безопасные дома для птиц и зверей. В дуплах, продолбленных тобою, охотно поселяются белки, соболи, колонки, совы. Они прячут в сухих, темных «пещерах» добычу, спасаются там от затяжной непогоды и хищных врагов. Но никто, никто из таежных обитателей не платит тебе заслуженной благодарностью. Пронырливые кукары-кедровки, эти жадные истеричные родственницы ворон, хоть и питаются маслянистыми орехами, однако не упустят случая, чтоб украсть и расклевать птичьи яйца. Вертлявые, нахальные колонки беззастенчиво отбирают твои добротные гнезда. Даже благодушные, миловидные белочки-грызульки и те не прочь полакомиться мясом твоих птенцов. В чьи же зубы попал ты на сей раз? Кто прервал твои дробные барабанные трели?

Молчит сердитая тайга, не хочет раскрывать кровавую тайну.

Иду бесшумно, разборчиво, то и дело озираясь по сторонам, чтоб не пропустить коренных обнажений горных пород. Мелкая, липучая мошка назойливо лезет в рот, заползает в уши, до крови грызет ноздри, веки, бороду. Но я все вижу, все слышу, все чую. Мне не хочется, чтоб кончилась тайга, как не хочется закрывать увлекательную книгу.

...Из темного дупла, выпучив желтые, очкастые глаза, высунулся потревоженный моими шагами филин и вдруг взбудоражил тайгу страшенным заунывным стоном: «У-у-у... Уй-у-уй...»

Испуганно зацурюкала неведомо откуда появившаяся белка-телеутка. Вскинув пушистой щеткой рыжий бело-крапчатый хвост, панически юркнул под кедровые корни бурундук. Затем высунул из норки длинную корноухую мордочку и долго настороженно следил за мной с нескрываемым любопытством.

Время уже к полудню. Сквозь узорчатые прорехи ветвей проглядывает яркое бирюзовое небо. От волнистых серых облаков, заслоняющих солнце, то набегают, то исчезают синие зыбучие тени.

Пора и обедать. Я достаю из рюкзака походный закоптелый котелок, начинаю собирать ягоды. На сухих куртинках нахожу глянцевито-желтые кусты, обрамленные нежными зубчатыми листьями, утыканные коричневыми занозистыми колючками. Осторожно отщипываю

янтарно-красные, лаковые бочонки шиповника, высматриваю, где растет голубика.

По земле сплошными темно-зелеными звездами стелется чистенький пихтовый стланик: без пыльных налетов, без лишайниковых косм.

Вот наконец и плантация сладкого сибирского «винограда»! Крупные сизые ягоды густо усеяли розоватые ломкие стволики карликовых деревьев. Я бросаю в котелок пригоршню сочной голубики, пытаюсь отыскать для остроты лесного напитка целебную жимолость. Я знаю, что она любит светлые солнечные прогалины, и потому вскоре увидел продолговатые мясистые плоды. Они свешивались темно-фиолетовыми фонариками из-под овальных ворсистых листьев, которые попарно, друг против дружки, топорщились на суховатых ветках.

Среди кочкастых круговин бурого мха, где скупо серебрились приземистые тальники, я нахожу длинные гирлянды шикши. Они спирально обвиты стручковатыми, смолистыми хвоинами, щедро усеяны гладкочеными, как бусины, вороными ягодами. Я набираю полный рот сияющей вороники, выдавливаю языком сладковатый пахнущий дикими грушами сок. И глотаю, глотаю с удовольствием. Но много нельзя: иначе, как от медовой браги, закружится голова.

У чистого, шумливого родника я забираюсь в холодную гущу душистых кустов и бросаю в котелок несколько пригоршней черной смородины. Чтоб таежный чай получился красивым, добавляю еще рубиновые грозди мелкой, тугоналитой кислицы.

Затем развожу на сухом уютном пригорке «обеденный» костер. Черные комары не любят голубого дыма, темными, ураганными вихрями толкутся, кружатся надо мной, дожидаясь, когда я покину спасительную, теплую ухоронинку, поднимусь во весь рост.

Хорошо мне, радостно в тайге! Не мучает скука, не тревожит боязливое одиночество. Спокойно записываю в полевой дневник скудные геоморфологические наблюдения, заполняю журнал собранных металлометрических проб. От костра гянет ласковой теплинкой, хорошие, добрые думы струятся, как тихий шелест цветов.

Душистый ягодный отвар и необыкновенно вкусные после похода пресные пшеничные лепешки, испеченные Павлом на жарких углях, навеяли дремотную, умиротворенную лень. Я подбросил в огонь охапку сыроватого мха, чтоб не докучал гнус, и прикорнул немного под

защитными струями дыма. Надо мной мурлыкали белки-телеутки, звонко тинькали синицы, отбивала веселую чечетку малиново-хохластая, черная желна.

Беспризорный костер вскоре потух, и комары — эти верные, неусыпные телохранители — поспешили меня разбудить: ведь надо вовремя, засветло, успеть закончить маршрут. Пора заворачивать и к нашему цыганскому табору, но уже иным, кружным путем, чтоб собрать металлометрические пробы по новой линии, чтоб постараться отыскать хотя бы спутанные, перемешанные развалы коренных горных пород. Они так необходимы для составления геологической карты!

Однако снова не повезло: вместо желанных скал передо мной выросли густые, буйные скопища лапчатых пирамид можжевельника. Ярко-зеленые с матово-сизой подкладкой серповидно изогнутые хвоины его венчаются острыми иголками. Чтоб не оцарапать лицо, не ободрать руки, пришлось пробивать себе дороженьку спиной. Часто я вынимал из ножен тяжелый кинжал-сековик и обрубал зловещие, предательские ветви.

В самой заповедной гущинке можжевельника, невысоко над землей, между сжатыми развилками сучьев, попалось гнездо кедровки, свитое из мелкого прутняка и сухого ягеля. Под ним валялась голубоватая скорлупа, испещренная бурыми пятнами. Как жаль, что птенцы уже успели улететь!.. Мне очень хотелось сфотографировать выводок ореховки — главной сеятельницы сибирских кедров.

От теплого, разомлевшего на солнце можжевельника струился приторно-резкий, до тошноты противный дух. Еле выбрался я из цепкого, дурманистого плена.

Хоть дьявольский можжевельник здорово измучил меня, я все равно не могу пройти равнодушно мимо этих вечнозеленых деревьев, эффектно украшенных темно-синими ягодами в сизой поволоке.

Люблю их за преданность жизни, за стойкость, упорную молодость. Ведь они цветут с ранней весны до морозного снега. Одни ягоды уже давным-давно перезрели, а другие тут же рядом только завязываются.

Неожиданно на огненно-красном вечернем стволе кедра мелькнула чернявая белка-телеутка. Прыг-скок, прыг-скок... Передние лапки поджала, как ручонки, к белому нагрудничку, игриво приподнялась на дыбочки, весело, с любопытством разглядывает меня, тихонько квохчет. Кисточки короткие, коготки остренькие, нестер-

тые — явно молоденькая, непуганая сеголеточка. Я улыбаюсь ей, как милому другу, и она отвечает беспечной игривостью — забавно трет ручонками плутовскую мордашку.

Сквозь древние лиственницы, тряпично завешенные бородатым лишаем, брызнули малиновые лучи заходящего солнца. Потянуло знобкой, пресной сырью. Комары перестали нахально льнуть, забились от мшелого холодка в густые травы. Умолк наконец нудный, слитный гул кровососов. От пихт полился острый, бодрящий хвойный запах.

Вернулся с работы поздно. Конечно, с точки зрения геолога, мой маршрут опять оказался неудачным. Я не обнаружил коренных пород, не нашел интересных минералов и древних, палеонтологических ископаемых. А что я мог поделать, если в бахтинской долине нас преследовали три роковых «за»: задерновано, заболочено, залесено? И все же я остался доволен походом. Вековечная тайга звала, манила меня вновь.

УЛИТКИН ПУТЕВОДИТЕЛЬ

В грибном лесу, одна полянка другой полянке руку подает через кусты, и, когда эти кусты переходишь, на полянке тебя встречает твой гриб. Тут искать нечего: твой гриб всегда на тебя смотрит.

М. Пришвин

Грибники бывают всякие: есть как ящерицы-проныры — шныряют везде и всюду, да все с пустыми руками.

Есть как иволги-нелюдимы — им бы только забиться в глухие заросли, подальше от человеческих голосов.

Есть как лягушки-поскакушки — прыгающие по болотным кочкам за моховиками.

Есть как олени — почитатели привольных, цветущих полян; как тюлени, которым лишь бы поваляться, позагорать на лесной травушке-муравушке.

Тут и завидущие, тут и загребущие, и злостные хулиганы-вредители, и просто азартные любители, что не в силах одолеть своей страсти. Писатель А. Борчев рассказал:

«Однажды мне довелось, идя из леса, нагнать старушку, которая едва плелась под тяжестью короба с грибами за спиной. Я спросил ее, почему она так нагрузила себя: ноша была ей явно не под силу.

— И, милый,— ответила старушка,— разве удержишься и не поклонишься беленькому!.. А тут, вишь, слой пошел... Кого хочешь уведет...»

Есть и вовсе «неразберихи»: они сразу хотят настрелять дичи, наловить рыбы, нарвать грибов, насобирать ягод. Н. Сладков поведал про одного такого вездесущего неудачника, который потом жаловался:

«Я за ружье — грибы мне в глаза смотрят. Я по грибы — рыба сигналит: плюх хвостом в реке. Удочку налажу — ловись, мол, рыбка большая и маленькая! — чую: ягодой вокруг пахнет. Я за ягоды — утки над головой! Я за ружье и... на колу мочало — начинай сначала! Заблудился, в болоте вяз, в реке тонул. У костра сушился — штаны прожег. Хватит! Не буду! Чуть не помер!

— А веники-то, рыбий глаз, зачем наломал? — пристали рыбаки.

— Париться буду. Грязюку болотную смывать. Простуду выколачивать. Может, отойду к воскресенью — тогда опять двину.

— В каком же теперь звании двинешь?

Неразбериха подумал, глазами поморгал, губами пожевал и говорит:

— Грибником!

— Ну, коли назвался груздем, полезай в кузов! — обрадовались грибники. И протянули ему из кузова машины руки».

Одним словом, сколько грибников — столько и характеров!

Но имеется еще особая категория тихоходов, подражателей улиткам.

Улитки не шныряют, как ящерицы, не прыгают, как лягушки, а всегда с добычей. Появится ли где боро-

вик — они уж на боровике, выглянет ли где подосиновик — и они там. Потому что улитки все знают, все понимают. А грибы собирать — не бабочек ловить. Счастье счастьем, но уменье тоже требуется. Ведь счастье — вольная пташка: где захотело, там и село.

Белые грибы — «полковники» — появляются только в насаждениях 50-летнего возраста. В молодые рощи идти за ними бесполезно. Любят они мелкие кустики вереска и толокнянки, седоватые кудри ягеля, черничник-изумрудник, брусничник-вечнозеленник, муравьиные кочки, сухие, просветленные поляны, усыпанные толстым слоем перепревшей листвы, перебродившей хвои. К мокрым низинам и мшистым болотам жмутся только в жаркие времена, когда лишайники шуршат под ногами, как промороженный, крупчатый снег.

Будь, искатель, начеку!
Чудесами полон мир.
В каждом лесе, как в полку, —
Свой «полковник» — командир.

Кузовок пока не трогай —
Мы пойдем иной дорогой:
Я — с загадкой;
Ты — с отгадкой,
Начинаем по порядку.

Кто ж таится под сосной
В каске чернокорой?
На кувшине расписном —
Сеточки-узоры.
Коротышка. Толстоног.
И хитрец великий!
Любит ягель, вереск, мох,
Островки брусники.

(Белый гриб, сосновый)

Кто березе гнет поклон,
Мускульный, ядреный?
Каска выцвела, как лен,
От росы студеной.

(Белый гриб, березовый)

Кто штурмует елки смело —
Голенастый, стройный?
Каска вовсе поседела
От туманов хвойных.

(Белый гриб, еловый)

Но и среди деревьев, с которыми они дружат очень крепко и никогда не разлучаются, белые грибы почему-

то селятся привередливо, разборчиво. У них, как и у людей, тоже свои покровители, свои любимцы. Эту необъяснимую тонкость подметил еще 120 лет тому назад чародей-натуралист С. Т. Аксаков. Он писал:

«У меня есть дубовая роща, в которой находится около двух тысяч старых и молодых дубов. Старые стоят редко... и только под некоторыми из них с незапамятных времен родятся во множестве белые грибы, несколько особенного образования и величины, необыкновенной плотности, а также необыкновенного бронзового или стального цвета; иногда пестрые и глянцевитые, как мрамор».

Найдешь белый —
Остановку делай!
Попался один —
Значит, рядом сын,
А у сына — сыночки
Прячутся возле кочки.
У сыночков — сынки
Хоронятся под пеньки.
У сынков — тоже дети...
Только тех не заметить.

Итак, за белыми грибами надо отправляться в могучие дубравы и ельники, в корабельные сосновые боры и в старые березовые рощи. Никогда они не встречаются ни в ольшанике, ни в осиннике, ни в хлипких заболоченных местах. Избегают и слишком буйные черничники, и сплошные, тучные кудри брусники. Лес, в котором особенно любят служить «полковники», должен быть не очень темным, но и не чересчур солнечным, не сырым, не жарким, не захламленным. Мрачные синие гущары и жуткие буревалы они избегают.

Белый гриб ценится не только за удивительную красоту, но и за крепкую сочную мясистость, за чистую аппетитную белизну, которая не меняется ни при варке, ни при сушке, за необыкновенно пленительную духовитость. Если черный трюфель — бриллиант французской кухни, то белый гриб — непревзойденный кудесник русского кулинарного искусства. Куда только не кладут его повара! И в салаты, и в гарниры, и в соусы, и в подливы, и в рассольники-селянки, и в супы; и маринуют, и консервируют, и пироги начиняют, и в жаркое кладут...

«...По сокогонным свойствам белый гриб оказался наилучшим среди всех других видов грибов, взятых для исследования (осиновик, березовик, дубовик, лисичка)

и превосходит даже такой сильный возбудитель, каким является мясной навар...» (Б. П. Васильков).

А хорошо, с удовольствием поесть — не шуточное дело для продления долголетия человека. Вот почему нежный благоухающий бульон из сушеных боровиков особенно рекомендуется при упадке сил.

Если вы, дорогой искатель, задались непоколебимой целью приносить домой лишь одни белые, то знайте, что их легче можно обнаружить с помощью верных адъютантов-телохранителей, ибо...

Но сперва прочитайте сказку Д. И. Даля.

«Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, под дубочком сидючи, пыжится, дуется, из земли прет, на ягоды гневается:

— Вишь, что их уродилось? Бывало, и мы в чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же,— думает боровик, всем грибам голова,— нас, грибов, сила великая — пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду!»

У «полковников» прислужники свои:
Мухоморы, подвишени, валуи...
«Адъютанты» на виду всегда стоят.
А «полковники» в укрытиях сидят.
Сочиняют боевитые статьи,
Как грибам войной на ягоду идти.
Где появится кичливый «адъютант» —
Там и прячется главарь веселых банд.

Эту поисковую хитрость давным-давно подметили многие натуралисты. Как высыплют в березняках некрасивые «поганки» — подвишенники, похожие на лисички, только тускло-белые, так якобы недели через полторы на том же самом месте непременно вынырнет из-под земли бравая гвардия «полковников».

Но вот микологи не подтвердили пока никакой биологической связи и крепкой дружбы боровиков ни с ядовитыми красными мухоморами, ни с вонючими желтыми валуями, ни с бледными, сероватыми подвишенниками. Впрочем, некоторые ученые серьезно призадумались: а не существует ли такого же тесного симбиоза (сожительства) между разными грибами, как между лесными грибами и деревьями? Ведь сосновый боровик растет лишь в сосновых борах; в кудрявые дубравы никому еще не удалось переселить этого темнокорого толстяка. Почему бы прославленным воякам-«полковникам» не дружить с низкосортными сопливыми валуями? Ведь грибы не люди: за ранги не цепляются.

Опытные, бывалые искатели всегда спешат на те прогалины и лужайки, где щетинятся густые пучки ползучего злака белоуса. У этой сизоватой травы разгонистые жесткие листья и узенькие однобокие колоски, напоминающие бахромчатую занавеску.

Не пройдут равнодушно они и мимо голубой молинии тоже из семейства многолетних злаков. Ее длинные, ровные щетинки собраны в размашистые кисти, среди которых высятся мелкие, прижимистые метелочки.

Как радостный сигнал «Остановись! Будь начеку!» встречают они красные, круглые ягодки, сидящие поодиночке на стопылистых верховинках душистого майника. У этой родственницы лилии всего лишь два листа, широких, тонкожильчатых, остроносых, похожих формой на человеческое сердце. Цветки крошечные, необыкновенно ароматные. Их легко узнать: над четырьмя отвислыми серебристыми лепестками торчит крутобокий кувшинчик, утыканный четырьмя сдвоенными тычинками.

От листьев майника пылко начинает биться сердце искателя, от красных ягод азартно краснеют щеки, от душистого благоухания раздуваются ноздри. Голубая молиния навевает в разгоряченном мозгу тихохода голубые мечты. А пышный белоус заставляет утихомиривать шаги.

Почему же так преображаются степенные, рассудительные грибники-улитки? Да потому, что эти остроглазы давно подметили, что все лесные «полковники», щеголяющие в разных касках, любят прятаться, маскироваться среди майника, белоуса и молинии. Вот уж правда: хорош белый — и солдат умелый!

Все белые грибы без исключенья —
Пускайте только на сушенье!
И лишь малюток-желудей
(Уж коль, случилося, сорвали)
Замаринуйте поскорей,
Чтоб о лесах напоминали!

Если белые грибы предпочитают тень солидных деревьев, то другие являются поклонниками света. Они выбирают молоденькие усатые сосняки да редкие, рассыпчатые ельники с березами. Охотнее всего они разбегаются по влажным пригоркам, выстраиваются вдоль обочин конских дорог и лосиных тропинок, выскакивают на песчаных бортах отводных канав, хороводятся на широких мелкотравных полянках-делянках. Почти всег-

да они дружными компаниями поселяются на старых пожарищах и просеках-лесоповалах. Уж больно им нравится росистое, туманное раздолье, смолистая свежесть, рассеянные солнечные лучи. Этих щедрых плодовитых многосемейников, многостадников с измальства знает каждый читатель. Ну что про них скажешь особенного? Разве песенку спеть, как о веселых золотых петушках?..

Масляны головушки,
Шелковы бородушки,
Кружевны платочки,
А под шляпкой — точки.

Вы, конечно, сразу догадались, что это — маслята, маслятки, маслюшечки, а по-научному — масляники поздние. Русские сборщики с великой радостью маринуют их со всякими хитроумными заморскими и отечественными пряностями.

Если бродячая искательская страсть заведет вас в мокрые сосновые редины, то вы непременно увидите, как...

На окраине болотца
Рыхлый, серый блин печется.
Сочный. Толстый. Лопушистый.
И намазан маслянисто.
И повязан марлей чистой,
Только... редко кем берется.

Эти блеклые, дряблые «блины» с широкими угловатыми порами называются масляниками болотными.

Когда вам надоест скитаться по шумным европейским лесам, то настоятельно советую лететь с лукошками в Сибирь.

Там, в тайге глухой, дремучей,
«Апельсины» пляшут кучей.
Хороводами, рядами,
Отгоняя гнус шарфами.
А напляшутся — лежат,
Словно стадо поросят:
Бурые, развалистые,
Неопрятно салистые.
Крепко с лиственницей дружат
И оленям пищей служат.

Бесчисленное множество толстых, румяных маслят встречается в хмурых заполярных дебрях. Они растут только под лиственницами и больше нигде. Вот почему микологи окрестили их масляниками лиственничными.

Когда поспевают эти золотистые и оранжевые «апельсины», дикие олени покидают каменистые ягельные горы и, как чумовые, неудержимо устремляются в комариные низины. Не обращая внимания на кровососов, они жадно глотают лоснящиеся ароматные грибы. Сколько ж тысяч тонн этих вкуснейших даров пропадает в сибирской тайге, терпеливо дожидаясь вертолетных десантов сборщиков!

Некоторые искатели наивно считают, будто все маслята непременно щеголяют с бантиком под шляпкой, и потому прозвали их завзятыми «кокетками». Другие полагают, что и модные кружевные «воротнички», и теплые фланелевые «покрывальца» нужны им для того, чтоб спасаться от капризной осенней погоды. Только благодаря этим «украшениям» они якобы отлично себя чувствуют до самых заморозков.

А вот у масляников зернистых, которые растут в европейских сосняках только летом, нет ни пленки, ни кольца, как у родных сестриц — масляников поздних, а ножка вверху усеяна «крапом», то есть мелкими зернистыми бородавками.

Однако для всех русских искателей образ маслят издавна запечатлен в меткой загадке: «Был ребенком — пеленался в пеленку, стал старичок — надел воротничок».

Мудрить с маслятами не надо —
Они прекрасны в маринадах!

Вот с этими грибами все знакомы — и пионеры, и пенсионеры. Но не каждый знает, что они тоже разные, тоже имеют свои особенности, хитрости, излюбленные потайные уголки.

Они — детушки березовы,
С берестинками до пят.
В темны ноченьки колосные,
В теплы зорьки сенокосные
Выступают на парад.
А полками собираются,
Когда рожь сожнут кругом.
Хоть и формой отличаются,
Но повсюду называются...
Подберезовым грибом.

С атлетической фигурой.
В шапке круглой, черно-бурой.

За нос всех водить умеет,
Будто он — «полковник»...
Ну, а тронешь — **посинеет.**
Экий непристойник!
Но зато из всех вояк
Самый лучший, смелый —
Подберезовик-черняк —
Подражатель белых!

Черняки-подберезовики — плотные, крепкие, кубышистые встречаются только в сухих березняках.

А вот...

Этот хиленький, чахотный,
С зеленцою тусклою
По низинам и болотам
Растерял все мускулы.
Одряхлел, обрюзг, как бабка,
Потому зовут... обабком.

(Подберезовик болотный)

Водянистых, дряблых, мнущихся обабков собирают лишь неудачники. Они растут в сырых березовых лесах, у закраин трясинистых болот, на хлипких мшистых кочках.

Есть еще одна разновидность подберезовика.

Как оливки. Крепкий. Чистый.
В кепке вздутой, бархатистой.
Любит сухость и покой.
Но... **чернеет под рукой.**

Он так и называется — подберезовик бархатистый. Отменный гриб! Тоже, как и братец-черняк, предпочитает светлые, сухие березняки.

Ну, а теперь угадайте:

Кто из жителей берез,
Из «гвардейцев» смелых
Розовеет ярче роз
Под зубами белок?
Кто кичится шляпой серой,
Икрами раздутыми?
Только икры те не в меру
Стружками опутаны.

Это подберезовик розовеющий. Ищите его в сырых березняках.

Вы, наверное, обратили внимание на то, что слова «синеет», «чернеет» «розовеет» (при надломе) подчеркнуты. По этим признакам хорошо различаются меж со-

бой братья-близнецы — неразлучные дети берез. И уж, конечно, поняли, что искать их надо только там, где белеют березоньки. Вот правда так правда: «На дерево с березками и птица летит!»

«Гвардейцам» на столе — и слава, и почет!
Но лучше их сушить: пусть служат круглый год.

А подосиновики, оказывается, не всегда растут только под осинами.

«В осиннике до того теснит осинка осинку, что даже и подосиновик норовит найти себе елочку и под ней устроиться посвободней.

Вот почему, если гриб зовется подосиновиком, то это вовсе не значит, что каждый подосиновик живет под осиной...» (М. Пришвин).

До чего ж прекрасны эти «знаменосцы, запевалы, стоп-сигналы, подзывалы»! Особенно любят собирать их малыши. Да и взрослые радуются не хуже детей, когда замечают средь чистого зеленого мшаника яркую шапочку. Одним словом...

Все в лесу — и стар, и мал,
Как подарок ждут «сигнал».

Вот под лепетной осиной
Семафор взметнулся длинный:
Красно-огненный светляк,
В заусеницах стояк.

Это «красноголовик», «краснюк». Ярко-оранжевые или пунцово-малиновые «светляки-семафорчики», а по-научному подосиновики красные, живут лишь под осинами или в лесах, где осины вырубили недавно.

Средь берез и мрачных елей
Желтым пламенем зарделись
Молодые кругляши.
До чего же хороши!

Этих золотисто-бархатных толстяков величают подосиновиками желто-бурыми. Ищите их в березовых рощах, особенно в нехоженых закутках, куда подмешиваются реденькие елки.

Там, где сосны, вереск мглистый, —
Он погас от смол хвоистых.
Он всех братьев перерос,
Белокурый альбинос.

Как видите, матушек-осин тут и в помине нет. А подосиновики, хоть и необычные, водятся, но «где кто родится, там и пригодится».

Когда вам наскучит собирать слишком яркие «красноголовики», идите в березово-сосновые перелески, где черничка зеленеет. Как раз там и ждут вас не дождутся редкостные, седые патриархи-альбиносы — подосиновики белые. Разве не приятно украсить свой микологический букет разноцветными грибами? Все-все «тихие охотники» безумно любят гоняться за подосиновиками.

Каждый старый, каждый малый
Обнимает «стоп-сигналы»
И кладет в лукошко нежно,
Глядя с ласкою завидной.
Тронь грибной цветок небрежно —
Почернеет от обиды.

К сожалению, мякоть у всех светлячков-подосиновиков — и сосновых, и березовых, и осиновых — не только чернеет на изломе, но и делается зеленой, синевато-лиловой. Однако все равно подосиновики любят за красоту призывную все сборщики, особенно русские. Они придумали про этот гриб множество загадок: «Маленький, удаленький, сквозь землю прошел — красну шапочку нашел»; «на бору, на яру стоит старичок, красненький колпачок»; «мальчик-с-пальчик, беленький балахончик, красная шапочка»; «бел балахон, красна шапочка на нем». Никому из лесного «народца» не выпала такая «загадочная» честь.

Но быстрее всех грибов желтая мякоть преображается, ну прямо на виду, словно васильками покрывается, у верного сына широколиственных деревьев, который...

Средь дубов больших, суровых
Желудок растет дубовый.
День прошел, четвертый день —
Желудок разбух, как пень,
Как дубовою корой
Нарядил он стан тугой,
Низ суконного берета
Выстлал губкой красноцветной.

Он не только покрывается васильками, но и закипает индигово-синей злостью от слишком грубого обращения. И народ, и микологи зовут горделивого хамелеона одинаково — «дубовиком». Хоть и «неладно скроен, да сшит

крепко». Вы, конечно, поняли, что за этим грибом надо идти только в теплые дубравы. Ни в березовых рощах, ни в сосновых борах, ни в темных ельниках поддубник не растет.

Среди лесного «народца» есть «всех искателей спасатель, теплых кочек обитатель». Узнать и найти его очень просто, потому что он...

Хоть малютка, хоть старик —
Одноцветен, однолик.
Тюбетейка — с позолотой.
Сапожок — широкий книзу.
Любит вязнуть по болотам.
Караулить сосны призван.
Жить во мшаниках привык.
Друг лукошка... моховик.

(Желто-бурый)

Во влажных сосновых борах живут лишь моховики желто-бурые и моховики чернеющие с оливково-бурой шапочкой. А за бархатистыми зелеными моховиками надо идти в смешанные леса, а за красными — в лиственные.

Этот низкосортный, хлипкий гриб назвали очень обидно, оскорбительно — козляком или болотовиком. Он растет в сырых борах и на сфагновых болотах, по которым разбредаются чахлые сосны. Новички нередко путают моховики с козляками. Знайте: если у моховиков ножки круглые и ровные, как свечки, иногда расширяющиеся книзу, то у козляков они похожи на заточенный карандаш, воткнутый острием в землю. И еще: козляки часто селятся скученными, прижимистыми колониями.

Среди трубчатых грибов, с которыми мы уже познакомились, имеется ядовитый — сатанинский, или дьявольский «оборотень» и еще одно безвредное, однако слишком неприятное, горькое создание. Они очень похожи на благородных «полковников».

Вот как узнают средь добрых братьев-близнецов этих злых разбойников:

Растет каравай
На кубышке-ножке...
Наклонись, собирай
И клади в лукошко.

Если белый на изломе,
Значит — боровик.
Если желтый, как солома,
Значит — дубовик.
Ну, а если тускло-красный —
Стой! Замри и ляг!
Красный — страшный враг, опасный!
Ядовитый враг!

(Сатанинский, или дьявольский, гриб)

С виду — сущий боровик!
Ну-ка высуни язык!
Лизани надлом смелее!..
Что? Дерет? Бежишь отмыть?

Этот тип один умеет
Посильней любого змея
Бочку рыжиков сгубить.

(Желчный, или ложный белый, гриб)

Но... «врага бояться — в живых не остаться».

А попадался ли вам среди лесного «народца» полубелый гриб?

Он и в самом деле — «серединка на половинку»: хоть и похож осанкой на боровика, да все же не то. Командирская каска сверху охристо-коричневая, снизу вовсе ярко-желтая, даже зеленеющая от старости. Мякоть тоже с желтизной. И дух не тот, что у прославленных белых вояк,— карболкой пахнет.

Все-таки интересно: а вы такие грибы встречали? Ну не переживайте,— еще встретите.

Среди елей и сосен можно встретить еще одно горькое-прегорькое создание, у которого шляпка мелкая, клейкая, коричневая, трубчатый слой ржавый, а ножка плавно сужается, заостряется близ корня. За перечно-жгучий вкус он так и называется — перечным грибом.

В отличие от белых грибов, все остальные трубчатые одношляпники называются черными, потому что их мякоть при сушке и варке сильно темнеет.

А «колосовиками» считают не только первые подберезовики, но и все «ваньки-встаньки», вынырнувшие после зимней спячки в боевые, разведочные дозоры, чтоб

заманить во владения лешего веселых, аукающих сборщиков.

Еще больше разновидностей среди пластинчатых грибов — всяких «антошек-гармошек», «аленушек-солнышек»... Их тоже надо искать умеючи. Они тоже выбирают любимые деревья, тоже поселяются каждый в своем излюбленном месте.

Например, вот этот, который...

Как глубокая тарелка...
Из него пьют воду белки.
Под ногами — хрусть да хрусть
Солонец первейший!..

(Груздь)

Этот «кучник-стадник», тучный «лохматник» по кличке груздь настоящий живет лишь в березовых и сосново-березовых лесах.

Каждому начинающему искателю полезно знать, что...

У белых берез — смоляные пестрины.
У пестрых березок — два пестрых сына:
Груздь черный — чернушка, груздь белый — беляк.
А с елями дружит их братец — желтяк.
С дубами роднится — груздак золотой.
В осинах ютится... Скажите, какой?

Итак, у березы-наседушки и среди пластинчатых грибов имеются детушки: белый, сырой груздь-бородач и лысый черный груздь — чернушка — темный зеленовато-бурый коротыш с белыми ребрышками-гармошками.

Только под сумрачными елями и синеватыми пихтами водятся пушистые, сочные, молочные желтяки — грузди желтые.

Только под широкими, кудрявыми дубами вы можете отыскать дивную россыпь оранжево-золотых тарелок, разрисованных еле уловимыми кольцами-кругами,— дубовые грузди.

А в осинах ютится... груздь осиновый, шляпка у которого «беловатая, с более или менее заметными, особенно у молодых экземпляров и по краю, бесцветными, водянистыми зонами».

Правда, любители рыбной ловли могут тоже наполнить свои садки этими солонцами, потому что осиновые грузди растут и на речных поймах — под буйными зарослями осокоря.

Когда я собираю грузди, так и подмывает переделать на грибной лад народную песню «Плывут, плывут уточки, ути-плосконосочки».

Под листвою прелою
Всплесками неслышными
Плывут ути белые,
Свесив крылья пышные.

(Грузди белые, настоящие)

А за ними — черные,
Распушились перьями.
С палочками сорными,
С травушками серыми.

(Грузди черные, или чернушки)

А за теми — желтые
По реке хвоиной.
Шишками исколоты,
В липкости смолиной.

(Грузди желтые)

Грузди хоть и грузные с виду, хоть и кажутся толстыми, нерасторопными, но однако — с плутовской хитринкой. Очень нравится им играть в компанейские прятки. Шмыгнут под лиственой настил и с ухмылкой, краешком гнутых ресничек выглядывают, как скороходные бегуны гоняются по болотным кочкам за дряблыми козляками и кичливыми сыроежками-балеринками. Собирать их одно удовольствие. «Дружно не грузно, а врозь хоть брось».

Самые любимые, самые желанные грибы русского народа — рыжики. Они растут лишь в хвойных лесах. Сойки-горланки на смех вас подымут, если вы отправитесь за ними в березовые, осиновые или дубовые рощи. В природе существуют два вида рыжиков: рыжик сосновый, приземистый коротыш и рыжик еловый, более долгоногий, чем родной братец.

Если белый гриб — достойный, призванный «полковник» средь «ванек-встанек», то рыжик — бесспорный «генерал» средь «антошек-гармошек». Всегда гордый, блистательно-нарядный — в ярких медно-золоченых доспехах, к тому ж — большой любитель шумных праздничных парадов. Где зардеет один, там непременно ищите марширующую колонну. Они не выносят затхлой

сырости, не терпят сумрачных глухоманей. Они предпочитают шагать по чистым, возвышенным куртинкам, средь привольных полян и опушек, где трава не очень густая и высокая. Любуйтесь, наслаждайтесь, сборщики-землепоклонники, огненно-рыжим полыханьем! Не забывайте про еле видимые бугорки на буром пологе истлевшей хвои. Копните палочкой-выручалочкой — там непременно спряталась бравая гвардия «суворовцев»: мал малышка меньше. А лучше скиньте свои резиновые сапоги, не бойтесь росы-обжигательницы, не страшитесь гадюк-ядовиток, муравьев-кусучек, да ищите, как искали в старину эти рыженькие копеечки каргопольские топтальщики — пальцами босых ног...

Рыжики! Рыжики!..

Что касается питательности, то даже нагульным курам и молочным телятам трудновато тягаться с солеными рыжиками. И усваиваются они человеком куда лучше, чем все грибы на свете. Даже прославленным французским трюфелям из Перигора с ними не сравниться.

Выходит, быть «рыжим» — не так уж плохо!

Знать, недаром:

В бутылках раньше рыжики солили
И, как шампанское, под Новый год дарили.

Часто можно встретить и такой гриб: «всем искателям — приятель, а талантам — подражатель».

Так и прет из-под земли
Он под груздь мохнатый.
Но... усы не отросли
Да и... суховатый.

Белый подгруздок растет в смешанных лесах, а черный — только в сосновых. Но куда б ворона ни полетела, везде она будет хуже сокола.

Многие сборщики охотятся и непременно с большими плетенками за пластинчатыми «Аленушками», которые — летом награда хваленая, зимой — отрада соленая.

На покосные делянки,
На березовы полянки
В «бабье лето» раскидали
Самоцветные медали —
Розовые, чистые,

С кольцами лучистыми,
С волнами-махнушками,
Их зовут... волнушками.

Вы, наверное, не раз любовались, как от камешка, брошенного в тихую заводь, расплываются круги: в центре — частыми колечками, а дальше — все более расширяющимися. Вот и у розовых волнушек за ворончатым колодцем темные красноватые концентринки сдвинуты густо, а по направлению к подвернутому краю шляпки промежуток между ними постепенно увеличивается, как у расходящихся волн.

Не потому ли волнушки волнушками названы?

Розовые волнушки ищите только в старых березовых рощах, а белые волнушки — беляночки предпочитают свеженькие тонкоствольные березняки или молодые смешанные перелески, но такие, чтоб там непременно пестрели веселые березоньки.

Вообще во всех наших зеленых гущарах несметное разнообразие самоцветов-млечников, солонцов-заплечников. Их собирают в сосновые и лыковые кошели, которые вешают на спину, чтоб деликатные, ломкие, хрупкие, как стекло, грибочки не крошились бы.

Как же узнать их средь рыжиков, волнушек, груздей? Да очень просто!

Этот модник бесшабашный
Покоряет чистотой.
Но такой же хрупкий, сочный,
Молочайный...

(Подмолочник)

У подмолочников очень много разновидностей: млечник бурый, белый, красный, вялый, нейтральный, умбровый, лиловеющий... Пальцев не хватит, чтоб пересчитать этих горьких головушек, пестрых коровушек.

Запомните:

Все, все грибы, что «молоком» налиты,
Не жарьте никогда. Они все — ядовиты!
Их только солят в специях столовых
Иль просто так, чтоб дух замлел груздевый.

Особенно намучились микологи, подбирая имена кокетливым представительницам лесного «народца», кото-

рым одна восторженная московская грибница посвятила такие стихи-загадку:

Деликатна и нежна,
И всегда грустит она:
«Ах, какая ломкая,
Вроде как соломка я!..»

Ну, что за гриб? Ладно, не ломайте корзины, потерпите малость. Я вам еще подброшу русскую народную загадку про этих очень хрупких пластинчатых неженок.

Тридцать пять сестер-дочерей
И все — от разных матерей?

Что, опять заволновались, как волнушки? Придется разъяснить поподробней.

Одинаково зовут
И во всех лесах живут.
Покорили тундру, горы.
Носят яркие уборы —
Золотые, красные,
Синие, зеленые...
Все в лукошках — разные.
Все одни — соленые.
Собирай, не мешкай!
Это — сыроежки.

Всего на земном шаре зарегистрировано 150 разновидностей сыроежек, некоторые микологи утверждают, что их — свыше двухсот! В нашей стране проживает не «тридцать пять сестер-дочерей», а почти восемьдесят. Будете ходить по лесам — проверьте, пересчитайте сами.

Эти яркие, броские выручательницы всегда на виду, словно упрашивают: «Возьмите нас, пожалуйста! Не пожалеете!» Оно и правда: и варить, и жарить, и солить можно «одноименных разноцветниц». Как жаль, что при кипячении блекнут, белеют их нарядные атласные колпачки!

Среди великого множества шляпочных грибов они составляют почти треть урожая.

Одним словом, эти милые, добрые сыроежки, эти беззаветные спасительницы начинающих искателей «лесного счастья», к великой радости сборщиков, плодятся везде и всюду. Без них верхоглядам было бы худо.

Среди разношерстного «народца» обильно встречаются и такие:

Все — задиры, забияки,
Жители древесные.
То в муке. То в чистом лаке.
Темные. Белесые.
Серые. Кирпичные.
Ползунки отличные.
Ноги тонки. Шляпки тонки.
Ох, и любят же они
Лезть, карабкаться на пни,
Эти хищники...

(Опенки)

Опенок, хоть лесной злодей,
Но в русской кухне — чародей.
Сухой, соленый или свежий,
Он всех пленяет вкусом нежным.

Однако и веселых «задир — густокучников-неразлучников» надо стричь ножницами, с оглядкой, чтоб не угодить потом в больницу. Ибо...

Есть опенки весенние.
Есть опенки осенние.
Есть опенки пригожие.
Есть — опасные, ложные.

Как же отличить средь пленительных чародеев русской кухни ядовитых двойников-близнецов? Да очень просто!

У съедобных опенок
На ноге — кольцо из пленок.
А у ложных опят —
Ноги голые до пят.

Если еще вдобавок вы запомните, что коварные ложные опенки — кирпично-красные и серо-желтые — носят яркие, вызывающе броские блины-шапочки, соответствующие их названию, то вам не будут угрожать врачи скорой помощи промыванием желудка.

У осенних опенков, за которыми все охотятся, чтоб намариновать, шляпки-листики скромные: серовато-желтые, светло-коричневые или буроватые. К тому же они покрыты шершавыми чешуйками — черепицами, которые отсутствуют у их самозваных родственников.

Пластинки у съедобных опенков белые или слегка золотистые. У поганых — серо-желтые, зеленые, серые, пурпуровые, черно-оливковые.

Мякоть у настоящих опят белая, с тонким грибным ароматом. У ложных — желтая, горьковатая, с тяжелым, неприятным запахом.

Вообще всем начинающим искателям надо быть очень внимательным, осторожным. Безрассудные верхогляды и самоуверенные неучи-гордецы ошибаются, как саперы, лишь один раз в жизни.

К сожалению, растет в широколиственных лесах сущая ведьма-бестия: жалкая на вид, смертью всем грозит.

Бледный куполочек,
Бледненький шарфочек,
Бледненькая ножка
В луковке-галошке.

Колпачок у нее желтоватый, зеленоватый, сероватый. Цвет пластин и мякоти всегда белый, ножка тоже белая или зеленоватая, кончается колотушкой, то есть грушевидным вздутием, а колотушка спрятана в мешок.

Но вы не верьте в ее болезненную бледность, в ее невинные стариковские галоши и смешные старушечьи платочки-шарфики. Это волчица в шкуре барашка.

Навсегда запомните три главные заповеди:

1. Если вам попадется подозрительный, блеклый гриб с булавой у корня — не рвите его, не берите. Это — лесная смерть.

2. Если вам попадется неизвестный гриб-зонтик с белыми пластинками, булавовидная ножка у которого, как в колодце, прячется в чехол,— не рвите его, не берите. Это — лесная смерть.

3. Если вам попадется незнакомый чахоточно-бледный гриб с чистеньким платком-колечком на ножке — не рвите его, не берите. Это — лесная смерть.

Как азбуку вызубрите совокупность всех трех признаков, чтоб никогда не совершить роковой, непоправимой ошибки.

Зовут лесную смерть бледной поганкой.

Некоторые искатели утверждают, будто бледную поганку можно спутать с благородным шампиньоном. Но один миколог заявил: «В отношении шампиньона предубеждение не имеет ни малейшего смысла, кроме того обстоятельства, что гриб этот так же походит на ядовитый лжешампиньон (бледную поганку), как угорь на змею...»

Во-первых, у шампиньонов отсутствует пестик-булава; во-вторых, пластинки не постоянно белые, а розовые или фиолетово-бурые.

У зеленых сыроежек, которых легкомысленно можно принять за страшную отравительницу, тоже нет ни чех-

ла, ни кольцевого воротничка, ни булавовидной ножки. (Новичок обязан откручивать подозрительные сыроежки с корешком, чтоб собственными глазами убедиться в их безопасности.) И еще: пластинки у сыроежек хрупкие, ломкие, у бледной же поганки — гибкие, эластичные.

А вот съедобные толкачики — эти сладкие, точно курятина, белые, серые, шафрановые, желто-коричневые и золотистые поплавки, зонтики, шлемики — похожи на злодейку-убийцу, как брат на сестру. Одно отличие: у толкачиков нет кольца-шарфика на пеньке. Да вот беда — у бледной поганки эти кольца часто сбиваются, опадают. Так что будьте внимательны. Если вы не научились достоверно различать эти грибы,— не гонитесь за сладкой «курятиной». Лучше не трогайте толкачиков: оставьте их знатокам. Хуже будет, если вы ошибочно положите в свою корзину хоть одну бледную поганку, каждая крошка которой — неотвратимо смертельна.

Есть и еще опасные грибы: нарядом — красивые, характером — спесивые. Такой, например:

Красный-красный с белым крапом.
Чудо-сказка всех лесов!
Давят, бьют его ребята,
Словно змей и комаров.
Но за что, за что страдает
Молчаливый, дивный врач?
Иль за то, что полыхает
Ярче, краше, чем кумач?
Иль за то, что мух он морит,
А незнаек глупых бесит?
Помни! Яд — не только горе.
Яд — волшебный наш кудесник!

(Красный мухомор)

Из красных мухоморов приготавливают лекарства, назначаемые при спазмах кровеносных сосудов, склерозе головного мозга и хронической ангине. Этим ядовитым грибом русский народ издавна лечил «скорбную ломоту костей» — ревматизм, делал из него настойку от судорог, параличей, опухоли желез, от кашля. Применялся он и от мучительного, острого «прострела» — радикулита.

У пантерного мухомора — шляпка плоская, зеленовато-бурая или коричневая, густо испещренная белыми

«пантерными» пятнами-бородавками. Он тоже способен отправить человека в могилу.

Вот какие страсти-мордасти! Но вы не бойтесь, не огорчайтесь. Я вас не запугиваю: на кнуте далеко не уедешь. Истинному искателю лесного счастья не страшны ни «волки», ни «пантеры», ни «тигры», если он будет относиться к немому «народцу» с почтительностью и уважением. Грибы на авось не берут, не жарят. Гуляйте спокойно средь деревьев, наслаждайтесь отдыхом. Только не теряйте бдительности, осторожности — и счастье в ваших руках! Помните: лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.

Если вы будете ходить в лес не от случая к случаю, а регулярно — в каждое воскресенье, то ваше пошатнувшееся здоровье непременно поправится, взбудораженные нервы успокоятся, а холодильники начнут ломиться от всяких грибных деликатесов: соленостей, маринованностей, консервов, соусов, икры, эссенций...

Постепенно с помощью опытных искателей и красочных наглядных определителей вы узнаете множество и других полезных съедобных растений. Ну хотя бы вот эти пластиночники, которые живут под соснами-краснозорницами.

Любят бор сухой, зеленый.
Любят рытвины и склоны.
Любят прятаться в песок.
И в похлебке, и в засолке
Зелены всегда, как елки.
Знать, недаром говорят:
Не стареет их наряд.
«Зимой и летом —
Одним цветом».

Эти «стыдливицы-песколюбки, которые всегда в зеленой юбке», так и называются — зеленушками.

Универсальный гриб! Хорош и вареный и жареный, вкусен и маринованный и соленый. Бесподобен в соусах и бульонах: для этого надо высушить и размолоть в мелкий порошок, который полагается хранить в герметически закупоренных флаконах. Аромат сильный, приятный.

Молоденькие зеленушки покрыты тягучей, клейкой слизью. К ней охотно прилипают всякие песчинки. Высыхая, они превращаются в шершавый, как наждачная бумага, панцирь. Хрустально поблескивают крохотные

осколочки-зернышки прозрачного кварца; серебрятся чешуйки мусковита, золотятся слюдочки вермикулита, нежно розовеют обломочки кристалликов полевого шпата. Хоть минералы горных пород изучай на панцирном шлеме зеленушки, особенно, когда ярко сияет предзимнее солнце. Ведь гриб этот не боится ни морозов, ни первых метелей, ни колючего инея. Зеленеет себе даже в ноябре — грудене.

Но из-за проклятого песка, который густо набивается в глубокие пластинки с выемчатыми краями, многие сборщики недолюбливают крепкую, плотную зеленушку. Им тошно мыть, чистить, скоблить наждачный панцирь. Им подавай готовенькие разносолы в сметане! Да что там возмущаться: ленивому гриб не стоит поклона...

Чистые, светлые боры, благоухающие хвойной свежестью, очень любят пышные самодовольные холеные мещанки.

Нет для них заветней цели,
Чем забиться в мягкий мох.
Чтоб комарики не ели,
Чтоб туман обжечь не мог.
От жары под сосны лезут.
Жмутся к вереску всегда,
И девиз у них железный:
«Теплота! Покой! Еда!»
Оттого толсты, как пышки,
Ноги вздуты, словно пень,
Эти жирные кубышки...
Собирай, кому не лень!

Но, увы, жирные, маслянистые кубышки, то есть толстушки, берут-подбирают, впрочем, как и зеленки-песколюбки, только хозяйственные, неприведредливые искатели. Они хорошо знают: у зимы брюхо велико.

К сожалению, очень много еще не признанных детей леса, которые напрасно гниют, погибают на корню, не удостоенные ласковых прикосновений человеческих рук.

В темнинах сумрачных, в лишайниках еловых
Таится гриб — нарядный, невеселый.
То серебристо-серый. То пурпурный.
Восточный купол на столбе ажурном!
Но не доволен он своей судьбой —
Наверное, за то, что всеми позабытый...

И плачет, плачет горько день-деньской.
Так пожалейте же! Ведь он — не ядовитый!

Безутешными, горькими слезами заливаются почти все мокрухи: и еловые, и розовые, и пурпуровые. Да что толку: слезами горю не поможешь.

Вешенок обыкновенных, самых ранних, вешних грибов, которые будто подвешены, называют еще белочками. Встречаются и другие вешенки-белочки: осенние, рожковидные.

У масленок — пленки, пеленки.
У опенок — колечки-манжетки.
А у этих — ниточки тонкие,
Что блестят серебром на ветках.

Пауки их, конечно, не ткали.
Ткал сам гриб. Но зачем? Неизвестно.
Чтобы дети в лукошко не брали?
Нет, берите! Их вкус — чудесный!

Эти паутинники — тоже из семьи пластинчатых. «Сюда относится много видов и довольно мясистых, нередко очень ярко окрашенных, произрастающих осенью, в различных лесах и встречающихся довольно часто, но не обильно. Среди этих грибов не имеется ядовитых, и потому их вполне можно употреблять в пищу» (Б. П. Васильков).

Но не собирают пока русские паутинников, потому что многие из них дурно пахнут. Правда, это неприятное благоухание сразу же пропадает у отварных солонцов.

Вот эти «золотые самородки», эту «яичницу на сковородке» все очень любят. Да, их есть за что ценить...

Желтый. Колокольчатый.
С краешками сборчатыми.
Вилочки — внизу
По ноге ползут.
Нечервивый. Кучный.
Класть в рюкзак сподручно.
Лишь одна лисица
На него все злится:
«Ох, нет моченьки-терпенья!..
Что за наглые творенья
У моих детишек-кралей
Имя красное украли?!..»

Лисички — очки лесные, зрение обостряют, ибо...

В них витаминов больше, чем в морковке, —
Вот почему оранжевы головки.

На коричневых сосновых иголках строгими рядами лежат какие-то блестящие «пуговки» — кругленькие, серенькие, как пепел. На их плавных буроватых башенках — черные-пречерные шелковинки, бегущие вниз радиальными лучами. Вытянулись клейкие пуговки по сухой хвоистой подстилке длинной ровной строчкой, будто их накрепко пришили. Какой же лесной чародей застегнул землю на эти сияющие оловянные башенки, исполосованные смоляными нитями?

Не гадайте. Наклонитесь, открутите легохонько одну пуговку-застежку. Вы увидите редкие широкие пластинки тусклого желтоватого цвета. Надломите краешек грибка. Белое мясо вдруг начнет румяниться. И сразу же почувствуете тонкий аромат пшеницы. А если попытаетесь очистить шляпку, то убедитесь, что кожица сдирается так же легко, как у маслят и некоторых сыроежек. Откопайте теперь столбик, на который приживлена пуговка. Он беленький, гладкий, крепкий, но в песок уходит глубоко-глубоко, не хуже чем у зеленушки.

Так что же это за гриб, который выстроился, выстрочился рядами? Ну конечно, она, рядовка серая, прозванная так за свою манеру маршировать линейными шеренгами по сосновым лесам от сентября до самых заморозков. И варить, и жарить, и солить можно — во всех блюдах вкусны оловянные пуговки...

Если рядовка серая шагает ровным строем, то ее сестра фиолетовая рядовка, которая вся будто пропитана аметистовой краской, предпочитает каруселить, то есть кружиться под розовыми соснами фиолетовыми «ведьмиными кругами».

Желто-красная рядовка тоже с причудами: любит вскакивать на пни-смоляки, да еще веселыми компаниями. Эти спортсменки насквозь пропитаны яичной желтизной. Но шляпки кичливо яркие, густо испещрены темно-красными волокнистыми чешуйками. А вот пластинки у них выдающиеся, рекордные — с ресничками, которые словно опущены по краям. Много ли вы знаете среди «Антошек-гармошек» чемпионов с необыкновенными, волосатыми пластинками? Вряд ли. Почти

у всех грибов они гладенькие, подобно лезвию ножей, правда, могут быть и щербатыми, и с выемками.

А вот рядовка скученная получила такое имя за то, что растет кучами, хотя ребрышки-лепестки, как и у всех рядовок, сразу же примыкают к вершине кубышистой ножки и не сползают вниз, чем выделяются, например, среди лесного «народца» лисички, мокрухи, подгруздки. От общего корешка-основания вздымается куча разновозрастных шляпок. Этакий грибной куст! Случается, под одним гладким сероватым куполом словно прячутся от глаз искателей по пятку — десятку миниатюрных, точеных игрушек — от крупных до самых маленьких, с горошину. Этих неразлучных материнских выводков можно встретить поздней осенью не только в хвойных лесах, преимущественно сосновых, но и вдоль дорог, в городских парках и даже... на огородах.

Есть еще один вездесущий гриб, про который говорят: «Какова обличка — такова и кличка».

Войлистые. Бурые.
Грязные. Понурые.
С лапами кривыми.
С ребрами косыми.
Как свиные уши,
Разлеглись...

(Свинуши)

Где одна свинка, там непременно сорок дружных поросят все под кустиком сидят. Они не только, как дикие кабаны, любят поваляться в тени деревьев, но забираются даже... в муравьиные кочки. Пальцем ткнешь — сразу же темнеют, а вот жгучих муравьиных челюстей не боятся.

У тонких свинушек мякоть желтая, у толстых свинушек неизменно белая, точно свиное сало. Правда, ножки твердые, копытистые.

Впрочем, их редко кто собирает. К ним такое же брезгливое отношение, как у степных народов к нечистоплотным хрюшкам. А зря! Любой искатель захрюкает от удовольствия, стоит лишь отведать этих поросюшек солеными с листьями вишен, или жаренными под густой сметаной вместе с картошкой.

Пренебрежительно отворачивают носы многие сборщики и от «слюнтяя-слизовика», который...

Маслянистый, как масленок,
Но без пленок и пеленок.
Желтоватый. Колобастый.
С ножкой стройной, длинной.
Ну, а к старости — клокастый,
Весь в рубцах-морщинах.
Старость —
И для грибов не радость...

Но вы не проходите равнодушно мимо «соплюшек». Они особенно прекрасны в зимних разносолах. Кроме того,

Из валуев хозяйки-мастерицы
Икру готовят — хоть в Париж годится!

«Скрип-скрип... Скрип-скрип...» —
Заскрипел скрипучий гриб,
Круглый, белый, словно груздь,
Только твердый. Ну и пусть!..
Только жгучий. Ну и ладно!..
Отмочи в воде прохладной.
Отвари — в засол годится.
Пусть во рту скрипит...

(Скрипица)

Ишь какая она! Так и прыгает в кадушки, но боятся их старушки. А ведь знаменита, ибо...

Трескучая, горькучая скрипица —
Ни слизняков, ни стужи не боится,
Ни червяков, ни жарких лучей солнца —
И тем прославилась средь скромного «народца».

А вот к этим «рыцарям-пугалам, жгучкам-обжигалам» почти все ленинградцы уже давно привыкли.

Раскоричневая рать
Шла незнаек напугать
Шлемами колючими
И отравой жгучею.
А незнайки — не зазнайки,
В плен забрали злые стайки,
Отмочили, отварили,
С черным перцем посолили.
Удивленные хозяйки
Только ели да хвалили!

(Горькуши)

Что верно — то верно: справедливость всегда побеждает. И все другие жгучие млечники, которых многие искатели боятся, тоже будут брать со временем.

Белые грибы, каждому известно, держатся скромно. Они застенчиво прячутся в траву, под зеленый мох, под олений ягель и вереск. Белые все знают — и мал, и стар,— никто не сомневается, что белый есть белый.

А вот о говорушках только и говорят: «Брать или не брать? Хорошие или поганые?» И говорушкам нравится, что о них говорят, говорушки не смущаются, как белые. Они всегда на виду и даже не прочь покрутить «ведьмины круги» — хороводы.

А ведь «народец»-то так себе: четвертой категории. Серенькие, плоско-выпуклые, прилизанные колпачки. Пластинки неправильные, косо ниспадающие к ножке. И пахнут заплесневелым хлебом.

Но есть еще ворончатые говорушки, похожие на белые фарфоровые чашки. Из говорушек хорошо пить в лесу родниковую воду. И только!

А разве напиться, разве напоить водой усталого путника — это мало? Разве говорушки не имеют права об этом говорить?

Мы пока путешествуем с кузовком загадок по лесам. Однако пластинчатые грибы растут и в поле, и на лугу, и за скотными дворами. Такие, например:

Раздайся народ —
Хоровод идет!
Все танцоры стали в круг
И плясать пустились вдруг.
Пляшут ночь, пляшут день,
Только шапки набекрень.
Только ножки захромали.
Ну, а им — все мало, мало!
Потому от пляски бурной
Похудели эти дурни,
Истоптали майский луг
И засохли в... «ведьмин круг».

Правильней было б величать этих неугомонных бравых плясунов «гвоздичными грибами», потому что они благоухают гвоздикой. Но микологи почему-то окрестили их луговыми опенками, хотя всем известно — пней да колодин на лугу не бывает.

Над манжеткой белой, гладкой
Розовеют жабры.
Спит в навозных, теплых грядках.
Лезет в шахты храбро.

Под землею созревая,
Пол асфальтовый взрывает.

Да что там гадать! Это обыкновенные шампиньоны: любители кромешной темноты, культурные навозные кроты. Головка у них белая, с тончайшими буроватыми волокнами, сперва как шарик, затем — плоско-выпуклая.

В поле растет полевой шампиньон. Колпак у него тоже белый, с желтоватыми, расплывчатыми пятнышками. В молодости они похожи на шелковистую кубанку, в старости — на голый зонт. В отличие от оседлого, домашнего братца этот лысун желтеет при дотрагивании, да и стебель не плотный, а с узким просветом. Кочует он и по травянистым лесным полянам и по широким опушкам.

В темных ельниках встречается лесной шампиньон. Шляпка у него на макушке темная, с бурыми чешуйками, в пору юности колокольчатая, с годами выплаживается, но острый бугорок посредине всегда держится козырем.

Все три брата-шампиньона непременно щеголяют с пленчатым кольцом на ровной, круглой ножке.

Вот этот гриб зовут с презреньем самым низким словом, а в нем талант под серою основой...

С виду он совсем поганый:
Серый-серый, драный-драный,
Тусклый-тусклый, хилый-хилый,
Словно вышел из могилы.
В спешке выводов не делай!
Он обильный, скороспелый,
Самый вкусный, самый нежный!
Не пинай ногой небрежно!
Самый мудрый и серьезный,
Хоть и вылез из навоза.

«У, навозник поганый!» — злорадно топчут эти серенькие колокольчатые колонии не только ребятишки глупые, но и солидные мужики ученые.

Зачем? Почему? Откуда взялось такое мстительное, бандитское отношение к бедным копринусам? Ведь они, ведь они... Приведем лучше отрывок из романа московского писателя Н. П. Лохматова «Листопад».

«Под ногами лопались ядовито-красные мухоморы, вздутые, будто поднявшиеся на дрожжах дождевики,

подернутые слизью мокрухи. Митя охотно ударял носком ботинка по грибным шляпкам.

— Зачем ты это делаешь? Без надобности не надо трогать.

— Это же поганки. Кому они нужны?

— Деревьям. Там, где грибы водятся, они растут лучше. Да кое-какие грибы и человеку надобны.— Старик поднял сбитую Мишей поганку с бледной ножкой и в синенькой, в виде колокольчика, шляпке и протянул Мише.— Вот погляди, это, между прочим, вовсе не поганка, а самый настоящий чернильный гриб. Молодым он и в суп пойдет. А состарится вот вроде меня, знающему человеку тоже принесет пользу. Шляпка у него тогда чернеет, расплывается, почти совсем жидкой становится. Слей эту жидкость в бутылку — вот тебе и чернила. Макай ручку и пиши.

— А ты, дедушка, писал такими чернилами?

— Если бы не писал — не говорил!.. В гражданскую войну ни карандашей, ни чернил не было. Этот гриб и спасал... Да и потом я ими всю Сосновскую школу снабжал. Сколько потом ребят благодаря им грамоте научились. Будешь делать чернила — капни карболки или насыпь с щепотку буры».

Дед рассказывал Мите про серый навозник, который обильно плодится не только на тучной почве за сельскими скотными дворами, но и, например, на цветущих газонах Ленинграда.

Темно-коричневые чернила из навозников можно сделать и следующим способом. Этот гриб в старости быстро растекается в прозрачную буроватую жидкость, в которой плавают споры и густая темная масса. Надо хорошенько размешать жидкость, слить или, лучше всего, процедить, отжать через марлю, чтобы не было клякс. Так как грибные чернила легко стираются резинкой, нужно добавить в них немного гуммиарабика, а для приятной духовитости — несколько капель гвоздичного масла.

Молоденькие колокольчики навозников, поджаренные со сметаной, бесподобно вкусны, нежны, ароматны. Из них можно готовить подливу для картофельных котлет, а рубленым фаршем — начинять пирожки.

А сейчас давайте вернемся в лес. Там, среди безмолвного «народца» еще остались неведомые диковинки.

Ведь мы пока знакомились из богатого микологического букета лишь с «ваньками-встаньками» — трубчатыми грибами и «антошками-гармошками» — представителями пластинчатых даров природы. Но...

«Чудаков» грибных немало:
Есть «мячи», а есть «кораллы»;
Есть «ежи», а есть «копыта»...
Не ходи с лицом закрытым!

Мужики-лесовики
Всем дарили колобки
Белые-пребелые —
Из творога сделали.
Пни одели «грушами»,
Чтобы зайцы кушали,
А бугры — «орешками»:
Белкам для потешки.
На поляны бросили
Дутые «колбаски»,
Чтоб лечились лоси,
Чтоб играли ласки.
Напекли «ежей», «мышей»,
Всяких «лампочек», «мячей».
Вот пришли в день жаркий
Дети за подарками.
Собирать пытались,
А грибы... взрывались.

В народе безногих, дутых чудаков называют «порховками», «пуховками», «дымчатками», «пузатыми пыльниками», «лисьими минами». Тут и «козлиная картошка», и «дедушка, покури», и «галкина баня», и «волчий табак».

А ученые этих «скороспелок-катунов» и «пыхтелок-дымкунов» окрестили дождевиками.

В мире насчитывается 520 разновидностей дождевиков, многие из них выкатываются из-под земли на территории нашей страны сразу же после теплых моросейничков. И все съедобные, и нет среди них ни одного опасного, ядовитого,— конечно, только в молодом возрасте, пока мякоть плотная, белая. Сушите смело для зимних соусов и разносолов, жарьте дольками, колечками на чугунной сковородке.

Да что толку об этом говорить! Не хотят русские подбирать дождевики, упорно поганками считают. Даже про самого крупного головача круглого — Гулливера среди советских дождевиков — презрительно ехидничают: велик телом, да мал делом.

Средь молодых дождевиков опасных нет:
Сушите смело! Жарьте на обед!

Такое недоверчивое, подозрительное отношение ко всяким непривычным диковинкам вполне понятно. Ведь для многих искателей облик настоящего гриба складывается всего из двух простейших элементов, как у...

«Шляпки — ножки. Ножки — шляпки», —
Вот «портрет» грибов у бабки.

*

Не смотри, что позади,
А смотри, что впереди!

*

1. Под сосновый черный пень
Посадил рога олень —
Буйные, ветвистые,
Ярко-золотистые.

*

2. Средь игольчатых лужаек
Дразнят белочки незнаек
Язычками липкими,
Кисточками гибкими.

*

3. Голубые петушки
Чешут елкой гребешки.

*

4. Горемычные осины
Бородой трясут козлиной.

*

5. И для страха бедной бабки
Вдруг пошли... медвежьи лапки.

*

То не байки глупой тетки,
А... грибы для сковородки.
Ну, попробуй, угадай!
Что? Не знаешь? Так читай!..

Отгадки: 1 — рогатик желтый; 2 — рогатик язычковый; 3 — петушиные гребешки; 4 — козлиная борода; 5 — медвежьи лапки.

Про подобные «чудинки-расчудинки» еще говорят:

Не дерево, а ветвистое,
Не колючее, а все боятся,
Не в море живет, а имя — морское.

Это представители коралловых, или рогатиковых, грибов, которых в наших лесах свыше пятидесяти видов (а всего в мире около трехсот). Все они, кроме тех, какие окрашены в голубой и фиолетовый цвет и считаются несъедобными, но не ядовитыми (запомните: в голубой и фиолетовый!),— все они обладают отменным деликатесным вкусом и тонким пряным ароматом.

Так что имейте в виду... Не топайте равнодушно, как медведь, мимо... медвежьих лапок. И не трясите удивленной бородой, как незнайка, перед... козлиной бородой. Иначе — рогами забодают золотые олени — рогатики желтые...

Нет ни трубчатого слоя,
Ни решеток, ни пластин, —
А колючки, словно хвоя
Или своды из щетин.
Потому за те иголки
Их боятся, как ежей.
Собирай для сушки, солки,
Для коллекции своей!

Колючки у ежевиковых грибов бывают зубчатые, бородавчатые, ветвистые или в виде острых кисточек, еловых лапок, зазубренных створов раковин. И окрашены они по-разному: в белые, серые, желтые, оранжевые, коричневые и розовые цвета. Но — увы! — отношение к этим грибам в нашей стране далеко не розовое, их боятся брать в руки. Про них говорят: «Верю-верю всякому зверю, но тебе, ежу,— погожу». А французы, например, в восторге от розовых колючек! Они придают необыкновенно пикантный аромат французским соусам.

В ленинградских смешанных и хвойных лесах можно собирать летом и осенью глухую лисичку. Этот ежевик желтый и вправду похож на молоденькие лисички: такие же неправильные ножки (только усеянные вверху сосочками), такие же выемчатые, волнисто-сборные края шляпок (но они редко бывают воронками). И цвет в большинстве случаев золотистый, желтовато-оранжевый, как у настоящих лисичек, хотя бывает также и белым, и кремовым, и рыжевато-коричневым.

На песчаных почвах в сосновых борах встречается пестрый-препестрый ежевик, разукрашенный словно опереньe ястреба: широкая, ворончатая светло-коричневая шляпка густо покрыта крупными темно-белыми чешуйками-черепицами. Яркие, остроносые, легко отстаю-

щие, они здорово напоминают птичьи перья. Ежевик пестрый можно сушить на зиму.

К сожалению, мякоть у всех колючих грибов плотная, грубоватая, а к старости — с горчинкой. Так что добавлять перец к подливам из ежевиков не рекомендуется.

Не сучок, не листок,
А на дерево прыг-скок.

Или еще:

По сугробам дед шагает,
Со стволов... бугры сбивает.
Бородой тряхнет старик
И в корзине...

(Трутовик)

Раньше из высушенной ткани настоящих трутовиков делали зажигательный трут, который на протяжении многих веков, пока не изобрели спички, помогал человеку добывать огонь.

Лиственничную губку и березовую чагу с глубокой древности собирают для медицинских целей.

В ленинградских лесах сколько угодно березовых губок! Когда они похожи на толстые, круглые почки, у которых еще не успели проклюнуться дырочки для спор, смело кладите их в корзину, можно и в рюкзаки — не раскиснут.

Отдерите пергаментную серебристо-серую кожицу (она отстает очень легко) — и вы увидите сочную ткань с аппетитным грибным запахом и чуть кисловатым вяжущим вкусом.

Обратите внимание, как она приятно режется на тонкие ровные дольки, которые не чернеют, не синеют, не розовеют, а всегда остаются белоснежными — белее боровиков.

Запомните: среди трутовиков нет ядовитых, в молодом возрасте все они, без исключения, съедобны, конечно, когда, как говорится: «на безрыбье и рак — рыба, на безгрибье и трутовик — гриб». Но ведь не всегда корзины ломятся от изобилия более вкусных даров.

Интересно, а ходили вы когда-нибудь за грибами не ради грибной похлебки, а ради... цветочных ваз? Если еще не успели, то знайте: бесплатный магазин художественных сувениров — русский лес — всегда открыт пытливым да умелым. Можно даже не ходить, а ездить

за «грибными вазами» на лыжах. Причудливые кольчатые трутовики, окаймляющие павшие деревья, лучше и красивее любого хрустального сосуда вместят зимние букеты: мшистую ветку дуба, еловую лапку с резными шишками, радужные листья осин, рябиновую кисточку, сухие цветы, колосья или травинки, добытые в зеленом стогу сена. Надо только смотреть на природу открытыми глазами. Сказочные декоративные вазы умельцы выдалбливают из круглых затейливых капов — древесных наплывов, а также из неповторимо трещинноватых, густо-темных наростов чаги.

До революции крестьяне двадцати селений, расположенных вокруг Троице-Сергиевской лавры, только тем и кормились, что занимались промыслом подземных невидимок, снабжая ими белокаменную столицу России. Лишь непосредственно вокруг стен монастыря в дубовых рощах, в береговых перелесках и осинниках, под кустами орешника и ольхи, на старых пустырях и просеках местные жители ежегодно добывали свыше 300 пудов белых трюфелей.

Подумайте только — двадцать больших селений существовали за счет маленьких клубеньков!

В хорошие годы, бывало, охотник пуда три трюфеля набирает. «Лишь только к вечеру выйдет из леса, в деревне уже прасолы его ожидают, платят деньги большие и вперед» (Н. Железнов, 1873 г.).

Однако дороже всех грибов в мире ценятся черные трюфели из французских провинций близ городов Прованс и Перигор. Они густо покрыты красновато-вороными, как будто специально ограненными угловатыми бугорками-пирамидами. У молодых мякоть белая, у зрелых желтовато-бурая или темно-серая с фиолетовым оттенком, пронизанная черными и белыми блестящими жилками. Потому сердцевина французского трюфеля в разрезе напоминает декоративный мрамор с причудливыми узорами. Размеры этих «невидимок» от мандарина до крупного яблока, изредка достигают 500 граммов. Растут они только в известковой почве — под буками, дубами, грабами, каштанами, чинарами, тополями, вязами, ильмами и грецкими орешниками.

Черные трюфели издают настолько густой аромат, что два-три подземных клубенька способны наполнить дивным запахом всю квартиру; одной ложки трюфеле-

вого сока вполне достаточно, чтоб приготовить крепкий грибной бульон для пяти человек. Вот почему черных «мышек-норушек» чаще всего пускают на соусы, а также в начинку гусей, индеек, куропаток, тетеревов, перепелов, кладут в дорогие сорта колбас. Особенно прославились на весь мир страсбургские паштеты и пироги, нашпигованные перигорскими трюфелями.

Месторождения этих чудодейственных грибов французские промысловики открывают лишь с помощью опытных, натренированных свиней. Итальянцы же охотятся за ними с пуделями, терьерами и болонками.

«Собаки, выдрессированные для отыскивания трюфелей, считаются бесценными, то есть не имеющими цены, и никогда не продаются их владельцами — так выгоден трюфелевый промысел с хорошей собакой-ищейкой!» (М. Пришвин, 1926 г.).

Итальянские трюфели едят не только вареными, но и сырыми, нарезая тонкими ломтиками. «Вкусом и запахом он напоминает сразу и лук, и чеснок, и гриб, и сыр».

В Московской губернии прошлого века собирали трюфели... с медведями. И надо справедливо заметить, русские косолапычи затмили добычивостью да усердием и знаменитых французских свиней, и прославленных итальянских болонок.

«Водили его на цепи и зубы ему вырывали. Но так трудно охотиться было: как почует запах гриба, так к нему и помчится, а охотник лишь знай поспевай. Лет тринадцать тому назад (то есть примерно в 1860 году) в деревне Ляпиной четырех медведей держали. Но один из них как-то грубо обошелся с женщиной, ободрав ей плечо. С тех пор запретили держать опасных зверей» (Н. Железнов, 1873 г.).

Поэтому нашим соотечественникам пришлось перенимать опыт у заграничных охотников, срочно переключиться на помощь дворняжек и свиней.

К сожалению, ныне в Советском Союзе разучились искать лесную картошку. Это подземное диво надежно спрятано под шапкой-неведимкой Черномора и ждет не дождется своих смелых, упорных, терпеливых Русланов. Мало того, среди нашего народа укоренилось ошибочное мнение, будто знаменитые черные трюфели водятся только в Италии, Испании и Франции, а у нас, мол, не встретишь их даже в ресторанах. Нет! И в Советском Союзе сколько угодно еще не открытых гастрономических месторождений — особенно там, где растут буки,

дубы, грабы,— например, в Карпатах, на Кавказе, в Крыму, на Украине...

И в наше время, как утверждает К. Яковлев, например, в Ярославской полосе трюфелей видимо-невидимо, да только редко кто умеет их видеть.

«Чаще встречается черный трюфель, похожий на раздувшийся «корень» подосиновика. Он даже синеет сверху, только в самой середине мясистая с извилистыми волокнами мякоть остается белой.

Черный трюфель вырастает иногда с добрую тыкву. Такой не может удержаться под землей, и его в конце концов выпирает на поверхность» (К. Яковлев, «Лесные дива»).

Белые трюфели и сейчас находят даже на... московских бульварах!

Где же и как искать месторождения этих таинственных невидимок? Советские охотники пока не могут рассчитывать на помощь животных. Вряд ли у кого из нас появится счастливая возможность приобрести на специальных французских рынках дорогую дрессированную свинью или опытную собаку-ищейку. Поэтому советским трюфелятникам остается одно: осваивать хитрую поисковую науку, как говорится, с азов.

Микологи выяснили, что месторождения подземных грибов прячутся не под густыми тенистыми сводами лесов, а на светлых прогалинах, на каменистых полянах, на широких известковых опушках, а также на просеках. Кустарничек, трава и мох над ними болезненно высохшие, как будто сгорели, а почва вокруг — всегда сухая, мягкая, поршистая, напоминающая серый пепел. Подобная угнетающая картина возникает потому, что корни мелкой растительности плотно обволакиваются грибным паутинистым мицелием и чахнут, погибают от удушья.

Поскольку трюфели сидят гнездами, по тройке — пятку вместе и как правило под самым дерном, то над теми, которые близко поднялись к поверхности, вспучиваются бугорки с лучами узких, рваных трещин.

И еще: искатели-остроглазы подметили, что когда «невидимки» созревают, в теплые, тихие закаты солнца над месторождениями начинают играть, клубиться желтенькие мушки, страшно падкие до нежной, ароматной мякоти этих грибов.

Охотятся за трюфелями и кабаны, и медведи, и олени, и косули, и барсуки, и зайцы, и белки. Если дикие

звери азартно принялись рыть грунт,— значит, открыли «вкусный» клад.

Эту жадную страсть животных к лакомым клубенькам давно подглядели зоркие искатели и потому приспособили к поискам лесных месторождений верных четвероногих друзей.

Трюфели, которые залегают под дерном, называются земляными, а те, которые выпирают наружу, называются верховыми. Они сами просятся, напрашиваются в корзину удивленных путников.

Так вот, если по всем этим мудреным признакам вам захочется поискать этих душистых невидимок, смело можете приступить к дрессировке помощников.

Собак приучают к «тихой охоте» за «мышками-норушками» со щенячьих дней, едва они продерут глазки. Сперва поят их молоком с трюфельным отваром, затем кормят овсянкой, тоже с трюфелями, а уж в конце «курса» тайно закапывают под деревьями сырые, «экзаменационные» грибы. Послушная ученица, мучимая голодом, жадно принюхивается и, выбрав точное направление, нетерпеливо тянет за собой хозяина. Подбежав к неведомой ухоронке, она заливисто лает, пытаясь разрыть землю лапами. Молодец! Получай в награду краюшку хлеба и диплом лесного миколога-поисковика!

Очевидцы утверждают: даже простые дворняги «так привыкают к отыскиванию трюфелей, что чувствуют к этому такое же сильное пристрастие, какое замечается у охотничьих собак при отыскании дичи».

Свиней дрессируют по такой же методике, как и болонок,— с поросячьих дней, кнутом и пряником.

Растут ли «невидимки» в ленинградских лесах? Да, растут! В этом можете не сомневаться.

Еще 180 лет тому назад черные трюфели (тогда их называли обжорными) копали в дубовых рощах вблизи Царского Села и Ораниенбаума.

Лично мне еще не доводилось видеть трюфелей, ни черных французских, ни белых русских. Но в уголках памяти копошится смутное воспоминание: давным-давно, в пору детства (жил я тогда в Орловской области), деревенский пастух принес однажды из дубовой рощи какие-то странные клубни, которые наковыряли рылами из-под земли колхозные свиньи. Старушки авторитетно заявили, что это «бесовы картошки»... Вот, пожалуй, и все микологические подробности. Ясно одно, что это бы-

ли не дождевики. Дождевиков-катышей в нашей местности всегда звали только «волчьим табаком».

Зато в 1977 году мне очень повезло. Вернувшись из очередной геологической экспедиции, я показал своей дочке Оле — ученице третьего класса — душистые ожерелья из красных полярных грибов-«подосиновиков», которые насобирал и насушил вокруг залива Креста, то есть на берегу Берингова моря.

— Папа! А мы с мамой ходили в Луна-парк на чешские аттракционы. Когда гуляли по парку (она имела в виду Приморский парк Победы), то нашли какие-то непонятные грибы, я в холодильник их положила, чтоб тебе показать.

Вскоре дочь принесла в комнату три плоских «кругляшка». Это были... Не веря собственным глазам, я торопливо раскрыл определитель Б. П. Василькова «Съедобные и ядовитые грибы». На странице 17-й увидел точные копии-рисунки Олиного подарка.

Прочитал внимательно, перечитал снова: «Плодовое тело с ясно выраженной толстою, в 2—4 мм, корою; споры при созревании рассыпаются в порошок... Походит на лесной или грецкий орех, при высушивании почти не уменьшается в объеме. Поверхность бородавчатая, светло-желтоватая, или красновато-бурая. Мякоть сначала беловатая, потом нередко красноватая, совершенно однородная, без жилок, при созревании вся превращается в черноватую пыль, состоящую в основном из спор. Гриб почти без запаха. Растет в сосновых по преимуществу лесах на песчаной почве. Очень редко и не обильно».

Вот и вся предельно сжатая, научная характеристика этой необыкновенной находки.

Грибы успели так задубеть в холодильнике, что невозможно было разломить пальцами. Крепкие, плотные, увесистые, они гремели и прыгали по столу, точно костяные шарики. Казалось, их обернули в сырую густо-коричневую кожу. Высыхая, она сдавила, сплющила катыши. Однако рельефные узоры, состоящие из прижимистого скопища неправильных, округлых многоугольников, выделялись четко, хотя поверхность «шариков» была гладкой на ощупь. Никаких осязаемых бородавок — просто эффектные, скульптурные рисунки, похожие на панцирь броненосца. С трудом пополам я все же рассек геологическим ножом один клубень. Под твердой телесно-желтой скорлупой обнажилась плотная синева-

то-черная сердцевина. Она переливалась в электрическом свете, как отполированный смолисто-вороной камень-абсидиан. Грибные осколки были настолько острые и крепкие, что я с удивлением резал ими бумагу и даже... картон. Оля нашла эти чудо-шарики на поверхности, в широкой прогалине между молодыми соснами, липами и березами в конце августа, когда они еще, видимо, не успели полностью созреть. Иначе — рассыпались бы в темную пыль. А теперь, сидя за столом, я могу стучать ими так же громко, как стучат дикие олени-соперники, когда бьются осенью за важенок.

Любопытные грибы! Если мои сушеные чукотские «полярники» сморщились, съежились, то эти выглядели молодцами, словно их выточили из мореного дуба. Только, пожалуй, «дьявольские копыта» — древесные паразиты-трутовики способны сохранять на многие десятилетия свою форму неизменной, какими умудряются оставаться эти забавные, окостеневшие голыши. Ради интереса, я замерил приплюснутые шарики-эллипсоиды. Вот цифры одного: 2,7×2, 1×1,2 см; вот второго: 2,1 × 1, 6 × 1,1 см. А третий, самый маленький, напоминал помидорчик с остатком «стебелька», то есть узловатых сгустков-корешков мицелия. Но что противоречило определителю Василькова: парковые найденыши в свежем надрезе пахли очень сильно, остро, приятно. Может быть, за этот необыкновенный волнующий аромат или за еще какие-нибудь возбуждающие свойства их очень любят дикие олени. Во время свадебных баталий самцы-рогачи яростно роют из-под земли душистые клубеньки и жадно глотают их. Вот почему микологи назвали скорлупастые земляные «орехи», которые собрала мне дочурка-третьеклассница, оленьими трюфелями.

Правда, люди пока не едят оленьих трюфелей. Да разве в этом дело? Если в ленинградском парке растут звериные трюфели, то в дубовых рощах нашей области наверняка водятся и человеческие подземные «невидимки». Вся беда в том, что мы разучились их искать. Оле повезло: она случайно обнаружила верховые трюфели, которые вылезли наружу. Зная о моей горячей любви к лесному «народцу», она принесла их домой. Незабываемый, драгоценнейший подарок!

Даже многие бывалые сборщики наивно полагают, будто за грибами лучше всего отправляться осенью. И да и нет...

Берендей — кудесник Пришвин
В лес весною ранней вышел
И весну без трав, без листьев
Неодетою назвал...
Снег еще сияет чистый,
А на гарях черно-пнистых
Гриб головушку поднял.

Хорошо в лесу неодетой весной! Радуешься каждому шороху живого существа, каждой зеленой былинке. Не запутаешься, не заблудишься в великом разнообразии трав. Все зеленые растения наперечет: брусника, грушанка, кислица, копытень, толокнянка, ясменник душистый. Да еще самые первые ароматные цветочки волчьего лыка.

Но почему вдруг растерялся начинающий натуралист? Что за странные загадки подбросила робкому искателю, у которого «что ни шаг, то спотычка», холодная «неодетая весна»?

Стоит домишко
На круглой вышке.
Окна прорубили,
А двери забыли.

На сугробистой горушке
Щеки сморщили старушки,
Не старушки — старички,
Раскудрявые...

(Строчки)

Молодцы! Вторую загадку вы правильно разгадали. Ну, а над первой не будем ломать голову — это сморчки. Они «похожи на ячейки пчелиных сот — глубокие извилистые полосы с перегородками... Сколько тут каморок! Приглядишься, эти ячеистые каморочки иной раз уже заняты жильцами: забрались улитки, черви». (Д. Зуев, 1961 год).

У строчка «шляпка волнистая, мозговидно-извилистая, темно-бурая, бурая до желтовато-бурой. Ножка белая, беловатая, иногда буроватая или грязно-лиловатая» (Б. Васильков, 1948 г.).

Сморчки и строчки — эти сумчатые грибы — надо искать в сосновых и смешанных лесах, по песчаным оврагам, канавам и пригоркам. Любят они захламленные пожарища и голые плешины кострищ. Охотно поселяются вдоль кустов старых высоковольтных линий, а также под пнями вырубок и дуплистыми деревьями. Робко прячутся от апрельских морозов под бурые листья, на

виду торчат лишь самые крупные. Если заметите один, внимательно приглядывайтесь вокруг. Непременно проверьте палочкой-выручалочкой вздутые холмики, пухлые бугорки — под ними как раз и таятся эти крепыши.

Однако имейте в виду, грибы эти очень опасны, коварны. Почему? Да потому, что хрупкие эти творения, оказывается, содержат вредную гельвелловую кислоту, от которой можно умереть. Но вы не пугайтесь, пожалуйста. Ведь и свежими груздями, и свежими волнушками можно отравиться, если сразу же пускать их на жарение или в суп. Однако в России никто до сих пор не пострадал от них, потому что все сборщики знают, что эти горько-жгучие млечники идут лишь на соление — и только!

Сморчки же и строчки перед приготовлением обязательно следует прокипятить не менее десяти минут, а ядовитый отвар непременно вылить. Откинув на решете, хорошенько несколько раз ошпарить их крутым кипятком и снова тщательно промыть в горячей воде.

Все! Можете быть совершенно спокойны — не отравитесь. По своим питательным и ароматным качествам они далеко превосходят лучших представителей грибного царства. Смело ешьте себе на здоровье! Обезвреженные творения «весны неодетой» можно солить, мариновать, жарить, тушить с картошкой, начинять ими пирожки, гусей, уток, индеек, рыбу, пельмени...

Вы, наверное, обратили внимание, что я гораздо подробнее останавливаюсь на грибах, которые мало знакомы начинающим искателям. Да это и понятно. Ныне, в век радио, кино и телевизоров, груздями, сыроежками, красноголовиками не удивишь даже тех, кто еще только ходит в детский садик.

А ведь грибам, что там ни говори, «все возрасты покорны». Однако, если взрослые зимой налегают на «маринованности» и «солености», то детям куда большую радость доставляют сказочные деревянные терем-теремки, похожие на яркие мухоморы. Особенно мылыши в восторге от красочных новогодних игрушек: золотых лисичек, оранжевых подосиновиков, шоколадных боровичков, аметистовых рядовок. (Жаль, что не выпускают еще полные наборы разноцветных «ванек-встанек» и «антошек-гармошек».) Дети очень любят пряники и печенья в виде грибов, праздничные торты, украшенные

лесными лужайками, пирожные-корзиночки, конфеты-трюфели. Им нравится смотреть мультипликационные фильмы про злых мухоморов и добрых сыроежек, про то, как белочки и ежики запасают на зиму дары земли-матушки. Они пытливо листают альбомы, книжки, плакаты с рисунками и фотоснимками грибов. Затаив дыхание, слушают сказки про гномов, леших, кикимор.

С первых шагов ребенок инстинктивно стремится к познанию природы. А уж грибные походы оставляют у детей незабываемое впечатление на всю жизнь.

Счастливый народ! Ни науки, ни неги
Не ведают в детстве они.
Я делывал с ними грибные набеги:
Раскапывал листья, обшаривал пни,
Старался приметить грибное местечко,
А утром не мог ни за что отыскать.
. . . .
Вернулись. У каждого полно лукошко,
А сколько рассказов! Попался косой,
Поймали ежа, заблудились немножко
И видели волка... у, страшный какой!
. . . .
Грибная пора отойти не успела,
Гляди — уж чернехоньки губы у всех,
Набили оскому: черница поспела!
А там и малина, брусника, орех!

(Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети»)

Конечно, теперь времена стали иные. Все советские дети — и деревенские, и городские — «ведают науку», а негой, пожалуй, избалованы до невозможности. Но по-прежнему, как и в мрачную эпоху Некрасова, многие ребятишки безумно любят собирать грибы, лакомиться дикими ягодами. Лесной «народец» для них и вправду народец: мудрый и глупый, хитрый и лукавый, веселый и скучный, красивый и невзрачный, добрый и злой, откровенный и коварный — одним словом, совсем как люди.

«Сказки, игра, фантазия — животворный источник детского мышления, благородных чувств и стремлений» (В. А. Сухомлинский).

В селе Знаменка Тюменской области недавно открылся Дом природы. Там организовали специальную выставку, посвященную творчеству детей. Очевидец А. Байрамов рассказывает: «Каких только удивительных забавных игрушек и всевозможных поделок не принесли дети! Здесь были и Красная Шапочка из белых

грибов и засушенных ягод, и Баба-Яга из шишек, и цыплята из желудей, и медвежонок из нароста на стволе березы, и лось с рогами из корневища... Было много рисунков, изображавших разнообразные дела юных друзей природы: посадку деревьев, подкормку диких зверей и птиц, ограждение муравейников».

Так почаще берите с собой в парки и рощи, где водятся грибы, неугомонных малышей — почемучек. Не забывайте, что «мужички-лесовички», «мальчики-с-пальчики» не только развивают пытливость, наблюдательность, фантазию, но и помогают прививать ребенку самое главное чувство — любовь к Родине.

Много в нашей огромной стране всяких интересных шляпочных грибов — свыше 3000 видов, из них около 1500 съедобных (а всего в мире — 7000 видов). Среди богатого разнообразия грибов, которые встречаются в европейской части Советского Союза, только 14 не пригодны к пище и 7 ядовитых. Но обычно берут не больше двух-трех десятков «пластинников» и «скважников», местами же всего 8, а то и 2. Есть села, где вообще признают лишь рыжик.

У каждого представителя этого чудесного «народца» — свои засекреченные хитрости, свои потайные места и строгие, но привередливые сроки появления. Хоть проштудируй сто самых толстых микологических томов, где и как рекомендуется собирать грибы, а все равно не научишься, если будешь заглядывать в лес от случая к случаю. Премудрые улитки ищут грибы не по справочникам, не по определителям. Для них лес — родной дом! Пусть и для вас он станет родным любимым домом!

Кстати, по этому поводу вспомнилась весьма поучительная сказка Карлиса Скальбе — знаменитого латвийского писателя.

«Жил-был один король. Он был очень ученый и даже грибы собирать ходил с книжкой в руках. Король любил мудрую безупречную природу, о которой было написано в книгах, но она обманывала его на каждом шагу. Рядом с хорошими грибами, гладкими и нежными, стояли и просились в его корзину поганки.

Любил он также и народ, и пастухам-мальчишкам в посконных штанах, которые водили его по своим пастбищам на грибные места, он позволял нести свою рас-

шитую жемчугом мантию. А уж за ними следовали его придворные. Сквозь золотые очки, все время сползавшие на кончик острого носа, король смотрел в книгу, где в натуральных красках был изображен боровик. Чтобы не ошибиться, под ним большими золотыми буквами было еще написано: «Гриб королей». Поглядев на рисунок, король оглянулся вокруг, ища гриб.

— Гриб королей... Гриб королей...— тихонько повторял он про себя и клал в свою корзину вместо боровиков толстые поганки.

— Гриб королей... Гриб королей..

А пастушок, прикрыв рот рукой, прошептал, отвернувшись к кустам:

— Вот дуралей, вот дуралей...

— Что ты говоришь? — спросил придворный, шедший рядом с мальчиком.

— Я... я ничего...— ответил мальчик, сморщив в глупой ухмылке свое веснушчатое лицо.

На обратном пути два придворных говорили, сидя в карете, что в грибной корзине короля что-то неладно. Один догадался, что шептал пастушонок; второй, ставя корзину на повозку, учуял скверный запах. Поди узнай, чего он там насобирал! Надо бы ему сказать. Да, надо раскрыть глаза королю! Третий, сидевший молча, наконец вмешался в разговор и сказал, что король не может ошибаться и, кроме того, король смотрел в книгу. Первые два придворных замолчали. Если король даже и мог ошибиться, то что сказать о книге? Она ведь была единственным неопровержимым источником мудрости. Нет, в корзине могли быть только хорошие грибы. А если король и набрал чего-нибудь скверного — сам же и съест. Одна только неприятность. Иной раз, когда король пребывает в добром расположении духа, он посылает своим фаворитам в знак особой милости лучшие куски со своего стола. Но каждый пытался утешить себя мыслью, что сегодня эта милость минет его.

Собранные самим королем грибы во дворце торжественно передали кухарке. Это была простая крестьянская женщина. Король очень любил ее, потому что она умела хорошо готовить грибы.

Кухарка, взяв корзину, заплакала — ведь король может умереть. Но она все же сварила грибы, а потом, ставя на стол, нарочно споткнулась и разбила блюдо. Только собаке досталось несколько кусочков. Король разгневался за испорченный ужин и велел уволить ку-

харку. А на следующее утро ему сообщили, что его любимая собака подохла».

В заключение несколько советов:

Не ходи за грибами с ведром,
Не губи лесное добро.
Клади их в плетеное лукошко —
Пускай подышат немножко.

Не терзай бездушно грибочки —
Носи нож на цепочке.
Вырванный с землею гриб —
Навек погиб,
Срезанный под корешок —
Даст приплода мешок.

Сколько ж малых, сколько старых
За грибами в лес спешат!
Не шути с огнем-пожаром!
Береги зеленый клад!
Пустяковой спичкой можно
Уничтожить бор таежный.

БАРСУЧИЙ КАЛЕНДАРЬ

Живет барсук в глубокой норе, как раньше, бывало, жили в пещерах летописцы-отшельники. Днем отсыпается, ночью ходит, бродит по лесу. Любит барсук синие рассветы, алые зорьки. А грибы лучше всего растут на зорьках. Все замечает мудрый зверь, все записывает когтями на стенках своей пещеры.

Когда начинающие искатели стараются запомнить из микологических произведений грибные календари, составленные по месяцам и даже более подробно, они наивно верят, будто лесной «народец» просыпается после зимнего оцепенения строго по расписанию, как солдаты. Нет! На земле ничто не повторяется с идеальным подобием. Механические часы-хронометры монотонно отбивают для человека свои секунды, а грибы выходят на службу к нетерпеливым сборщикам по собственным законам.

Рыба плавает стаями, комары вьются тучами, грибы растут... слоями. Но слои эти особые — не из слоев, а из... времени.

Грибной год делится на шесть месяцев-слоев: подснежник, травник, колосовик, жнивник, листопадник, предморозник.

Настоящий искатель, подобно фенологу-остроглазу, должен скрупулезно накапливать в лукошке своей памяти не отдельные явления, а всю сложнейшую взаимосвязанную систему знаний о сезонном развитии природы. Только тогда поймет, что народный афоризм: «Весна красна цветами, а осень — грибами» — не совсем точен.

Весна — пора чудес. Весной даже маленькие пушистые зайчики лазают по деревьям. Заберутся шелковистые, плюшевые проказники и сидят, зачарованно слушая, как гремят ручьи, звенят жаворонки. Не верите? Посмотрите на вербы.

Март — грачевник, в марте «щука хвостом лед разбивает», а хозяйственные грибники свои разбитые корзины поправляют. В марте «медведь переваливается с боку на бок», а нетерпеливые искатели палочку-выручалочку перекладывают с руки на руку. В марте «солнце повертывается на лето», в марте у старых охотников кровожадное сознание перевертывается на добрую истину: преступление, страшное преступление перед природой стрелять токующих глухарей, тетеревов, куропаток, вальдшнепов, обманывать пылких, доверчивых селезней подсадными утками. «И хотя зима на мороз,— все-таки цыган тулуп продает», чтоб купить новенькие кошелки.

Апрель — снегогон — месяц звонких ручьев, ду-

шистых почек, месяц радостных встреч пернатых друзей, месяц первых грибов-подснежников.

Вслед за плюшевыми «зайчиками» вербы наряжается по-весеннему гладкоствольная серая ольха. Еще и листья у нее не выклюнулись, а мохнатые золотистые висюльки, рыхлые, длинные, так и тянутся к парной земле. Над ними столбиками высятся малиновые шишечки женских соцветий. Толкнет бахромчатую висюльку игривая птичка, и вмиг озолотится, окутанная густым облаком желтой пыльцы.

У народа примета: если береза листья распустит перед ольхой, то лето будет сухое (значит, не надейся на грибки-колосовики); если ольха зазеленела раньше березы, лето будет сырое (а грибы, известно, дождик любят).

Опытный искатель приглядывается и к осинам. Как они меняются! В пору огненного осеннего полыхания их стволы-мачты изумрудистые, в пору трескучих морозов — тускло-серые, в пору веселой воды — нежно-розовые, особенно среди широких полян. Похорошели, подрумянились, горемычные, на ярком мартовском солнышке.

Смотрит грибник улыбчиво на стройных степенных красавиц, берет самый объемистый прутяной кошель, вынимает заветную палочку-выручалочку.

Что же случилось? Да ничего особенного: с голых ветвей безмолвных осинушек поползли мохнатые темнопепельные «гусеницы», а за ними еще более взъерошенные чудовища с красными и желтыми крапинками. Зацвела, запестрела матушка-косматушка, а это верный фенологический сигнал: надо спешить за хрупкими, стеклянистыми «бомбашками» — сморчками и строчками, торопиться в заповедные места, где им положено расти.

Любят сноровистые весенние искатели горькую осинушку. Для них она — самое желанное, самое сладкое дерево, потому что азартно будоражит сладостные мечты о первых встречах с гордым, отважным «народцем», смело поднявшимся из промороженной земли в пленительной «чалме с глубокими извилистыми складками». Любят они печальное, трепетное дерево особой, грибной любовью.

Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь!

— (С. Есенин)

На мутном, развилистом озере, среди бурой затопленной осоки рыбак увидел, как забулькали, закружились, заметались крупные пятнистые рыбины.

«Щука мечет икру,— значит, пора сморчки искать»,— решил остроглаз и тоже синеклювым грачом весело попрыгал за плетенкой.

Все эти радостные, бурные явления происходят в апреле.

В апреле жуки-навозники прелую листву копошат, чтоб грибам-подснежникам дышалось лучше.

В апреле муравьи вылезают из глубоких камер, чтоб посмотреть, как бабочки-крапивницы березовым соком лакомятся.

В апреле кукушки впервые кукуют, лягушки урчать начинают.

Апрель — водою богат. В апреле земля преет.

Но неверен, обманчив месяц-березень, месяц-цветень; то теплом приласкает, то на холод решительно свернет. Будут ли сморчки, нет ли — «слюдой» на лужах начертано, ручьями на снегу написано...

Ходят, бродят восторженные искатели по сухим пригретым лысинам, ворошат палочкой-выручалочкой спрессованные сугробами темные листья.

Повторим для робких новичков: «Как только уронят осины сережки — не проворонье сморчки у дорожки»; «Где пожар пылал, где костры горели — там строчки-старички мороз одолели».

Знайте еще: эти первые весенние грибы-подснежники появляются почти одновременно с самыми первыми крохотными малиновыми цветочками волчьего лыка. Стебельки у волчьего лыка такие крепкие, хоть волков связывай.

«Вот старый березовый пень, и на нем растет маленькая бойкая елочка. Возле этого пня желанные сморчки. Берешь их, а зяблик так и рассыпается» (М. Пришвин).

Эстафету пестрого майского парада открывают золотые фонарики-выскочки неудержимой, напористой мать-и-мачехи.

И пошли полыхать по теплым зеленым полянам желтые купальницы, голубые незабудки, разноцветные корзиночки-колокольца привередливых медуниц. У медуниц-щеголих верховинки светло-розовые, середина —

красная, пурпуровая, а низ — бледно-фиолетовый или синий.

Встрепенулись и застенчивые ландыши. Раскрутив свернутые листья, они смело выбросили граненые кисти с белоснежными зубчатыми бубенцами. В лесу незримо вьется такое нежное, пленительное благоухание, что даже лисицы нетерпеливо выбираются из черных нор и, спрятавшись в ландышевые джунгли, жадно нюхают серебряные чашечки. Охотники рассказывают, будто рыжие кумушки-дегустаторши настолько пьянеют от сладостного аромата, что возвращаются в свой подземный дом не на четвереньках, а на животе.

Сморчки-овсяники, строчки-студеники так и лезут из-под бурого, слежавшегося наста, чтоб послушать пробные трели соловьев, неугомонные свадебные песни всех прилетных щебетух.

Прибрела весна, как странница,
С посошком, в лаптях берестяных.
На березки в роще теневой
Серьги звонкие повесила
И с рассветом в сад сиреневый
Мотыльком порхнула весело.

(С. Есенин)

Повесила весна на деревья и вешенки — самые ранние после сморчков вешние грибы. Вешенки, словно белочки-попрыгушки, любят лазать по стволам. Заберутся на самую прелую осину и сидят там, вцепившись намертво короткими, войлочными лапками, свесив толстые кособокие уши с круглыми волнистыми подворотами, с чистыми хрупкими пластинами. Сидят, слушают, как звенят «серьги звонкие».

Май — «сухий», в мае пушистые зайчики на вербах засыхают.

Май — «травень», в мае земля наряжается в изумрудно-бархатный сарафан. Май — «пыльник», в мае деревья дымят золотой порошей. Да что там говорить: прекрасен этот месяц зеленого шума, неугомонных птичьих песен, первых гремучих молний. Май — леса наряжает, лето в гости ожидает.

Когда все деревья закудрявятся чистой, свежей листвой, настоящие сморчки и строчки обыкновенные исчезают до следующей «неодетой весны».

Там, где они удивляли сборщиков забавной причудливостью шляпок, вынырнули из-под земли их высокие поджарые братья, островерхие, желто-бурые с фиолето-

выми ячейками — конические сморчки. А как только распустятся душистые золотые колокольца баранчиков-первоцветов, гордо приподнимутся на длинной, круглой ножке, стройной и ровной, сморчковые шапочки. Скорее всего, именно про них писал чародей-кудесник Пришвин: «...Гриб в природе — это архитектурное творение, и есть такие грибы, что совсем как мечеть...»

Увидев апельсиновые кубаночки поздних сморчков, опытный искатель уже перестает временно заглядывать в буйные, влажные леса — нечего теперь там делать с корзиной. Да и хорошо: пускай звери спокойно кормят своих детенышей, пускай птахи малые без нервных криков выхаживают птенцов.

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет,
Колокольчики, ландыши в чаще зеленой цветут,
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.

(И. Бунин)

Мудрый искатель заботливо прячет в чехол добрую палочку-выручалочку, берет ножницы и медленно прогуливается по сухим луговинам, по отлогим косогорам и волнистым складкам оврагов. Любовно, терпеливо отстригает он рубчатые, телесно-желтые шляпки с коническим бугорком посредине, с редкими нежными листочками-пластинками. Как их весело искать, эти луговые опенушки, гвоздичные грибки! Они всегда растут дружными компаниями: то вытягиваются длинными извилистыми шеренгами, то загибаются подковами, то, чаще всего, выстраиваются идеально круглыми кольцами. А какой могучий, крепкий аромат, заглушающий весенние цветы, исходит от них, особенно в сиреневые предрассветные сумерки, когда перепела уговаривают всех: «Спать пора! Спать пора!» Какую необыкновенно вкусную, наваристую похлебку готовят из грибков-травников елецкие крестьяне!

В глухих местах, богатых непугаными лесами, тонюсенькими, кожистыми шляпками никто не интересуется. А вот на моей родине, под старинным городом Ельцом, где господствуют неоглядные поля, голые выгоны, буераки, луговые опеночки — подкоровники — издавна почитаются всеми ценителями грибных разносолов. Их не только варят и жарят с картофелем, но даже... сушат. Эти сморщенные, ломкие, жесткие кожуриночки, оказывается, набухая в воде, становятся, как живые,— не че-

та захваленным боровикам. Часто «ведьмины хороводы» буренышкиных «подлепешников» засыхают на проволочных стебельках целехонькими, свеженькими. Потому и прозвали их «негниючниками». Предприимчивые хозяйки охотно собирают готовые дары пустырей на зиму.

К грибам-травникам, которые появляются во второй половине мая, относится и лаковица розовая. Ее нежная, рыхлая шляпка не больше 5—7 сантиметров в диаметре, окрашена во всякие тона: алые, малиновые, лиловые. Но пластинки не блестят лаком, а словно присыпаны мукой. Вот ведь невезучий луговик — и вкусный, и нарядный, и название приятное, звучное, а руки сборщиков к нему почти не прикасаются.

Май веселый, капризный месяц. Народ приметил: «Май холодный —год хлебородный».

19 мая в день Иова-горошника сеют горох. Ну какое значение имеет горох для грибников? А вот разгадайте смешную загадку, придуманную наблюдательными калининскими искателями: «В поле-то: гого-гого, в лесу-то: гиги-гиги» Не правда ли — забавная головоломка? Оказывается, если царь-горох щедро дарит людям свои лакомые сладкие стручки, то сборщики грибов «гигикают» от радости, восторгаясь обильной ратью лесного «народца». Зная, что словесную шараду не разгадать, хитрые калининцы сами же подсказывают озадаченному новичку, что это, мол, горох и гриб.

Во второй половине мая можно добычливо охотиться за первыми шампиньончиками: полевыми и обыкновенными, за белыми творожистыми колобками: дождевиком шиповатым и головачом круглым.

Но страстный наблюдательный искатель не забывает наведываться и в ближайшие боры, чтоб по деревьям и травам узнать, когда же появятся желанные лесные грибы.

Вот выбросила из острых копий густо-зеленые листья черемуха и вдруг вся покрылась кудрявыми белокипенными сугробами. (Это неизменно происходит на 27—28-й день после того, как запылил орешник.) Значит, пора спешить за первыми «гвардейцами-разведчиками» — толстоногими подберезовиками и серыми сыроежками.

В мае обильно цветут беленькими звездочками земляника, черника, клубника. Любители черничных пирогов и земляничного варенья с тревогой поглядывают на

термометр: будут заморозки — не видать вкусных ягодок.

Больше всего появляется весенних дождевиков, когда

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят.

(Н. А. Некрасов)

Вот пышно зарозовели малиновые и лиловые кисти-султанчики иван-чая (кипрея). Щеки фенолога вспыхнули азартным румянцем: «Скорей, скорей надо ехать с коробом в лес за настоящими грибами!»

Впрочем, у каждого искателя свои сокровенные микологические прогнозы.

«Возле коровника я обнаружил компанию грибов-дождевиков, словно сложили в одно место десяток гусиных яиц.

Ну, раз появились дождевики, значит, пошли грибы» (Олег Чистовский).

Много еще нераскрытых фенологических взаимосвязей между лесным «народцем» и травами, кустарниками, деревьями. Нужны упрямые, дотошные, кропотливые исследователи-натуралисты, чтобы постигнуть все тайны появления грибов.

Пожалуй, только на «братика с сестрицей» — «иван-да-марьюшку» не стоит обращать внимания — цветет она все лето: ярко-желтыми флажками приветствует золотые лисички июня, аметистовыми галстуками провожает фиолетовые сентябрьские паутинники и рядовки. Иван-да-марья крепко дружит с муравьями, которые и разносят их семена. Раньше эту травку деревенские знахари-лекари продавали для... примирения поссорившихся супругов. Но сама травка почему-то совсем не желает мириться с лесным «народцем», не пускает на свои густые полянки даже расфуфыренных сыроежек. Кстати, не живут грибы и в зарослях кипрея.

(Впрочем, проверьте это ради интереса сами, возможно, я ошибаюсь.)

26 мая — праздник, который издревле называется Лукерьей-комарницей! Премудрая старушка Лукерья-комарница напоминает сборщикам: «Много комаров — готовь много коробов» (для ягод). «Много мошек — готовь много лукошек» (для грибов).

Прозвучала пробная флейта золотой жар-птицы — иволги: «Фи-тиу-лиу-а-аа!» — значит, конец маю.

Нервно, истошно задергался, задребезжал ночью коростель-дергач: значит, начало июня. И пойдут стрекотать, ковать звонкие песенки кузнечики. Поэтому и назвали древние славяне месяц июнь в честь неугомонных, разухабистых музыкантов-прыгунов — «изоком». Говорят, у кузнечика ухо на коленях, а у грибников — глаза на макушке, чтоб лучше видеть.

Вот задымилась красноствольная сосна, опутывая дождевые лужицы тончайшей зеленовато-желтой вуалью. А через десять дней, как сосны закурят свадебные трубки (примерно 16 июня), яркими звездами загорится кустарник, про который народ сочинил заковыристую загадку: «Стоит древо, древо ханское, платье шамаханское, цветы ангельски, коготки дьявольски» (шиповник). Рыболовы-удильщики в эти дни срочно затачивают напильниками коготки дьявольских крючков — отнерестился окунь, жадно бросается на червяков, окуная решительным рывком поплавки. Любители вкусно поесть знают: бесподобен к печёным окуням гарнир из луговых опят и косогорных дождевиков.

Примерно в эту нарядную, благоухающую декаду можно встретить средь пылящихся сосен веселые стайки сияющих смолистым лаком первенцев-маслятушек.

Вот заколосилась дымчато-сизая рожь. И уже не в дымчатых мечтах, а наяву смиренные тихоходы приносят, но только по штукам самые ранние сахарно-белые крепыши-боровички.

«Облака золотистой оплодотворяющей пыли проносятся беспрерывно над полем, а если взять в руку любой колос ржи, то в теплой руке этот колосок покрывается всеми цветами, какие в колосе ждали выхода на свет от солнечных теплых лучей.

Так рожь цветет, и мы всегда в это время собираемся в лес проверить, не выглянул ли на свет первый «слой» грибов.

В Конякине, где всегда бывает много грибов, мы застали еще в лесу туман. Лучи врывались сверху в окошки лесного полога пуками, и казалось нам в лесу: все горело и не сгорало, или, может быть, это одна за одною летели в лес, собирались жар-птицы.

Среди этого блеска лесного в душе всегда зажигаются свои сказки, и такую силу в себе чувствуешь, что только бы ухватиться за что-нибудь — и повернул бы

всю жизнь, как радиоприемник, на прекрасную станцию.

Так всегда потом и остается в памяти: только потому и не повернул, что соблазнился и забыл — увидел белый гриб, одетый блестящей росой. Сколько счастья осталось в прошлом от встреч с такими боровиками в росе!» (М. Пришвин).

Хорошо в июньском лесу! Весело, интересно! Бельчатки-рыжульки так и норовят из домиков своих удрать, а мамаши их не пускают. Лисятки-проказники игривую возню у нор затевают. Сторожкие лосихи ухают в болотистых дремучих чащобах, подзывая телятушек-прятунков.

А сколько народилось забавных птенцов-голопузиков! Шариками катаются бойкие, пушистые тетеревятки и глухарьки. Пестренькие ребятки-рябчатки так и пытаются взлететь из-под ног шумного искателя, этакие пугливые порхунки.

Красиво в июне, радостно! Заря заре руку протягивает, грибник грибнику в корзину заглядывает.

У жадных и завистливых голова кругом идет, глаза разбегаются. Им и рыбы наловить хочется, и грибов намариновать, и побольше продать лекарственных растений.

Вот всколыхнулись, задрожали прибрежные тростники: лещ выплыл из темной глубины, нереститься начал. А тут, как назло, калина согнулась от развесистых белых щитиков. Круговые волны лещей, круговые соцветия калины — вернейший признак появления круговых хороводов первого «слоя» боровиков-колосовичков. Ну как же тут не закружиться жадной сердитой головушке!

Что же делать? И косяки лещей надо в сети загнать, и белые грибы нельзя упустить. Пошли кулемеса — не от добра, от беса!.. Эх, калинушка, горькая ягодка!

Во второй половине месяца «изока» поспевает душистая земляничка. Отрешенный от городской суеты, искатель восторженно слушает неумолчный стрекот кузнечиков-изоков, румянит губы земляникой, а сам в оба глаза трепетно косится под пышные деревья — не мелькнет ли где долгожданная шляпка подосиновичка. Мохнатые шмели деловито кружатся над малиновыми шариками клевера, над разноцветными кистями медуницы. Ох как хорошо в июньском лесу!

Хитрые привередливые грибники таят от конкурентов множество сигнальных примет.

«Раскроются белые лапки рябины — смело откройте обабкам (подберезовикам болотным) корзины!»

«Вынесет ветер пух с тополей — копринусов светлых ищите скорей!»

Июнь — месяц буйного колошения ржи, конец пролетья, начало лета. Июнь — скопидом, урожай копит. Именно в июне вспыхивает «тонкий» слой рыхлых колосовиков: подосиновиков, черных и болотных подберезовиков, масленков, моховиков, горькушек, сыроежек, мухоморов, толкачиков.

В июне чижи, зяблики, синицы, воробьи торопятся снести вторую кладку яиц. В июне мицелий накапливает силы ко второму слою — урожаю грибов. Но все реже и реже слышится кукованье птицы-гадальщицы, и вдруг кукушка совсем умолкает, разбередив душу искателям последними унылыми звуками, словно подвела грустный итог катастрофически уничтожаемым лесам. Умолкает и веселое ауканье «царей природы». В темных, непуганых глухоманях раздается яростный рев дерущихся самцов-медведей. Испуганные ребятки-медвежатки норовят подальше убежать от страшных, кровавых свадеб и уже сами, без помощи сердитых охмелевших мамаш, лакомятся ягодами, хрустят грибами, выкапывают толстые, жирные корешки. А на городских базарах медведями ревут грибоеды — совсем пропали с прилавков свеженькие боровики и подосиновички. Краток и скуден «слой» июньских «колосовиков».

Меж тем «по заре зарянской катится шар вертлянский, никому его не обойти, не объехать» (разве что космонавтам). И вот наконец огненный шар подкатился к июлю.

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь
во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.

(Ф. Тютчев)

Июль — макушка лета, середка года. Древнерусское название этого месяца — «червень», потому что раньше из «насекомых-червецов» добывали багряную, «червленую» краску. В лесу тоже ярко загораются багряные

дары природы — пурпуровые сыроежки, оранжевые подосиновики, вишнево-поджаристые боровики, душистая малина, густо-кровавая ежевика, бордово-розовая клубника, рубиновая смородина-кислица.

Птицам и зверям раздолье: полным-полно всяких сладких ягод, молоденьких грибов, нежных сочных стеблей, вкусных крахмалистых корешков. Созревают питательные, маслянистые семена многих трав и злаков. Налюбовавшись вдоволь когтисто-клыкастым боем самцов-соперников, медведицы вновь разыскивают своих беспризорных малышей, заботливо охраняют от свирепых папаш и бесцеремонных туристов.

Июль — месяц раскатистых гроз. В июле — рыболовы мрачнее грозовых туч: капризничают окуни, измывается плотва, теребя насадку вяло, нерешительно. Удильщикам остается лишь смотреть, как из темной глубины подымаются золотые звезды желтых кувшинок, а над ними кружатся разноцветные стрекозы-вертолетики. У поклонников «нахлыста» глаза вспыхивают синими молниями. Ведь на большеголовых стрекоз хорошо берутся голавли, жерехи, язи. Но нелегко поймать попрыгунью-стрекозу, еще труднее обмануть сторожкую рыбу. Вот и мечут рыболовы грозовые молнии, путаясь в кустах.

Июль — «червень» — самый жаркий месяц. В июле грибники на чем свет стоит проклинают червецов. Но не тех пурпуровых, из которых праздничную краску добывают, а тех вездесущих, жирных проныр, которые нахально, прожорливо грибы буравят.

Июль — страдник, месяц веселой уборки озимых хлебов. В июле на дворе пусто, да в поле густо.

Древние россияне называли этот месяц еще «липецем». В июле пчелы-суетушки липовый мед собирают, да никак собрать не могут. В каждой чашечке желтоватых цветов душистых деревьев хрустальными росинками поблескивают капли нектара.

«Между липами в луче солнца стоит в воздухе на своих крылышках знакомая с детства золотистая мушка. Найдешь ее, пройдешь, оглянешься — стоит в воздухе на прежнем месте.

Так этот вопрос и остается без ответа, и мушка забылась. А вот теперь опять вспомнилась, и ответ пришел в голову такой: всем бескрылым хочется летать, а у кого есть крылья, то, наверно, в праздник, когда липы цветут, хорошо и постоять» (М. Пришвин).

У пылких искателей мгновенно отрастают орлиные крылья. Они знают: зацвела душистая липа — значит, зацвел второй, душистый «слой» грибов-жнивников: подосиновиков, масляников, черных подберезовиков, моховиков, горькушек, сыроежек, толкачиков, мухоморов. Впервые обильно появились лисички, валуи, боровики, дубовики, грузди настоящие и грузди черные.

Любители малюсеньких красноголовиков-челышей, а попросту подосиновичков-желудков, с нетерпением ждут, когда...

Закружится гладкий осиновый пух —
Челятки прожгут моховины вокруг.

У почитателей рыжиков своя думушка: с трепетом поглядывают они на сосновые пригорки, где вот-вот, на исходе лета, буйно зарозовеет вереск — верный, безотказный сигнал появления любимых солонушек.

Но второй грибной «слой», как и первый, слишком капризный, суетливый, короткий: пять — семь дней, от силы две недели. То ли дело осень-густоедка! Вот когда наступает добычливая благодать для расторопных поклонников «смиренной охоты».

Однако и щедрая осень-хлебосолка тоже выставляет на парад лесной «народец» строго по своему расписанию.

Нальются тяжелым восковым зерном метелки овса — впервые увидишь, как

Сорок дружных поросят
На пенечке сидят.

Это разведчики бесчисленной, крепко сплоченной шайки бандитов — губительниц деревьев — опенки осенние.

Заметив дружных тонконогих кучников, всезнающие крылатые искатели замирают, как золотистая мушка Пришвина. Но, увы, не от веселого, цветущего праздника — от горьких, тревожных предчувствий. Ибо...

Коль рано выросли опенки —
Грибной «слой» будет тонким,
Появились опенки — белых не жди.

Итак, «шар вертлянский» постепенно подкатывается к августу.

Август — месяц-хлебосол, месяц созревания всех ягод, фруктов, овощей, орехов. В августе «древо шах-

манское», шиповник дикий, гнется под тяжестью глянцевито-пурпурных плодов.

Иду — кругом грибов и ягод
вдоволь:
Тут боровик, волнянка, подорешник;
...Тишь в лесу такая,
Что ни один листок не шелохнется.

(Л. Мей)

У мужика в августе четыре заботушки: и косить, и пахать, и сеять, и грибы собирать.

Август — «серпень». «В августе серпы греют, а вода холодит».

В августе всего вдоволь, особенно падающих звезд. Астрономы говорят, что это метеориты созвездия Персея — персеиды сеют. У старушек неотразимая примета: куда голубая звездочка стукнется, там и белый гриб вырастет. Вот и топчутся они в «зарев» месяц от зари до зари, стараясь высмотреть, где же прячутся звездометные боровиковые клады.

Август — «густарь», в августе не только закрома ломятся от припасов, но и земля под деревьями густо пропитывается белой плесенью — живительным мицелием. А это значит: долго-долго еще будут аукаться искатели, неся на плечах тяжеленные корзины, полные отменных даров.

«Эх, и хорош же вчера попался на глаза мухомор! Сам темно-красный и спустил из-под шапки вниз вдоль ножки белые панталоны, и даже со складочками. Рядом с ним сидит хорошенькая волнушка, вся подобранная, губки округлила, облизывается, мокренькая и умненькая.

А масленок масленку рознь: то весь дрызглый, червивый, а то попадается такой упругий и жирный, что даже из рук выскочит, да еще и пискнет» (М. Пришвин).

Искатели знают: душечка-волнушечка выплывает розовыми стаями под белыми березоньками, когда густо засеребрится летящая паутина.

Одним словом, в августе продолжают буйно расти те же июльские жнивники, но появляются еще и свои, августовские новички: мокрухи, млечники, говорушки, навозники серые, грузди желтые и перечные. По-настоящему обильно вспыхивает россыпь рыжиков.

Не мешает повторить: рыжики там растут щедро, где

ели, сосны, пихты, кедры. Под лиственными деревьями они никогда не водятся.

Настоящему искателю полезно помнить, что «даже в одной и той же местности, в одном и том же небольшом лесочке при совершенно одинаковом местоположении почвы и деревьев, в одном каком-нибудь местечке из года в год родится много, например, белых грибов, а кругом — редко-редко когда попадается один-другой»

(Кайгородов, 1898 г.)

Почему же так? Никто из микологов до сих пор этого не знает.

Весело, грибосольно в месяц-жнивник, в месяц-зарничник! Рубиновым пламенем загораются верхушки осин, золотые монетки вплетаются в зеленые косы пестрых березонек, яркой желтизной покрываются липы.

Особенно интересно, радостно в августовском лесу крестьянским детям.

За день грибов насбираешь корзину,
Ешь мимоходом бруснику, малину...

(Н. А. Некрасов)

Юные натуралисты, спрятавшись под кусты, затаив дыхание, любуются, как шустрые белки-хлопотушки накалывают на острые сучки свеженькие шляпки молодых опят. Некоторые кружочки-солнышки они засовывают в развилки ветвей, иные — под задирины старой коры. Маленькие рыжульки-запасушки готовятся к большой белой зиме.

Не отстают от них и премудрые летописцы — барсуки. Все чаще и чаще они покидают днем свои тихие, философские «пещеры», по-хозяйски деловито раскладывают на горячие камни, на широкие пни и чистые стволы поваленных деревьев тугие шляпки всевозможных даров осени — и пластинчатых, и трубчатых. Как будто устраивают юбилейную микологическую выставку.

Полосатые ребятишки-барсучатки тоже вьются под ногами степенных, сторожких родителей, помогая подвигать грибы на жаркую, припеклую сторону, чтоб скорее высохли.

В августе лукавые, пожилые искатели особенно любят озадачивать растерянных новичков лесных путешествий подковыристой загадкой: «Заря-зарянка ключи потеряла, месяц пошел — не нашел, солнце пошло — ключи нашло. Что это такое?»

Начинающие искатели зябко поеживаются в мокрых штанах, не догадываясь, что насквозь пропитались «ключами» отгадки. Ведь август-«густоед» — самая густая пора студеных, затяжных рос. Бывалые сборщики всегда следуют по заповеди древнерусских наставителей: «Встать пораньше — шагнуть подальше». А грибы лучше всего собирать рано утром, потому что их сырые шляпки призывно блестят и лоснятся в таинственном голубом полумраке; днем же солнечные лучи приглушают, смазывают все краски и оттенки.

«Ленивому гриб не стоит поклона», капризному сонуле достаются одни «дули». Вот почему настоящие охотники-лукошники не ждут, когда «белая кошка влезет в окошко». Не боятся они и дождей долговязых.

Вот раздался в лесу странный, хриплый собачий лай. Городские жители, привыкшие только к шуму автомобилей, воинственно ощетинивают кухонные ножи, грозно вскидывают палки-выручалки. Не страшитесь, добрые люди. Это самцы косуль возвестили начало драчливых свадебных поединков.

Все быстрей и быстрей увядают деревья, понуро сохнут, пламенеют зеленые травы. Наступил **сентябрь** — самый красивый месяц.

Пожалуй, лучше всех русских поэтов прославил радужное шествие сентября И. Бунин.

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет

В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом.
Сегодня так светло кругом,
Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подсвета, где густая
Листва янтарный отблеск льет;
Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая —
И снова все кругом замрет.

В сосновых борах начали робко выглядывать из-под песка зеленушки; под смолистыми пнями бурно закучерявились рогатики желтые; над бархатистым мхом широко распластали ястребиные крылья ежевики пестрые.

В сентябре бурно вздымается самый богатый слой ядреных грибов-листопадников: подосиновиков, черных и болотных подберезовиков, моховиков, свинушек, масленков, горькушек, сыроежек, белых, мухоморов, рыжиков, лисичек, груздей, волнушек, белянок,— да разве все перечислишь!

«Пришло время, когда грибам стало тесно, и они появились везде на лесных полянках» (М. Пришвин).

Появляются и свои, сугубо сентябрьские: рядовки, млечники (умбровый и бурый), головач продолговатый, чешуйчатка травянистая...

Сентябрь — месяц увядающей зелени, месяц прощальных птичьих песен.

«Опавшие листья уже запахли пряниками. Редки белые грибы, но зато как найдешь, так и набросишься на них коршуном, срежешь и вспомнишь, что обещался не сразу резать, а полюбоваться.

Опять обещался и опять забылся» (М. Пришвин).

14 сентября по народному календарю — Семен-летопроводец. К этому дню исчезают почти все сыроежки, валуи, да и маслят становится меньше. Зато рыжики, грузди и волнушки грудятся бурливыми волнами.

28 сентября — Никита-гусепролет. На своих могучих крыльях северные птицы несут в березово-сосновые боры каштаново-коричневый гриб, у которого на волнистых шляпках-седлах гусиными шеями вздымаются две, а то и четыре острые вершины. Это — строчок осенний, большой охотник маршировать гусиными шагами вдоль дорог и по закраинам опушек.

Сентябрь древние россияне называли еще «ревуном». В сентябре ветер по-звериному ревет между стволами; в сентябре заблудившиеся грибники да ягодники ревут страшнее ветра. Лодыри-школьники тоже ревут в сентябре: ведь гулять, бродить по лесу куда интереснее, чем зубрить уроки. Но что поделаешь — в сентябре и лист на дереве не держится.

Красив, щеголеват батюшка сентябрь, но капризен, своенравен, не любит баловать. То полянки густо посеребрит пушистым инеем, то болотные лужицы прикроет слюдистыми узорами. Холоден, зато сыт.

Растолстевшие, жирные барсуки усердно чистят свои норы, постилают камеры-спальни теплыми слоями из душистых, вяленых листьев. Ежики-коротконожки катаются, кувыркаются по лесным лужайкам, как малые дети средь свежих соломенных ворохов. Нацепив на колючки разноцветные, сухие «медали», они суетливо топают в подземные жилища.

Сентябрь — самое увлекательное, самое интересное время «смиренной охоты». Вот уж когда нужны острые глаза, степенная походка и верная палочка-выручалочка, чтобы не отбивать попусту поклоны! Разворошить рыхлую груду пестрой листвы, раздвинуть пышный навес еловых ветвей, пригнуть спутанные кудри пожухлой травы — всюду, всюду палочка-выручалочка незаменимая помощница.

От гулких, шуршащих шагов искателей, как грибы, прячутся зайчата-листопаднички, красным пламенем взвиваются на вершины стволов рыжие бельчата.

В сентябре особенно люто плодятся осенние опенки. В первую разбойничью атаку они бросаются на деревья, когда кое-где запестреют желтые березовые листы. Но обманутые насмешливым лукавым солнцем и капризной нерешительностью росы-студеницы, они отступают, прячутся под кору до благоприятной, холодной погоды.

Второе победоносное нашествие осенних опят-вампиров начинается в третью декаду сентября. И пойдут карабкаться вверх кривоногие проныры, нахально, назой-

ливо подталкивая друг друга, и уж нет ходу там иным жителям: ни вешенкам-белочкам, ни трутовикам — костяным копытам. И будут сосать они соки из живого дерева до самых трескучих морозов.

Они очень приспособлены к паразитизму, эти нежные, самые вкусные после рыжиков и груздей, буро-крапчатые тонкошляпники. И тянут, и волокут за собой мал малого, сосед соседа. Не чета дубовникам, которые растут в лесах среднерусской полосы каждый сам для себя.

Сентябрь — самый любимый месяц художников и лириков. В сентябре у всех многомиллионных искателей в сердце стучат стихи Пушкина:

Люб-лю я пыш-но-е при-ро-ды у-вя-дань-е,
(Тук-тук. Тук-тук... Тук-тук...)
В баг-рец и зо-ло-то...
(Тук-тук... тук-тук...)
О-де-ты-е ле-са».

Наступил **октябрь**, который издавна прозван «листопадом» и «грязенем». Октябрь — месяц желтой травы, голой земли, месяц завывающих ветров, ледяных дождей. Все деревья, кроме хвойных, кажутся безобразными, жалкими. Только одна сирень упрямо, до самого хлобыстучего снега, не желает расставаться со своим пышным нарядом.

Октябрь — месяц унылых птичьих игр. Как он резко отличается от апреля!

Весною птицы поют. Поют в честь первых капелей, первых проталин, первых ручейков. Весною все первое: листья, трава, цветы. Нет угомона весенней радости. Звонкими, перебойными хорами прославляют птицы жизнь.

Осенью птицы танцуют. Танцуют прощальные танцы. Осенью все прощальное: листья, цветы, травы. Последние бабочки, последние шмели. Нет удержу осенней грусти. Молчаливыми стаями улетают скворцы, черными вальсами уплывают грачи. Улетают птицы летние, а вместе с ними улетает и красно летушко.

Весна и осень. Расцвет — и увядание. Песни веселых приветствий — и танцы печальных прощаний.

В лесу барабанят дятлы-трясоклювы, снуют синички-вертинички, демонстрируют перед восторженными горластыми сойками цирковые номера поползни-акробаты. Тетерева и куропатки собираются в стаи.

До холодных, голубых колючек инея изредка встречаются те же листопадники, что и в сентябре, но особенно буйно плодятся предморозники: зеленушки, паутинники, осенние сморчки, черные грузди и всякие опенки, как ложные, так и съедобные. Однако помните — настоящие лесные опенки, которые жарят, парят, маринуют, сушат, растут лишь на пнях и деревьях, а вредные, ядовитые попадаются и на почве.

Не слышно птиц. Покорно чахнет
Лес опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В овраге сыростью грибной.

(И. Бунин)

Первая стужа, первая затяжная пороша. Медведь перед снегопадом забирается в берлогу, полосатый «летописец» — в глубокую нору. Конец грибам! Конец барсучьему календарю! Прощай, бескорыстный, добрый «народец». До следующей весны!

Разумеется, невозможно составить единый, всеобъемлющий устав службы разношерстного «народца», чтоб он был безукоризненно точный, как расписание пассажирских поездов.

«Природа — вечно изменчивое облако, никогда не оставаясь одной и той же, она всегда остается сама собой» (Р. Эмерсон).

В каждой республике Советского Союза, да и в каждом лесу, грибные календари свои: на Сахалине — сахалинские, в Карпатах — карпатские, под Ленинградом — ленинградские. У каждого искателя тоже свои сокровенные, тончайшие приметы. Одни смотрят, например, на калину, чтоб не прозевать первые вишнево-красные боровички, другие — на сон-траву. А есть и такие неподражаемые кудесники-остроглазы, что безошибочно могут составить для своих заветных делянок прогнозно строгий календарь не только по месяцам, но и по дням. Уже многим бывалым сборщикам известно:

появятся сморчки — через три недели ждите подберезовиков,
появятся волнушки — ждите груздей,
появятся мухоморы — ждите белых,
появятся белые — через три недели ждите рыжиков,
появятся рыжики — ждите осенние опенки,
появятся осенние опенки — ждите снега.

Одним словом, любой пытливый искатель может составить собственный безотказный календарь.

Если дождь в лесу застанет,
А плаща с собою нет, —
Не печалься! На поляне
Распустился зонтик-цвет.
Пестрый-пестрый, в черепицах.
Словно бархатный шатер!
Из пластин лучистых — спицы.
В бубенцах — роса искрится.
А на тросточке — узор.
«Так спасайся!»
Дождь запрыгал,
Гнет пружинистый чехол...
Вспоминай, что в этой книге
Ты полезное нашел.

(Гриб-зонтик-пестрый).

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Николаевич Сигунов

ЗЕЛЕНЫЕ ЗВЕЗДЫ

(Рассказы о природе)

Редактор Л. А. Плотникова
Художественный редактор И. З. Семенцов. Технический редактор В. И. Демьяненко. Корректор Н. Б. Абалакова

ИБ № 1046

Сдано в набор 15.06.79. Подписано к печати 26.11.79. М-20262. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 3. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,22. Уч.-изд. л. 17,72. Тираж 100 000 экз. Заказ № 167. Цена 65 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

65 коп.